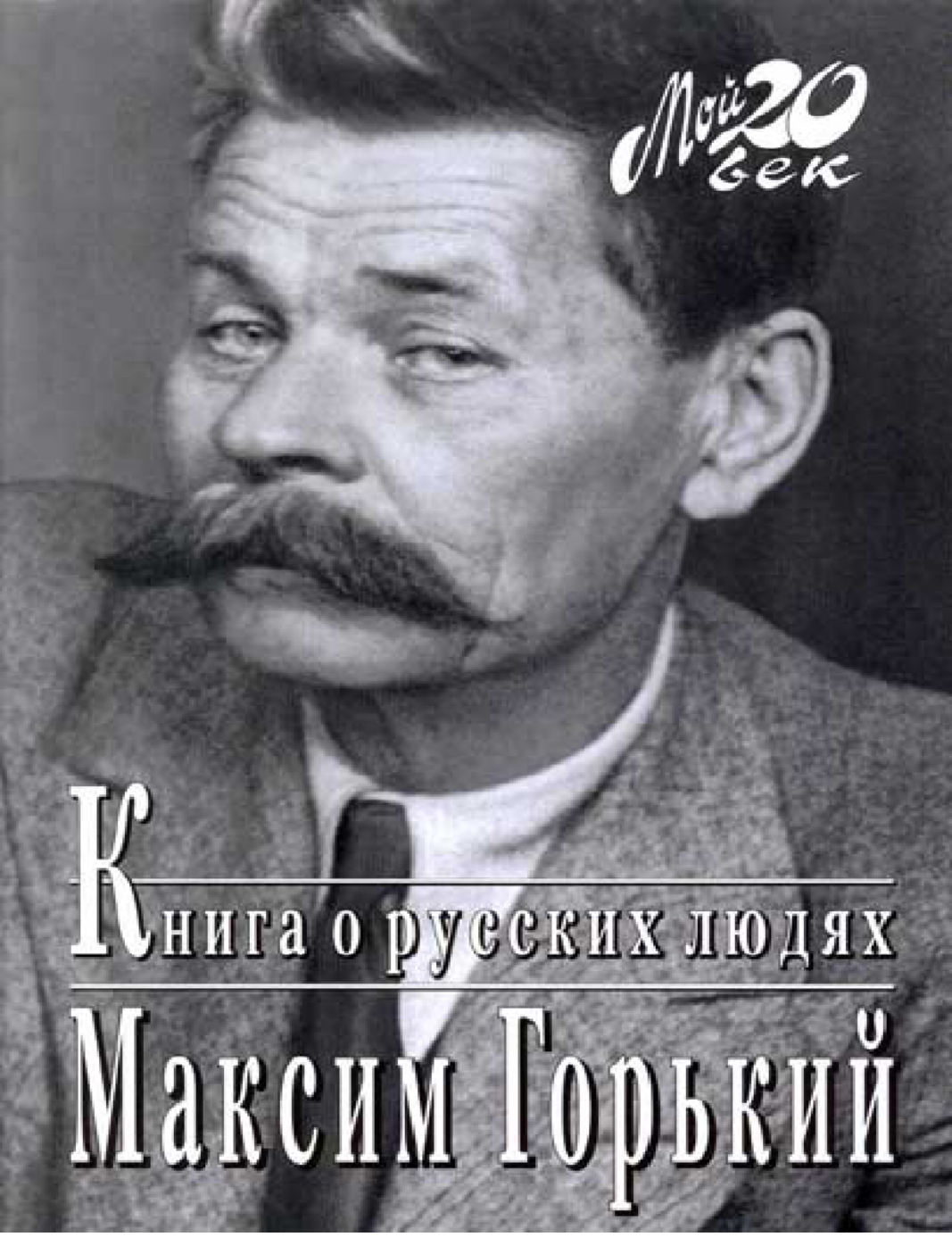


Книга о русских людях

Максим Горький

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».

Предисловие, примечания Павла Басинского

- Максим Горький
  - Павел Басинский
  - ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА
    - Городок
    - Пожары
    - А. Н. Шмит
    - Чужие люди
    - Знахарка
    - Паук
    - Могильщик
    - Н. А. Бугров
    - Палач
    - Испытатели
    - Учитель чистописания
    - Неудавшийся писатель
    - Ветеринар
    - Пастух
    - Дора
    - Люди наедине сами с собой
    - Из дневника
    - Смешное
    - Герой
    - О войне и революции
    - Садовник
    - Законник
    - Монархист
    - Петербургские типы
    - Мечта

- Отработанный пар
- Быт
- Из письма
- Митя Павлов
- А. А. Блок
- Вместо послесловия

○ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
- А. П. Чехов
- «Время Короленко»
- В. Г. Короленко
- Лев Толстой
  -
  - Заметки
  - Письмо
- Леонид Андреев
- <Л.А. СУЛЕРЖИЦКИЙ>
- Савва Морозов
- Сергей Есенин
- О Гарине-Михайловском
- В. И. Ленин

○ НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ
○ ПРИМЕЧАНИЯ
- В. И. Ленин
- Несвоевременные мысли

○ ИЛЛЮСТРАЦИИ

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12
○ 13
○ 14
○ 15
○ 16
○ 17
○ 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62

- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106

- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111

Максим Горький
КНИГА
О РУССКИХ ЛЮДЯХ

Павел Басинский
В СПОРЕ ДУШИ И РАЗУМА

Воспоминания и публицистика М. Горького

Воспоминания Горького, бесспорно, относятся к одним из лучших страниц его творчества. Именно в мемуарном жанре он создал ряд несомненных шедевров *русской прозы XX века.* Воспоминания о Толстом в свое время перевернули представления многих об этой личности. Перед всем миром (очерк быстро перевели на европейские языки) предстал не просто гениальный писатель и загадочный проповедник, создатель особого направления в христианстве, но, выражаясь образно, *человек-произведение,* каждый жест, каждая случайно брошенная фраза которого сами по себе являлись фактом высочайшего искусства. Из коротких встреч и разговоров с Толстым Горький вылепил удивительный художественный образ, своего рода «другого Толстого». Некоторые близко знавшие Толстого люди оспаривали достоверность горьковского свидетельства о яснополянском старце. Но вопреки, быть может, буквальной правде жизни, «другой Толстой» оказался живее и интереснее общественной иконы «великого Льва», которая, между прочим, тяготила и самого Толстого, став одной из причин его «ухода». Он бежал из Ясной Поляны не только от семьи, но и от самого себя, каким он утвердился в общественном взгляде. Горький был одним из немногих, кто смог не просто рационально объяснить этот трагический поступок великого человека, но показать изнутри иррациональный узел душевных страстей и противоречий, терзавших Толстого и неимевших выхода вовне, ибо он, если можно так выразиться, перерос границы просто человека и стал самодостаточным миром, вещью в себе.

По-другому построен мемуарный портрет Леонида Андреева. Это настоящий мини-роман с завязкой, высшей точкой развития действия и развязкой. К моменту, когда писались воспоминания, Леонида Андреева уже не было в живых, он умер в финской эмиграции в 1919 году, проклиная большевиков и резко отрицательно высказываясь о Горьком, которого он не без оснований обвинял в сотрудничестве с этими «немецкими шпионами». Между бывшими друзьями и соратниками, а затем примерно с 1908 года врагами и литературными противниками,

Горьким и Андреевым, накопилось столько неразрешенных

обид, что, казалось, написать очерк по горячим следам и не скатиться в предвзятость было немыслимо. Каким-то образом это удалось Горькому. Может быть, потому, что он сумел как бы подняться над историей, сделав и самого себя героем собственных воспоминаний. Откровенность, с которой он рассказывает о подробностях их близких отношений (например, сцена с проститутками), порой шокирует, но именно она не позволяет усомниться в достоверности свидетельства. В отличие от Толстого, героя этого очерка Горький знал безусловно лучше всех и даже, если угодно, *слишком* глубоко понимал. Он знал, например, что некоторые мотивы в произведениях Леонида Андреева навеяны их дружбой-враждой, что некоторые его персонажи являются отражением их двоих. Это знание накладывало на мемуариста особую ответственность, с которой он блестяще справился.

В качестве еще одного примера виртуозного мастерства Горького-мемуариста стоит оценить его очерк о Сергее Есенине. Известно, что Горький не любил крестьянство. Отчасти это связано с неприятным эпизодом его ранней биографии, когда в селе Кандыбино он попытался защитить женщину, подвергавшуюся унизительному публичному истязанию за измену мужу, и был зверски избит мужиками. Как ни странно, в той ситуации были правы и неправы обе стороны. Молодой Горький поступил как романтик-идеалист, который не может позволить себе пройти мимо издевательства над слабым существом и не встать на его защиту. Но и деревенскими мужиками руководила отнюдь не врожденная жестокость. По законам «мира», измена жены мужу была очень серьезным преступлением, а вмешательство в «мир» со стороны было и вовсе недопустимо. В очерке большого знатока русской крестьянской жизни Глеба Успенского «Не суйся» сказано о том, что городской интеллигент порой «суется» в деревенский «мир» со своим уставом и искренне недоумевает, почему его вроде бы справедливые действия ведут к непредсказуемым результатам. Горький оказался как раз подобным прохожим-интеллигентом.

Однако именно Горький первым глубоко написал о трагедии поэта Сергея Есенина — трагедии деревенского человека, отравленного городской культурой и не сумевшего выработать в себе противоядие от нее. Горький не был близко знаком с Есениным, как, скажем, Николай Клюев. Он не принадлежал к деревенской культуре и даже был враждебен ей. Тем поразительней, что взгляды на смерть Есенина Горького и Клюева («Плач по Сергею Есенину») во многом совпадали. Это говорит о том, что Горький-мемуарист обладал драгоценным талантом —

он мог отстраняться от себя самого и описывать ситуацию изнутри, вскрывая ее внутренний смысл, а не навязывая свой. Даже в классических образцах мемуаристики это встречается, к сожалению, редко.

Отдельно надо рассказать о «Заметках из дневника», которые печатаются целиком впервые после Полного собрания художественных сочинений Горького и могут показаться читателям неожиданными.

Горький не оставил после себя полноценных, а тем более многотомных дневников, как, например, А. А. Блок, Л. Н. Толстой, М. М. Пришвин, К. И. Чуковский и другие, смотревшие на дневники как на важную составляющую своего творчества. И хотя часть горьковского наследия все еще хранится в архивах, в том числе в зарубежных, хотя все еще неясной остается «история с чемоданом», в котором он оставил за границей на попечение М. И. Будберг какие-то бумаги перед возвращением в СССР в конце двадцатых годов (таким образом, нас могут ожидать новые находки и открытия), — сегодня можно точно сказать, что Горький не является классиком дневникового жанра. Объяснения этому просты. Горький был человеком прямого, активного действия. Он стремился не просто наблюдать за течением событий, но сам направлять их, быть не просто летописцем своей эпохи, но главным ее участником.

Любопытно в этом плане сравнить цикл статей Горького «Несвоевременные мысли» и дневник Ивана Бунина, известный под названием «Окаянные дни». Обе книги писались в одно и то же время и посвящены событиям революции и Гражданской войны. Оба автора, хотя и с разной степенью категоричности, отрицательно оценивали большевистский переворот. И тем не менее, произведения получились разные. Здесь выбор жанра определялся не художественными соображениями, но общественными темпераментами авторов и той позицией, которую они заняли по отношению к событиям в стране. Бунин ощущал себя изгоем, частью гонимой и оплеванной России. Дневниковый жанр был той нишей, в которой он, без боязни быть окончательно уничтоженным, мог описывать и анализировать события (впрочем, боязнь была и тут, текст дневников он прятал в саду перед домом, опасаясь обысков). Горький, напротив, всеми силами добивался публичности и писал свои статьи, рассчитывая, в частности, именно на то, что их будут читать большевики. Соответственно определился и характер произведений: страстный, бескомпромиссный тон Бунина и не менее страстный, но все-таки политически выверенный пафос Горького. Один не

надеялся ни на что и оставил глубоко лично пережитую хронику революции, другой надеялся изменить ход событий и оставил заведомо обреченный педагогический опыт вразумления власти, которая не желала слушать учителя.

До сих пор неясно, были ли «Заметки из дневника» в изначальном виде *дневником* в строгом смысле или же перед нами своеобразный художественный прием. Известно только, что Горький сперва рассматривал эти заметки как подготовку к написанию крупного литературного произведения, которым, в конце концов, стала «Жизнь Клима Самгина». Но в результате «заметки» вылились в самостоятельное произведение, почти не пересекающееся с «Самгиным». Это можно сравнить с работой художника А. Иванова над картиной «Явление Христа народу». Сегодня многочисленные эскизы к этой гигантской картине составляют в Третьяковке отдельную экспозицию, которая некоторыми любителями ценится куда выше самого подавляюще-грандиозного полотна.

К замыслу, возникшему случайно, Горький отнесся весьма серьезно. Первоначальное название «Заметок из дневника» — «Книга о русских людях, какими они были». Книга делалась в эмиграции в начале двадцатых годов, когда Горький покинул Россию (фактически был выдворен Лениным), отчаявшись повлиять на ход событий в стране. Таким образом, перед нами не просто «заметки», но опыт описания некоей уходящей цивилизации, которую Горький определял ёмким словом «Русь» (отсюда название горьковского цикла рассказов «По Руси»). «Русь» в его представлении не совпадала с понятием России как петровской империи. Как бы ни сердился Горький на политику Ленина в ее конкретных проявлениях (аресты интеллигенции, разжигание Гражданской войны и т. п.), в целом он считал его продолжателем Петра Великого, о чем прямо сказано в первой редакции очерка о Ленине, которая публикуется в нашей книге. В новой редакции параллель с императором была стерта — возможно, потому, что на роль императора России в тридцатые годы претендовал совсем другой человек — Иосиф Сталин, и Горький, конечно, не мог с ним не считаться.

Отношение Горького к «Руси», как и к «России», было двояким. Если «Россию» он ценил разумом, душою не принимая бесчеловечного метода «вздыбливания» мужицкой страны с целью насильно загнать ее в Европу (в этом смысле Ленин, по мнению Горького, не многим отличался от Петра I), то «Русь» он любил именно душою, разумом ее отвергая. Здесь не место обсуждать позицию Горького в классическом споре западников и славянофилов. Он был западником по убеждению и

славянофилом по художественному инстинкту. Не зная этого, не понять центральную идею «Заметок из дневника».

«Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодатный материал для художника», — писал он в послесловии к «Заметкам». Другими словами, явление «Руси» он рассматривал как своего рода историческую болезнь, как патологическую ненормальность, как исключение из общего европейского правила. Но именно поэтому она и волновала его художественный инстинкт. В этом чувствовался своеобразный эстетизм Горького, а также парадоксальная близость к взглядам самого радикального русского почвенника Константина Леонтьева, которого, кстати, он внимательно читал. Но, в отличие от Леонтьева, культурным идеалом Горького стал европейский Запад.

Спор души и разума отразился не только в воспоминаниях, но и в публицистике Горького. Статьи 1905–1916 годов, посвященные первой российской революции, культурологическое эссе «Разрушение личности» (1908), цикл «Несвоевременные мысли» (1917–1918) и даже одно из самых несправедливых горьковских произведений — книга «О русском крестьянстве» (1922), в которой подавляющей части населения России фактически было отказано в праве на самостоятельное бытие, — занимают в истории русской мысли, по крайней мере, совершенно оригинальное, неповторимое место. Часто горьковские суждения (скажем, его резкая критика «вредной» идеологии Достоевского или тотальное неприятие русского крестьянства, жизнь которого он считал бессмысленной и враждебной культуре) вызывают оторопь, но — их не позабудешь, не вычеркнешь из интеллектуальной истории России, ибо они носились в воздухе своего времени и отчасти носятся до сих пор. Горький был наиболее ярким и заметным их проводником, вносившим в них личный темперамент и недюжинный талант.

В цикле статей «Несвоевременные мысли» он яростно выступал против жестокости большевистской власти, вступал в бой за каждого арестованного, проклинал революционных убийц и насильников. На первый взгляд, может показаться, что Горький был противником насилия вообще. И непонятно: каким образом человек, стоявший на позициях гуманности в 1917–1918 годах,

мог спустя десять лет оправдывать политику Сталина, еще более жестокую и бесчеловечную? Неужели и в самом деле было «два Горьких», как считают иные?

Но вот, внимательно читая «Несвоевременные мысли», находим любопытный эпизод. Выступая против отправки на русско-германский фронт десятков миллионов людей, Горький неожиданно впадает в мечтательный идеализм. «Представьте себе на минуту, что в мире живут *разумные* (курсив мой. — П.Б.) люди, искренно озабоченные благоустройством жизни, уверенные в своих творческих силах, представьте, например, что нам, русским, нужно, в интересах развития нашей промышленности, прорыть Риго-Херсонский канал, чтобы соединить Балтийское море с Черным — дело, о котором мечтал еще Петр Великий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой миллионы людей, мы посылаем часть их на эту работу, нужную стране, всему ее народу…»

Это сказано вовсе не в конце двадцатых и не в тридцатые годы, когда Горький вместе с сотрудниками ГПУ посещал Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) и коммунистические стройки вроде Беломорско-Балтийского канала им. Сталина, где работали миллионы зэков. Это сказано тогда, когда Горький считался рыцарем гуманизма, защитником прав личности.

Приход Горького к Сталину был почти неизбежен. Отчаявшись обуздать Ленина и не простив ему бессмысленных жертв революции и Гражданской войны, он, тем не менее, через десять лет сам убеждает себя в том, что «железная воля» Сталина выправит положение в стране и поставит ее на рельсы социалистического строительства. В большевистской политике он видел хаос, варварство. Сталин олицетворял собой порядок и дисциплину. Миллионы людей, насильно отправленных на строительство каналов, не смущали его разум, в отличие от миллионных жертв военной бойни.

И все-таки душа Горького протестовала. До сих пор точно неизвестно, сколько людей было спасено благодаря ему в тридцатые годы. Среди них артисты, писатели, художники, научные работники. Зато точно известно, что зловещий тридцать седьмой год последовал немедленно после кончины Горького в 1936 году, когда опустилась последняя рука, способная как-то остановить Сталина. Также известно, что недвусмысленно заказанный очерк-портрет Сталина Горький не написал, страшно оскорбив этим тирана. Вот не смог. Душа не позволила.

Павел Басинский

ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ВОСПОМИНАНИЯ

Городок

…Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно-маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей, — издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток — ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик-нищий Затинщиков хвастливо говорит:

— Мы при обоих бунтовали…

С бесплодного холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, — это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной слободы, — сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным мучительством крепостных рабов.

А город — накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это — дыхание спящих людей.

Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочного завода, человек солидный, неглупый, четвертый год читает Карамзина «Историю Государства Российского», дошел уже до девятого тома.

— Велико сочинение! — говорит он, уважительно поглаживая кожаный переплет книги. — Царская книга. Сразу понимаешь — мастак сочинял. Зимним вечером начнешь читать и — все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку — книга! Ежели она с высоты разума написана…

Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:

— Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живет, а к нему, на свидания, барыня одна — не наша, приезжая — ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я даже бинокль у татарина, по случаю, купил и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство…

Парикмахер Балясин называет себя «градским брадобреем». Он — длинный, тонкий, ходит, развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа — маленькая, с желтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Город считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.

— У нас естество простое, а доктора — это для образованных людей, — говорят горожане.

Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:

— Усердный; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли…

Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.

— Я думаю — врут ученые, — говорит он. — Неизвестна им точность ходов солнца. Я вот гляжу, когда солнышко заходит, и думаю: а вдруг не взойдет оно завтра? Не взойдет и — шабаш! Зацепится за что-нибудь — за комету, скажем, — вот и живи в ночи. А то — просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать — у солнца тоже есть свой характер. Придется нам тогда, для жизни, леса жечь, костры раскладывать.

Похохатывая, щуря глаза, он продолжает:

— Ха-арошее небо у нас будет тогда: звезды есть, а — ни солнца, ни месяца! Вместо месяца черный шарик будет торчать,

коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи — ничего не видать. Для воров — удобно, а для всех других сословий — очень неприятно, а?

Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:

— Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах — наводнения бывают, землетрясения, — у нас ничего! Холеры — и то не было, а кругом везде — холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово…

Одноглазый арендатор городской купальни — он же «картузник», делает фуражки из старых брюк — человек, которого город не любит, боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идет прямо на картузника, наклоня голову, точно собираясь боднуть его. Тогда картузник уступает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищурив глаз, усмехаясь.

— За что вас не любят? — спрашиваю я.

— Я — беспощадный, — хвастливо говорит он. — У меня такой навык, что я — чуть кто неправильно действует, — сейчас его к мировому тащу!

Белок его глаза воспален, пронизан сетью кровавых жилок, и в этой сетке гордо сверкает рыжеватый круглый зрачок. Картузник коренастый, длиннорукий, ноги у него — колесом. Похож на паука.

— Действительно — меня не уважают, потому как я права знаю, — рассказывает он, свертывая папиросу из махорки. — Чужой воробей в мой огород залетит — пожалуйте к мировому! Я из-за петуха четыре месяца судился. Даже сам судья сказал мне: «Ты, говорит, напрасно человеком родился, по характеру ты — овод!» Даже били меня за мою беспощадность, однако бить меня — невыгодно. Бить меня — все равно как железо каленое, только руки обожгешь. После битья я такое начинаю…

Он пронзительно свистнул. Он действительно кляузник, местный судья завален его жалобами и прошениями. С полицией картузник живет в дружбе; говорят, он любит писать доносы и ведет какую-то книгу, куда вписывает различные прегрешения горожан.

— Зачем вы делаете это?

Он отвечает:

— Потому что уважаю мои права!

Лысый толстый Пушкарев, слесарь и медник, — вольнодумец,

атеист. Поджимая дряблые губы, странно изогнутые, цвета дождевых червей, он говорит сиплым басом:

— Бог — это выдумка. Над нами ничего нет, только один синий воздух. И все наши мысли — от синего воздуха. Синё живем, синё думаем — вот где загадка. Вся суть жизни моей, вашей — очень простая: были и сгнили.

Он — грамотен, много прочитал романов, особенно хорошо помнит один: «Кровавая рука».

— Там французский архерей взбунтовался и обложил войском город Ларошел. А против него действовал капитан Лакузон, — что делал, сукин сын! Даже слюнки текут, когда читаешь. Шпагой действовал он — без промаха, ткнет и — готов покойник! Замечательный воин…

Пушкарев рассказал мне:

— Сижу я, вот эдак же, вечером, праздник, читаю; вдруг заявляется земский счетчик — статистик, по-ихнему: «Желаю, говорит, познакомиться с вами». — «Ну что ж, говорю, познакомьтесь». А сам — боком сижу к нему. Он и то и сё, — прикинулся я дураком, мычу и все гляжу в сторону, в стенку. «Слышал я, говорит, что вы в бога не верите?» Ну, тут я на него и вскинулся: «Это — как так? — говорю. — Разве это допускается? А — церкви зачем, попы, монахи, а? А ежели я в полицию заявлю, что вы меня к неверию склоняете?» Испугался он: «Извините, говорит, я думал…» — «То-то, вот, говорю, думаете вы, о чем не надо. Мне эти ваши мысли ни к чему». Выкатился он от меня, как мячик. Потом, вскоре, застрелился. Не люблю я этих земских, фальшивый народ. Сосут мужика, тем и живы. Некуда девать ученых этих, ну — наладили им земство. Считайте! Они считают. Человеку все едино, что делать, только жалованья ему побольше давай…

А часовщик Корцов, по прозвищу Лягавая Блоха, маленький волосатый человечек с длинными руками, — патриот и любитель красоты.

— Нигде нет таких звезд, как наши, русские! — говорит он, глядя в небо круглыми глазами, плоскими, как пуговицы. — И картошка русская — первая, по вкусу, на всей земле. Или — скажем — гармонии, лучше русских нет! Замки. Да мало ли чем можем мы нос утереть Америкам этим!

Он сочиняет песни и, выпивши, сам поет их. Стихи его как будто нарочно, надуманно нелепы, но песня, которую он поет чаще других, такова:

Сиза птичечка, синичка,

Под окном моим поет,
Она маленько яичко
Послезавтрея снесет.

Я скраду яичко это,
Положу в гнездо сове,
Пусть что будет, то и будет
Моей буйной голове.

Ах, к чему мне ночью снится,
Будто череп мой клюет
Та сова, ночная птица,
Что, одна, в лесу живет?

Корцов поет эту песню на удалой, веселый мотив. А череп у него аккуратно кругл, совершенно гол, только от уха до уха на затылке висит рыжеватая бахрома кудрявых волос.

Он любит восхищаться красотой природы, хотя окрестности города пустынны, вспухли бесплодными холмами, изрезаны оврагами, нищенски некрасивы. Но часовщик, стоя на берегу мутной, пахучей реки, отравленной войлочными заводами, восклицает с искренним чувством лирического восторга:

— Эх, красота же! Ширь, гладь. Иди куда хошь. До смерти люблю я эту красоту нашу!

Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья волоса. В комнатах пыльно, неуютно, всё сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен, вместо гири, кусок свинцовой трубы. Где-то в углу стонет и ворчит больная жена, а по двору молча шмыгает сестра ее, старая дева, желтая, худая, с оскаленными зубами; на ногах у нее опорки мужских сапог, подол подоткнут до колен и обнажает икры ног в синих узлах вен.

Корцов изобрел замок, который заряжается тремя ружейными патронами и стреляет, если в него всунуть ключ. Замок весит двенадцать фунтов и имеет вид продолговатого ящика. По-моему — он должен стрелять в небеса, а не в того, кто решится отпереть его.

— Нет, прямо в морду угодит! — заверяет изобретатель.

Его любят как чудака. А может быть, горожанам нравится, что он несчастливо играет в карты, все обыгрывают его. Ему нравится сечь детей, говорят, что сына своего он засек до смерти, но это не мешает знакомым приглашать Корцова как знатока дела для

экзекуций над мальчишками, опустошающими сады и огороды.

Не спеша, заложив руки за спину, ходит по городу Яков Лесников, высокий, тощий, с длинной и узкой бородою и большим, унылым носом. Нечесаный, грязный, он одет в какой-то балахон, подобие монашеской рясы, на вихрах его полуседых и жестких волос торчит студенческая фуражка. Большие водянистые глаза напряженно вытаращены, как будто этого человека одолевает сон, а спать ему нельзя. Позевывая, он смотрит вдаль через головы людей и спрашивает встречных:

— Ну — как?

Ответы, видимо, не интересуют его, да они, наверное, знакомы ему:

— Так себе. Ничего. Живем.

Он славится как женолюб и великий распутник. Корцов, не без гордости, говорил мне:

— Он даже с испанкой жил! Ну а теперь, конечно, и мордовками не брезгует…

Говорят, что Лесников — «незаконный» сын знатного лица, архиерея или губернатора. У него есть несколько десятин огородной земли и лугов, он сдает землю эту в аренду слобожанам и одиноко живет на квартире у моего соседа, больного чиновника казначейства.

Как-то вечером он валялся в саду, на траве, под липой, пил пиво со льдом и рычал, зевал. К нему подошел домохозяин, худенький, кисловато-любезный человечек в очках.

— Что, Яша?

— Скушно, — сказал Лесников. — Вот думаю, — чем бы заняться?

— Поздно тебе заниматься делами…

— Пожалуй — поздно.

— Староват.

— Да.

Помолчали. Потом Лесников, не торопясь, проговорил:

— Очень скушно. В бога, что ли, поверить?

Чиновник — одобрил:

— Это — неплохо. Все-таки — в церковь ходить будешь…

А Лесников, с воем зевнув, сказал:

— Во-от…

Зимин, торговец галантерейным товаром, хитрый мужик, церковный староста, сказал мне:

— От ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, потеряли простоту. Сердце у нас —

честное, а ум — жулик!..

Сижу, глотая знойный воздух, вспоминаю речи, жесты, лица этих людей, смотрю на город, окутанный горячей опаловой мутью. Зачем нужен город этот и люди, населяющие его?

Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни — «арзамасский», мордовский ужас, но — неужели только для этого жил и живет город от времени Ивана Грозного?

Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали так бессвязно, беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно — в уездной.

Арзамасские мысли случайны и похожи на замученных мальчишками, полуощипанных птиц, которые иногда, со страха, залетают в темные комнаты, чтоб разбиться насмерть о непроницаемый обман прозрачных, как воздух, стекол окна. Бесплодные «синие» мысли.

Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потом уже — и поэтому — грязно, скучно, озлобленно и преступно. Талантливые люди, но — люди для анекдотов.

С реки доносится шум и плеск воды, — прибежали мальчишки купаться. Но их мало в городе, большинство ушло в лес, в поле и овраги, где прохладно. В садах поднимается голубой дымок, это проснулись хозяйки и разжигают самовары, готовясь к вечернему чаю.

Пронзительно верещит тонкий голос девочки:

— Ой, ма-амонька, ой, ро́дная, ой, не бей меня по животику…

И — точно в землю ушел этот вопль.

Зной всё тяжелее. Солнце как будто остановилось. Земля дышит сухим, пыльным жаром. Кажется, что небо стало еще более непроницаемым, — очень неприятна и даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то небо, как везде, а — особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цвета́ стекла, выгоревшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу прозрачной, но непроницаемой стеною.

Черненькими точками бестолково мелькают мухи, это снова напоминает о непроницаемости стекла.

А тяжелое, горячее безмолвие — все гуще, тяжелее.

В тишине певуче звучит полусонный, разнеженный голос женщины:

— Таисья, одеваисся?

И такой же голос, но более низкий, томно отвечает:

— Одеваюся.

Молчание. И — снова:

— Таисья, ты — голубо́?..

— Я — голубо-о́…

Пожары

Темной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь — вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок, — они падали на землю нехотя, медленно.

Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.

Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: «Надо стучать в окна домов, будить людей, кричать — пожар». Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали петушиные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели, и на площади стало светлее.

«Надо будить людей», — внушал я сам себе и — молча смотрел до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к нелепой чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти неотделим от нее. Я подошел к нему. Это — Лукич, ночной сторож, кроткий старик.

— Ты что же? Свисти, буди людей!

Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:

— Сейчас…

Я знал, что он не пьет, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия, и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлебываясь словами, начал бормотать:

— Ты гляди, как хитрит, а? Ведь что делает, гляди-ко ты! Так и жрет, так и жрет, ну — сила! А малое время спустя назад маленький огонечек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошел козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи…

Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки — торопливо затрещала трещотка. Но глаза его неотрывно смотрели вверх, — там, над крышей, кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой черный, тяжелый дым.

Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:

— Ишь ты, разбойник… Ну, давай будить людей… Давай, что ли…

Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:

— Пожа-ар!

Я чувствовал, что действую энергично, однако — неискренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на средину площади и, задрав голову вверх, кричал с явной радостью:

— Пожа-ар, э-ей!

…Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влияния ее. Разжечь костер — для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.

Пожар на Суетинском съезде в Нижнем; горят дома над узкой щелью оврага; овраг, разрезав глинистую гору, круто спускается из верхней части города в нижнюю, к Волге. Пожарная команда не могла, по условиям местности, подъехать близко к пожару, машины и бочки воды стоят на съезде, внизу, шланги протянуты вверх по срезу оврага, а сверху падают вниз головни, катятся огненные бревна. Густая толпа зрителей стоит на другой стороне съезда, оттуда пожар прекрасно виден, но несколько десятков людей спустились вниз, где их сердито ругают пожарные и где падающие по откосу бревна легко могут переломать им ноги.

Чтоб видеть, как огонь пожирает старое дерево ветхих домов, люди должны неудобно задирать головы вверх, на лица им сыплется пепел, кожу кусают и жалят искры. Это не смущает людей, они ухают, хохочут, орут, отбегая от бревна, которое катится под ноги им, ползут на четвереньках по крутому срезу противоположной пожару стороны оврага и снова, черными комьями, прыгают вниз. Эта игра особенно увлекает солидного человека в щегольском пальто, в панаме на голове и в ярко начищенных ботинках. У него — круглое холеное лицо, большие усы, в руке палка с золотым набалдашником, он держит ее за нижний конец, размахивает ею, как булавой, и, отбегая от бревна, падающего сверху, орет басом:

— Ур-ра-а!

Зрители подзадоривают его криками, над его головою кружится, сверкая, золотой шарик палки, на полях панамы черные пятна погасших угольков, черной змеею развевается под его подбородком развязавшийся галстук. Но человек этот ничего не видит и, кажется, не слышит, у него цель храбреца-мальчишки: подождать, пока горящее бревно подкатится вплоть к ногам

людей, и отпрыгнуть от него последним. Это неизменно удается ему, он очень легок, несмотря на высокий рост и плотное тело. Вот-вот бревно ударит его, но — ловкий прыжок назад, и опасность миновала:

— Ур-ра-а!

Он даже несколько раз прыгал вперед, через бревно, и за это какие-то дамы, в толпе зрителей наверху, рукоплескали ему. Их много наверху, пестро одетых женщин, некоторые стоят, раскрыв зонты, защищаясь от красного дождя искр.

Я подумал: наверное, этот человек влюблен и показывает даме своей ловкость и бесстрашие — достоинства мужчины.

— Ур-рра-а! — кричит он. Панама его съехала на затылок, лицо побагровело, а вокруг шеи все развевается черная лента галстука.

Потрясающе ухнув, заглушив криком жадный треск огня, пожарные вырвали баграми несколько бревен сразу, и бревна, дымясь, сверкая золотом углей, неуклюже подпрыгивая, покатились по откосу оврага. Чем ниже, тем быстрее становилось их тяжелое движение, вот, взмахивая концами, переваливаясь одно через другое, они бьют по булыжнику мостовой.

— Ур-ра-а, — дико кричит человек в панаме и, взмахнув палкой, перепрыгивает через бревно, а конец другого лениво бьет его по ногам, — человек, подняв руки, ныряет в землю, и тотчас же пылающий конец третьей, огромной головни тычется в бок ему, как голова огненной змеи.

Толпа зрителей гулко ахнула, трое пожарных быстро отдернули игривого человека за ноги, подняли и понесли его куда-то, а среди горящих бревен, на булыжнике мостовой, осталась панама, пошевелилась, поежилась и вдруг весело вспыхнула оранжевым огнем, вся сразу…

В 96-м году в Нижнем Новгороде горел «Дом трудолюбия»; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух-работниц. Все они, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.

Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном кирпичном ящике с железными решетками на окнах буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскаленное железо решеток на окнах дым вырывался какими-то особенно тяжелыми, черными клубками и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.

Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец

Капитон Сысоев, крепкий здоровяк, несмотря на его пятьдесят лет и распутную, пьяную жизнь.

На бритом скуластом лице его глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, все на нем как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом — он смотрит на людей вызывающе, с подчеркнутой наглостью.

А на пожар смотрел взглядом человека, для которого вся жизнь и всё в ней — только зрелище. Говорил цинично о «зажаренных» старушках и о том, что хорошо бы всех старушек сжечь. Но что-то беспокоило его, он поминутно совал руку в карман пальто, выдергивал ее оттуда, странно взмахивал ею и снова прятал, искоса поглядывая на людей. Потом в пальцах его явился маленький сверток бумаги, аккуратно перевязанный черной ниткой, он несколько раз подбросил его на ладони и вдруг ловко метнул в огонь, через улицу.

— Что это бросили вы?

— Примета у меня есть одна, — ответил он, подмигнув мне, очень довольный, широко ухмыляясь.

— Какая?

— Ну нет, не скажу!

Недели через две я встретил его у адвоката Венского, кутилы, циника, но очень образованного человека; хозяин хорошо выпил и заснул на диване, а я, вспомнив о пожаре, уговорил Сысоева рассказать мне о его «примете». Прихлебывая бенедиктин, разбавленный коньяком, — пойло, от которого уши Сысоева вспухли и окрасились в лиловый цвет, — он стал рассказывать в шутливом тоне, но скоро я заметил, что тон этот не очень удается ему.

— Я бросил в огонь ногти мои, остриженные ногти, — смешно? Я с девятнадцати лет сохраняю остриженные ногти мои, коплю их до пожара, а на пожаре бросаю в огонь. Заверну в бумажку вместе с ними три, четыре медных пятака и брошу. Зачем? Отсюда и начинается чепуха…

— Когда мне было девятнадцать лет, был я забит неудачами, влюблен в недосягаемую женщину, сапоги у меня лопнули, денег — не было, заплатить университету за право учения — нечем, а посему увяз я в пессимизме и решил отравиться. Достал циан-кали, пошел на Страстной бульвар, у меня там, за монастырем, любимая скамейка была, сижу и думаю: «Прощай, Москва, прощай, жизнь, черт бы вас взял!» И вдруг вижу: сидит рядом со мною эдакая толстая старуха, черная, со сросшимися бровями, ужасающая рожа! Вытаращила на меня глаза и — молчит, давит. «Что вам угодно?» — «Дай-ко мне левую руку, студент», — так,

знаете, повелительно требует, грубо…

Рассказчик посмотрел на храпевшего хозяина, оглянул комнату — особенно внимательно ее темные углы — и продолжал тише, не делая усилий сохранить искусственно-веселый тон.

— Протянул я ей руку и — честное слово — почувствовал на коже тяжесть взгляда ее выпуклых глаз. Долго она смотрела на ладонь мою и наконец говорит: «Осужден ты жить», — так и сказала: осужден! — «Осужден ты жить долго и легко, хорошо». Я говорю ей: «Не верю в эти штучки — предсказания, колдовство…» А она: «Потому, говорит, и уныло живешь, потому и плохо тебе. А ты попробуй, поверь…» Спрашиваю, посмеиваясь: «Как же это можно — попробовать верить?» — «А вот, говорит, остриги себе ногти и брось их в чужой огонь, но — смотри — в чужой!» — «Что значит — чужой огонь?» — «Ну, говорит, как это не понять? Костер горит на улице в морозный день, пожар, или сидишь в гостях, а там печь топится…»

— Потому ли, что умирать мне, в сущности, не хотелось, — ведь все мы умираем по нужде даже и тогда, когда нам кажется, что это решено нами свободно; или же потому, что баба эта внушила мне какую-то смутную надежду, но самоубийство я отложил, до времени. Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство?

— Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной, против дома, где я жил. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. «Ну, думаю, готово: жертва принесена, — чем ответят мне боги?» Был у меня знакомый математик, он знаменито играл на биллиарде и бил меня, как слепого. Предлагаю ему, чтоб испробовать силу колдовства: «Сыграем?» Пренебрежительно спрашивает: «Сколько очков дать вперед?» — «Ничего, ни нуля». Можете себе представить, что со мной было, когда я обыграл его! Помню — ноги дрожали от радости и точно меня живою водой спрыснуло. «Стой, думаю, в чем дело? Совпадение?»

— Иду к моей недосягаемой даме, — а вдруг и у нее выиграю? Выиграл, и с такой необыкновенной легкостью, что это испугало меня, да — так, что я даже сна лишился. Еще одно совпадение? Живу между двух огней: между любовью первой, жадной, и — страхом. По ночам вижу эту бабу: стоит где-нибудь в углу и требовательно смотрит на меня тяжелым взглядом, молча двигает бровями. Сказал возлюбленной моей, а она была, как все актрисы, а плохие — особенно, суеверна, разволновалась страшно, ахает и убеждает: «Стриги ногти, следи за пожарами!» Я — стригу и обрезки храню, ни на минуту не забывая, что все это глупо и что, может быть, вся штука в том, что, когда человек

потерял веру в себя, ему необходимо запастись верой в какую-нибудь темную ерундищу. Но соображение это не гасит тревоги моей. Накопил я обрезков ногтей порядочно, бросил в огонь, и — снова чертовщина: является ко мне лысенький человечек с портфелем. «У вас, говорит, в Нижнем Новгороде померла двоюродная тетка, девица, и вы единственный наследник ее». Никогда ничего не слышал я о тетке и вообще родственниками был беден, так же, как они деньгами. Да и было их всего двое: дед со стороны матери, в богадельне, да какой-то многодетный дядя, тюремный инспектор, которого я никогда не видал. Спрашиваю лысенького: «Вы не дьявол будете?» Обиделся: «Нет, говорит, я частный поверенный и тети вашей старый друг». — «А может, говорю, вас старуха прислала?» — «Ну да, говорит, конечно, старуха, ей пятьдесят семь лет было». Смотрю на него почти с ненавистью и предупреждаю: «Платить мне за труды ваши — нечем». — «Заплатите, когда я введу вас во владение имуществом». Чрезвычайно гнусный старичок, навязчивый такой, надутый, и явно презирал меня. Привез он меня сюда, и очутился я домовладельцем. Почему-то мне казалось, что получу я деревянный домик в три окна, пятьсот рублей деньгами и корову, но оказалось: два дома, магазины, склады, квартиранты и прочее. Богато. Но чувствую я себя неладно, управляет жизнью моей какая-то чужая, таинственная воля, и растет у меня эдакое особенное отношение к Его Сиятельству огню: отношение дикаря к существу, обладающему силою обрадовать и уничтожить. «Нет, думаю, черт меня возьми, этого я не хочу, нет!» И начал превращать богатства мои в дым и пепел: завертелся, как пес на цепи, закутил. А ноготки стригу, храню и на пожарах бросаю в «чужой огонь». Не могу точно сказать вам, зачем делал это и верил ли я в колдовство, но бабищу забыть не мог и не забыл до сего дня, хотя, надеюсь, она давно уже скончалась. Одолело меня эдакое жуткое любопытство — в чем дело? Университет бросил, живу скандально, чувствую в себе эдакую беспокойную дерзость, всячески испытываю терпение полиции, силу здоровья, благосклонность судьбы. И все сходит мне с рук благополучно. Но вместе с этим кажется мне: вот кто-то придет и скажет: «Пожалуйте!» Кто придет, куда поведет — не знаю, но — жду. Начал читать Сведенборга, Якова Бёме, Дю-Преля — ерунда. Явная ерундища, даже обидно. А ночью проснусь и — жду. Чего? Вообще. Ведь если одна чертовщина возможна, почему же не быть другой, еще хуже или еще лучше? Решительно ничего не делаю в поощрение удач и удивляюсь: почему я не схожу с ума? Богатый холостяга, женщины любят, в карты играю до отвращения удачно. И даже среди друзей — ни одного негодяя, ни одного жулика, все

пьяницы, но — порядочные люди. Так жил я до сорока лет, а в эти годы каждый мужчина должен пережить некий кризис — будто бы это обязательная повинность. Жду кризиса.

— В Киеве, на контрактах, повздорил я с каким-то гонористым поляком, он меня вызвал на дуэль. Ага, вот он, кризис! Накануне дуэли пожар на Подоле, загорелись какие-то еврейские лачуги. Поехал я на пожар, бросил ногти в огонь и мысленно требую, чтобы завтра убили меня или тяжело ранили, по крайней мере. Но вечером в тот же день мой поляк ехал верхом, а лошадь испугалась чего-то, сбросила поляка, он переломил себе правую руку и разбил голову. Извещает меня об этом секундант его, я спрашиваю: «Как это случилось?» — «Старуха какая-то бросилась под лошадь». Старуха? Старуха, черт вас возьми? Совпадение, дьяволы?

— Тут, первый и единственный раз в жизни, я испытал припадок какой-то бешеной истерии, и меня отправили в Саксонию, в горы, в санаторию. Там я рассказал все это профессору. «О, — говорит немец, — это интереснейший случай». И определил случай, как насекомое, по латыни. Потом он поливал меня водой, гонял по горам месяца два, толка из этих прогулок не вышло. Чувствую я себя скверно и скучаю о пожарах. Понимаете? Скучаю. О «чужом огне». И — коплю остриженные ногти. Сам внутренне усмехаюсь: ведь — ерунда же все это, дрянь и пакость. А дома́ я уже заложил, деньги у меня на исходе. «Ну-ко, что теперь будет?» — думаю. Путешествую. Нюренберг, Аугсбург — скучно. Сидя в вестибюле гостиницы, бросил ногти в камин. Через день, лежу в постели, ночью, стучат в дверь: телеграмма — один из трех моих билетов внутреннего займа выиграл пятьдесят тысяч, а другой — тысячу. Помню, сидел я в постели, озирался и ругал кого-то дикими словами. Страшно было мне, как никогда, так глупо, по-бабьи страшно.

— Ну, всю эту ерундовую канитель долго рассказывать, да и однообразна она. Тридцать четыре года живу я в ней. Честное слово — я делал все для того, чтоб разориться, свернуть себе голову, но, как видите, благополучен. В конце концов я устал от этого и махнул рукою: будь что будет!

Ему, видимо, стало тяжко, скуластое лицо обиженно и сердито надулось, узенькие зоркие глазки потускнели.

— И все еще бросаете ногти в огонь? — спросил я.

— Ну а — чем же мне жить, чего ждать? Ведь должна же кончиться эта идиотская чертовщина? Или — нет? Может быть, я и не умру никогда?

Он усмехнулся и закрыл глаза. Потом, закурив сигару, глядя на конец ее, сказал негромко:

— Химия — это химия, но все-таки в огне скрыто, кроме того, что мы знаем, нечто, чего нам не понять. И прячется огонь невероятно искусно. Так — никто не прячется. Кусочек прессованного хлопка или несколько капель пикриновой кислоты, несколько гран гремучей ртути, а между тем…

Он щелкнул языком и замолчал.

— Мне кажется, — сказал я, — что все это очень удачно объяснено вами в словах: когда нет веры в свои силы, нужно верить во что-нибудь вне себя. Вот вы и поверили…

Он утвердительно кивнул головою, но, очевидно, не понял или не слышал моих слов, потому что спросил, нахмурясь:

— Но — ведь глупо же это? Зачем ему нужны мои ногти?

Года через два он умер на улице от «паралича сердца», как сказали мне.

Священник Золотницкий за какие-то еретические мысли тридцать лет просидел в монастырской тюрьме, кажется — в Суздале, в строгом одиночном заключении, в каменной яме. В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христолюбивой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретику разрешали самосильно топить печку его узилища.

В первых годах столетия Золотницкого выпустили на свободу, потому что он не только забыл свое еретичество, но и вообще мысль его не работала, почти угаснув. Высушенный долголетним заключением, он мало чем напоминал жителя поверхности земли, ходил по ней, низко склоня голову и так, как будто он идет все время вниз, опускается в яму, ищет, куда бы спрятать хилое, жалобное тело свое. Мутные глаза его непрерывно слезились, голова тряслась, и бессвязная речь была непонятна. Волосы бороды уже не седые, а «впрозелень»; зеленоватый, гнилой оттенок волос был ясно заметен даже на темных щеках тряпичного, старческого лица. Полуумный, он, видимо, боялся людей, но из боязни пред ними скрывал это. Когда с ним заговаривали, он поднимал сухонькую, детскую руку так, как будто ждал удара по глазам и надеялся защитить их этой слабой, дрожащей рукою. Был он тих, говорил мало и всегда вполголоса, робко шелестящими звуками.

Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть пред нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, тряся головою, все слова, какие уцелели в памяти его:

— Сущий… Вечный огонь. Иже везде сый. Попаляяй

грешные…

Тыкал горящие поленья коротенькой кочергою, качался, как бы готовясь сунуть в огонь голову свою; воздух тянул в печь зеленые тонкие волосы его бороды.

— Всесилен есть. Никому же подобен. Лик твой да сияет во веки веков. И бегут… Тако да бегут… От лица огня… Яко дым от лица огня… Тебе хвала, тебе слава, купина…

Его окружали сердобольные люди, искренно изумляясь и тому, до чего можно замучить человека, и тому, как все-таки живуч и вынослив человек.

Велик был ужас Золотницкого, когда он увидал электрическую лампочку, когда пред ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь, заключенный в стекло.

Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:

— И его — ох! — и его… Почто вы его? Не дьявол ведь! Ох, — почто?

Долго не могли успокоить старого узника; из его мутных глаз текли маленькие слезинки, весь он дрожал и, горестно вздыхая, уговаривал окружающих:

— Ой, рабы божие… — почто? Лучик солнечный в плен ввергли… Ох, людие! Ох, побойтесь гнева огненного…

И дрожащей сухонькой рукою он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывал:

— Ой, пустите его…

…Мой патрон А. И. Ланин, войдя в кабинет, сказал раздраженно и устало:

— Был в тюрьме, у подзащитного, оказался такой милый, тихий парень, но — обвиняется в четырех поджогах. Обвинительный акт составлен убедительно, показания свидетелей тяжелые. А он, должно быть, запуган, очумел, молчит. Черт знает, как я буду защищать его…

Через некоторое время, сидя за столом и работая, патрон, взглянув в потолок, сердито повторил:

— Наверное, парень невиновен…

А. И. Ланин был опытный и счастливый защитник, он красиво и убедительно говорил на суде; раньше я не замечал, чтоб судьба подзащитного особенно волновала его.

На другой день я пошел в суд. Дело о поджоге слушалось первым. На скамье подсудимых сидел парень лет двадцати, в тяжелой шапке рыжеватых кудрявых волос. Очень белое «тюремное» лицо, широко раскрытые серо-голубые глаза, золотистые, чуть намеченные усики и под ними ярко-красные

губы. Серый халат обидно искажает парня, его хочется видеть в малиновой рубахе, плисовых шароварах, в сапогах «с набором», с гармоникой или балалайкой в руках. Когда председательствующий В. В. Бер или обвинитель обращаются к подсудимому с вопросами, он быстро вскакивает и, запахивая халат, отвечает очень тихо.

— Громче, — говорят ему.

Он откашливается, но говорит все так же тихо. Это сердит судей, сердит присяжных. В зале скучно и душно, мотылек бьется о стекло окна, и этот мягкий звук усиливает скуку.

— Итак, вы не сознаетесь?

Перед судьями длинный одноглазый старик, лицо у него железное, от ушей с подбородка висят прямые седые волосы. На вопрос: чем он занимается? — старик глухо, могильно отвечает:

— Христа ради живу…

Потом, склонив голову набок, он гудит:

— Шел я из города, сильно запоздамши, солнышко давно село, и подхожу к ихой деревне, и вот светится маленько в темноте-то, да вдруг — как полыхнет…

Обвиняемый сидит, крепко держась за край скамьи, и, приоткрыв рот, внимательно слушает. Взгляд его странен, светлые глаза сосредоточенно смотрят не в лицо свидетеля, а в пол, под ноги его.

— Я — бежать, а он — чешет…

— Кто?

— Огонь, пожар…

Обвиняемый качнулся вперед и спросил неожиданно громко, с явным оттенком презрения, насмешки:

— Это когда же было?

— Сам знаешь когда, — ответил нищий, не взглянув на него, а парень встал, строго нахмурив брови и говоря суду:

— Врет он; с дороги из города не видать того места, где загорелось…

В него вцепился обвинитель, остроносенький товарищ прокурора; взвизгивая, он стал кусать парня вопросами, но тот снова отвечал тихо, неохотно, и это еще более восстановило суд против него. Так же неясно, нехотя обвиняемый отвечал и на вопросы защитника.

— Продолжайте, свидетель, — предложил Бер.

— Бегу, а он прыг через плетень прямо на меня.

Парень усмехнулся и что-то промычал, двигая по полу ногами в тяжелых «котах» арестанта.

Нищего сменил толстый мужик, быстро и складно, веселым тенорком он заговорил:

— Давно у нас догадка была на него, хоша он и тихий и некурящий, ну, заметили мы, однако: любит баловать с огнем… Еду я из ночного, облачно было, вдруг у шабра на гумне ка-ак фукнет, вроде бы из трубы выкинуло…

Обвиняемый, толкнув локтем солдата тюремной команды, вскочил на ноги и отчетливо, с негодованием почти закричал:

— Да — врешь ты! Из трубы, — эх! Что ты знаешь? Чать не сразу бывает — фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала — червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом — взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас — сразу…

Лицо его покраснело, он встряхивал головою и сверкал глазами, очень возбужденный, говоря поучительно и с большой силою. Судьи, присяжные, публика — все замерли, слушая, А. И. Ланин, привстав, обернулся к подзащитному и удивленно смотрел на него. А он, разводя руки кругами и все шире, все выше поднимая руки, увлеченно рассказывал:

— Да — вот так, да — вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уж его не схватишь, нет! А сначала — червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них — вся беда!

Их и надо уследить. Вот их и надо переловить да — в колодцы. Переловить их — можно! Надо поделать сита железные, частые, как для пшеничной муки, ситами и ловить да — в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет пожаров. Сказано ведь: упустишь огонь — не потушишь. А они, как слепые все равно, — врут…

Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул.

Судебное следствие покатилось как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:

— Быстры они больно, червячки-то, не остережешь их…

В. В. Бер скучно сказал обычную фразу:

— Ввиду полного сознания подсудимого…

Защитник возбудил ходатайство о психиатрической экспертизе, судьи пошептались и отказали ему. Обвинитель произнес краткую речь, Ланин говорил много, красноречиво, присяжные ушли и через семь минут решили:

— Виновен…

Задумчиво выслушав суровый приговор, осужденный, на предложение А. И. Ланина обжаловать решение суда, сказал равнодушно, как будто все это не касалось его:

— Ну что ж, пожалуйтесь, можно…

Солдат, вкладывая саблю в ножны, что-то шепнул парню, парень, резким движением запахнув халат, ответил громко:

— Я ж говорю: как слепые…

В 93-м или 94-м году за Волгой, против Нижнего Новгорода, горели леса, — огонь охватил сотни десятин. Горький опаловый дым стоял над городом, в дыму висело оранжевое солнце, без лучей, жалкое, жуткое; особенно неприятно было видеть, как тусклое отражение ощипанного солнца колеблется в мутной воде Волги, как бы нехотя опускаясь на грязное дно ее.

Луга за Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли. В дымной, чадной мгле все звучало глуше, сады обеднели пчелами, бабочками, и даже неукротимо бойкие воробьи стали тише чирикать, медленней летать.

Тяжело было смотреть, как за Волгой снижается обесцвеченное солнце, уходя в землю, а пышных красок вечерней зари — нет. По ночам из города видно: над черною стеной дальнего леса шевелит зубчатым хребтом огненный дракон, ползет над землей и дышит в небо черными облаками, напоминая Змея Горыныча древних сказок.

Дым наполнял улицы, просачивался в комнаты домов, город превратился в коптильню людей. Ругаясь, кашляя, люди по вечерам выходили на крутой берег реки, на Откос и, глядя на пожар, ели мороженое, пили лимонад, пиво, убеждая друг друга, что это мужики подожгли леса. Кто-то мрачно сказал:

— Первая репетиция пьесы «Гибель земли».

Знакомый поп, глядя вдаль красными глазами пьяницы, бормотал:

— Апокалипсическая штучка… а пока выпить надо…

Шутки казались неуместными, очень раздражали, и все, что говорилось в эти мутные, удушливые дни, как-то особенно едко обнажало нищету и скуку обыденной жизни.

Пехотный офицер, мечтатель, сочинявший «Ботанику в стихах для девиц среднего возраста», предложил мне ехать с ним на пожар, — там работала часть солдат его роты. Мы поехали душной ночью на паре обозных лошадей, паром перевез нас в село Бор, и сытые лошади, сердито фыркая, побежали по песчаной дороге в чадную мглу. Недвижимо обняв тихие поля, она кутала дали серой кисеей, сквозь нее медленно пробивался скучный рассвет, и чем ближе к лесам подъезжали мы, тем более голубел дым, горько царапая горло, выедая глаза.

Солдат на козлах громко чихал, а офицер, протирая пенсне, покашливая, хвастал красотою своих стихов, отважно рифмуя «гелиотроп» и «гроб».

Трое мужиков с лопатами и топорами уступили нам дорогу, пехотный поэт крикнул им:

— Где работает воинская часть?

— Не знаем…

Солдат, придержав лошадей, спросил:

— Где тут солдаты?

Мужик в красной рубахе указал топором влево от дороги:

— А — эвон…

Через несколько минут мы подкатились к перелеску, в густой чаще ельника и сосняка возились люди в белых рубахах, подбежал фельдфебель и, козыряя, отчеканил, что все благополучно, только чувашин обжегся немного. Затем он «осмелился доложить», что, по его разуму, работать здесь бесполезно:

— Место погибшее, огонь идет верхом, полукольцом, сожжет клинушек этот, а дальше ему есть нечего, сам погаснет…

И, указав длинной рукою вправо, предупредил:

— А там — торфяник, сухое болотце, там огонь низом ползет сюда. Люди беспокоятся…

Офицер тоже обеспокоился, видимо, не зная, как нужно распорядиться, но тут из леса медведем выломился большой бородатый мужик, с палкой в руке, с медной бляхой на груди, снял шапку, осеянную пеплом, и замер, глядя на офицера немым взглядом синих глаз.

— Староста?

— Так точно.

— Ну, что?

— Горит.

— Надо бороться с огнем, — посоветовал офицер. — Лес — наше богатство. Да… Лес, это, брат, не просто деревья, а — общество разумных существ, как, например, ваше село…

— У нас — деревня…

По земле, под ногами у меня, темной кружевной полосою ползли муравьи, обегая навозного жука, он поспешно катил свой шарик. Я пошел посмотреть, откуда переселяется муравейник. Странный хруст колебался вокруг, некто невидимый шел рядом со мною, приминая траву, шелестя хвоей. И в движении ветвей было что-то неоправданное, непонятное.

Сзади меня очутился староста, жалуясь:

— Третьи сутки гуляю. Начальство будете? А-а, поглядеть желательно? Это — ничего! Идемте, я вас на холмик провожу, недалеко тут, с него хорошо видать…

Песчаный холм осеняли десятка два мощных сосен, кроны их, точно чаши, были налиты опаловой мутью. Перед холмом, в

котловине, рассеянно торчали чахлые елки, тонкоствольные березы, серебристая осина трепетала пугливо; дальше деревья соединялись всё плотнее, и между ними возвышались сосны, покрытые по бронзовым стволам зеленоватой окисью лишаев.

У корней деревьев бегали, точно белки, взмахивая красными хвостами, веселые огни, курился голубой дымок. Было хорошо видно, как огонь, играя, влезает по коре стволов, извивается вокруг них, прячется куда-то, а вслед за ним ползут золотые муравьи, и зеленоватые лишаи становятся серыми, потом чернеют. Вот снова откуда-то выбежал огонь, грызет порыжевшую траву, мелкий кустарник и — прячется. И вдруг между корней кружится, суетится целая толпа красных бойких зверьков.

Опираясь руками на палку, староста ворчит:

— Наши там… спаси бог…

Людей не видно, но сквозь хруст, шорох и отдаленный глухой вой доносились из леса дробные удары топоров, гулкое уханье и тяжкий, скрипучий шум падения деревьев. Темненьким комочком подкатилась под ноги мне полевая мышь, белым мячом мелькнул по болоту зайчонок.

А щебета птиц не слыхать, хотя леса Заволжья богаты певчей птицей. И — ни пчел, ни шмелей, ни ос в тяжелом воздухе, в синеватой, опьяняющей, жаркой мгле. Было грустно видеть, как зеленое мертво сереет или покрывается рыжей ржавчиной и часто, не вспыхнув огнем, листья осины сыплются на землю пепельными бабочками, жалобно обнажая тонкие ветки. Но иногда лист, иссушенный жарою, вдруг весь вспыхнет и осыпается сотнями желтых и красных мотыльков. Я видел, как нижние лапы пышных елей там, далеко, быстро теряют бархатный темно-зеленый лоск, рыжеют, ржавеют и, сразу озолотясь, брызгают во все стороны густым дождем красноватых искр, похожих на запятые. Вот искры с легким, веселым треском дружно взвились вверх, осеяв всю пирамиду елки, взвились, исчезли, а дерево стало черным, и лишь кое-где на концах голых веток мелькают маленькие желтые цветы огней. Вот еще так же быстро расцвела и погибла ель, еще и еще… Что-то прозвучало, лопнув, как гнилое яйцо, и по болоту, извиваясь, поползли во все стороны красно-желтые змеи, поднимая из травы острые головки, жаля стволы деревьев. Быстро желтел мелкий березовый лист, когда по белому стволу, по смолистым стружкам коры гибко вползал огонь, ветви курились синим дымом, удивительно красиво вились, тихонько посвистывая, его тонкие струйки. И в тихом свисте горения, казалось, звучат начала каких-то песен, странных и глубоких.

Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню. Староста ахал и тоже незаметно спускался с холма, помахивая палкой,

восклицая:

— А, господи, чудеса твои… ах ты, господи!

Гул в лесу вдруг замолк, его сменил тревожный волчий вой:

— У-у-у…

— Побежали, — сказал староста, прислушиваясь, хмурясь.

И — точно: слева от нас, далеко, в деревьях замелькали фигуры людей; их словно выбрасывало из леса, так быстро выскакивали они. А справа, на болоте, явились два солдата, в сапогах, серых от пепла, в рубахах без поясов; они вели коротконогого мужика, держа его под руки, как пьяного. Мужик фыркал и плевался, кропя встрепанную бороду и разорванную рубаху свою брызгами крови; нос и губы у него были разбиты, а неподвижные, точно слепые, глаза улыбались жалкой ребячьей улыбкой.

— Куда это вы его? — строго спросил староста.

Солдат-татарин, добродушно ухмыляясь, ответил:

— Поджог делал, огонь тащил место на местам!

Его товарищ сердито добавил:

— Поджигал, мы видели! Раздувал.

— Ну-у, видели, как жа-а! Закуривал я…

— Нам за вами приказано глядеть, а он зажег ветку и подкладывает…

— Ну-у, ка-ак жа-а! Зажег! К сапогу пристала…

Солдат ударил мужика по шее.

— Нет, погоди, ты не бей, — внушительно сказал староста. — Этот — наш мужик. Этот мужик, я тебе скажу, — не в разуме…

— Сади его на цепь…

Сердито, но неохотно заспорили, а по болоту кружились огни, встречая мужиков, бежавших из лесу. Человек семь, тяжело подпрыгивая, направлялось к нам, вот они подбежали и свалились на песок у холма, кашляя, хрипя, ругаясь.

— Чуть не захватило…

— Птицы сколь погибло…

При виде злых, измученных мужиков солдаты стали миролюбивее и, оставив избитого ими, ушли сквозь теплый дым, — он становился синее и все более едким. По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась, желтея, листва ольхи и берез, шевелились лишаи на стволах сосен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел.

На холме стало жарко, трудно дышать, мужики, передохнув, один за другим уходили в чащу, выше на холм; староста угрюмо журил избитого:

— Завсегда у тебя скандал, Микита. Ни пожар, ни крестный ход, ничего тебе не скушно…

Мужик молчал, ковыряя черным пальцем передние зубы.

— И верно, что на цепь тебя сажать надобно…

Вынув палец изо рта, мужик крепко вытер его подолом рубахи. Он ворочал головою, неподвижные глаза его шарили по болоту, следя за струйками дыма. Все болото курилось, всюду из черной земли возникали голубые и сизые кудри дыма. И везде, вслед за ними, из торфа острым бугорком выскакивал огонь, качался, кланялся, исчезал, на месте его являлось красновато-золотое пятно, и во все стороны от него тянулись тонкие красные нити, сами собою связываясь в узлы новых огней.

Вдруг у подножия холма вспыхнул неопалимой купиною куст можжевельника, староста, взмахнув палкой, попятился.

— Ишь ты, как… Уходить надо отсюдова…

И, тяжело шагая по песку между сосен, он ворчал:

— Хожу вот, а — чего хожу? Что может сделать человек против такого огня? А своя работа стоит! Может, не мене тыщи людей время теряют эдак-то вот…

Спустились по зарослям кустарника в лощину, на дне ее тускло блестел ручей, дым здесь осел гуще, и даже ручей казался густою струей дыма. Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты, быстро прополз маленький ужишка, а за ним к ручью скатился комком еж.

— Догонит, — сказал Никита и быком, наклоня голову, полез сквозь кусты.

— Ты, гляди, не дури, — крикнул ему староста и, сбоку осторожно взглянув на меня, заговорил: — Не в разуме маленько он. Троекратно горел, ну и того… Солдаты, конечно, хвастают, поджогами он не занимается, ну все-таки разум свихнулся, к озорству тянет…

Дым выедал глаза, они заливались слезами, крепко щекотало в носу, и было трудно дышать. Староста громко чихнул, озабоченно оглянулся, помахивая палкой.

— Скажи на милость, куда его метнуло!

Впереди нас по можжевельнику, в лощину, воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красногрудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, кивали и прятались безмолвно птичьи головки.

— Микита? — крикнул староста и прислушался. Был слышен сухой хруст, предостерегающее шипение и тихонький свист. Где-то, очень далеко, шумели люди.

— Пес, — сказал староста. — Не сгорел бы. Ему огонь — как пьянице вино. Где пожар — он первый бежит сломя голову. Прибегет, вытаращит глаза и стоит, как все равно гвоздями пришитый к земле. Ни помочь людям, ничего, стоит и стоит,

ухмыляется. Бивали его за это. Прогонят с одного места, он на другом приклеится. Полонен огнем…

Оглядываясь назад, я видел, что огни, спускаясь все ниже, торопятся поспеть вслед за нами, а вода ручья, кое-где покраснев, светится золотом.

— Мики-ита-а?

Встречу нам, лесом, бежал кто-то, староста остановился, протирая слезящиеся глаза, из-за деревьев выскочил парень без рубахи, она была наверчена на голове его чалмою.

— Куда гонишь?

Сильно двигая ребрами, отмахивая рукою назад, парень задыхался, бормотал:

— Там все разбежались… верхом пошло… не ходите туда. Сразу настигло… Ух, испугался я, господи…

— Ну куда ж тут идти? — сам себя спросил староста. — Айдате прямо, что ли! Не знаем мы этот лес, зря согнали нас сюда. Плутай тут, а — какой толк? Только одним живешь, как бы от начальства укрыться.

Он говорил все более озлобленно.

— Житье! Утопленник ли, покойника ли, жертву убийства, найдут где, на дороге, лес ли горит, — на всякий этот случай требуется мужик. А у него — свое дело! Он чего требует? Одного: дайте ему спокой жизни. Боле — ничего… Микита-а? Черт бы те драл…

Пройдя с версту редким молодым сосняком, мы вылезли на поляну, на ней сидело и лежало полсотни мужиков, несколько баб принесли на коромыслах ведра квасу, хлеб. Увидав старосту, люди хором завыли:

— Долго мы тут дым глотать будем? Работа у нас…

Синеватые дымки ползали в траве, гладили заступы, топоры. Сверху дождем сыпался мелкий серый пепел, невидимый в опаловой мгле, от него посерели бороды мужиков, посерела трава и широко распростертые лапы сосен покрылись как бы пенькою. Это был верный признак, что пожар идет верхом.

— Убирайсь отсюдова! — командовал староста. — Иди в поле…

Мужики тяжело поднялись и, покрикивая друг на друга, на баб, пошли просекой в бесконечную серую дыру.

Вплоть до ночи бродил я с ними по лесу и полю, вокруг нас воинственно гарцевали на сытых лошадях двое урядников, бестолково перегоняя толпу с места на место. Один из них, черненький, бойкий, размахивая нагайкой, кричал:

— Дьяволы, небойсь, как бы ваше горело…

Вечером я лежал в поле на сухой, жаркой земле — смотрел,

как над лесом набухает, колеблется багровое зарево и Леший кадит густым дымом, принося кому-то обильную жертву. По вершинам деревьев лазили, перебегали красные зверьки, взмывали в дым яркие ширококрылые птицы, и всюду причудливо, волшебно играл огонь, огонь.

А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее, между черных стволов, безумно заметались, запрыгали красные мохнатые звери. Они припадали к земле до корней и, обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кости.

Бесконечно разнообразно строились фигуры огня между черных стволов, и была неутомима пляска этих фигур. Вот, неуклюже подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу вверх, а достигнув кроны, обнимает ветви ее мохнатым объятием багровых лап, качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр; вот зверь легко переметнулся на соседнее дерево, а там, где он был, на черных, голых ветвях зажглись во множестве голубые свечи, по сучьям бегут пурпуровые мыши, и при ярком движении их хорошо видно, как затейливо курятся синие дымки и как по коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни огненных муравьев.

Иногда огонь выползал из леса медленно, крадучись, точно кошка на охоте за птицей, и, вдруг подняв острую морду, озирался — что схватить? Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, широко раскидывая лапы, загребая траву в красную огромную пасть.

Выбегала из леса толпа маленьких человечков в желтых колпаках, а вдали, в дыму, за ними, шел кто-то высокий, как мачтовая сосна, дымный, темный, — шел, размахивая красной хоругвью, и свистел. Прыжками, как заяц, мчится куда-то из леса красный ком, весь в огненных иглах, как еж, а сзади его машет по воздуху дымный хвост. И по всем стволам на опушке леса ползают огненные черви, золотые муравьи, летают, ослепительно сверкая, красные жуки.

Воздух все более душен и жгуч, дым — гуще, горчей, земля все жарче, сохнут глаза, ресницы стали горячими, и шевелятся волосы бровей. Сил нет лежать в этой жгучей, едкой духоте, а уйти не хочется: когда еще увидишь столь великолепный праздник огня? Из леса, горбато извиваясь, выползает огромная змея, прячется в траве, качая острой башкой, и вдруг пропадает, как бы зарываясь в землю.

Я съеживаюсь, подбираю ноги, ожидая, что змея сейчас появится где-то близко, это она меня ищет. И жуткое сознание опасности опьяняет, мучает еще более остро, чем жара, дым.

…Облака на западе грубо окрашены синим и рыжим. В жемчужном небе, над мохнатой ватагой ельника, повис истаявший, почти прозрачный обломок луны. Ельник разбрелся по болоту, дошел до горизонта и сбился в темную кучу, — там ему грозит красным каменным пальцем труба фабрики.

В полдень пролил обильный дождь, а потом, вплоть до вечера, землю сушило знойное солнце; теперь земля сыра, воздух влажно душен. Болото вспухло скукой; скука тоже влажная, потная.

Фельдшер Саша Винокуров ходит медведем, на четырех лапах, по холму, засеянному рожью, ставит сеть на перепелов, а я лежу под кустом калины и думаю вслух:

— Хорошо бы начать жизнь сначала, лет с пятнадцати…

Продолжая беседу, Саша говорит жирным шепотом:

— Существующая обстановка жизни — никому не нравится.

Он скатился с холма под куст ко мне, вытер испачканные грязью ладони о голенища сапогов и осматривает «манки́» — перепелиные дудки. По лбу его, на лысину, вздымаются волнистые морщины, глаза округлились, точно у рыбы.

Он — интересный. Сын судейского чиновника, он, «не в силах поднять тяжесть гимназической науки и гонимый варварством отца», убежал из дома, года два путешествовал по тюрьмам и этапам, как безымянный бродяга, затем, «измученный до потери памяти даже о том, чего нельзя забыть», возвратился к отцу, «был сунут, как мертвая мышь в муравьиную кучу», вольноопределяющимся в пехотный полк и попал в школу военных фельдшеров. Отслужив положенный срок в солдатах, семь лет плавал на пароходах «Добровольного флота» и —

— Пил всемирные алкогольные напитки, не потому, что пьяница, а — надо же чем-нибудь заявить людям об оригинальности характера! Пил в таком количестве, что на меня приходили смотреть даже англичане. Стоят истуканами, пожимают плечами, улыбаются, им — лестно: вот это — потребитель! Есть для кого джин и виски делать. Один даже намекнул мне: «А вы, говорит, не пробовали ванну брать из виски?» А впрочем, англичане — хороший народ, только язык у них хуже китайского…

— Незаметно для себя очутился я в Персии, женатым на горничной английского купца; очень милая женщина, но — оказалась пьяница, а может быть, что я ее споил. Через два года

она скончалась от холеры, а я перебрался в самый безобразный город на свете, в Баку, потом — сюда, в этот лягушатник. Тоже — город, черт его раздери на тонкие полоски.

— Саша, — прошу я, — расскажите, как вы путешествовали в Китай?

— Путешествуют обыкновенно: садятся на пароход, остальное — дело капитаново, — говорит он, разбирая дудки. — А капитаны — все пьяницы, ругатели и драчуны, таков закон их природы. Дайте папироску!

Зажег папиросу, понюхал одной ноздрею струйку дыма.

— Табачок — легковейный, пур ля дам[1].

Винокурову за пятьдесят, но это человек крепкий. Его солдатское, деревянное лицо освещают ясные глаза; взгляд их спокоен — взгляд человека, который много видел, отвык удивляться и чужд тревог. Смотрит он как-то через людей, мимо их, относится к ним снисходительно, немножко по-барски. Он не занимается медициной:

— Догадался, что медицина — наука слепая.

У него в городе «Кефирное заведение и торговля болгарской сывороткой с доставкой на дом по способу И. Мечникова».

— Расскажите что-нибудь, — настаиваю я.

— Удивляюсь вашей ненасытности! И куда вы складываете всю эту труху слов людских? Что же рассказать?

— Что видели.

— Н-ну-у! Это — на год. Видел я все, что полагается, все препятствия. Почему — препятствия? А — как это назвать? Отвалит пароход от пристани, перекрестишься, ну, везите, куда назначено. И плывешь день, ночь, день, ночь; кругом — пустота моря и небес, а я человек спокойный, мне это нравится. Однако — гудок, значит: приехали куда-то. Остановка эта и кажется препятствием. Как будто: шел ночью и вдруг наткнулся на забор.

— Н-ну, тотчас на палубе зачинается истерическая суета этих бесподобных пассажиров. Пассажиры — совершенно особенный тип народа, самый бессмысленный тип. Человек в море, на палубе судна, приобретает смешную детскость, не говоря о том, что почти всех унизительно тошнит. И вообще — в море замечаешь, что человек еще больше пустяк, чем на суше, — в этом я и вижу поучительное достоинство морских путешествий. В заключение же прямо скажу: на поверхности земли и воды нет ничего хуже пассажиров.

— Для бездельника — везде скучно, а на морях скука особенно ядовита, пассажиры же, по натуре своей, все бездельники. От скуки они даже сами себя теряют до того, что, несмотря на высокий чин, ордена, богатство и прочие отличия,

обращаются с кочегаром, как с равным себе; я самолично наблюдал такой случай. Как собаки на овсянку, бросаются они к бортам наслаждаться окрестностями чужих берегов. Пожалуйста, наслаждайся, но — не суетись! Однако у них немедленно начинается топот ног и разногласие: «Ах, смотрите, ах, поглядите!» Между прочим — смотреть не на что: все вполне обыкновенно — земля, постройки, люди меньше мышей. И всегда, в этот час, разыгрывается какая-нибудь несчастная случайность: в Александрии проклятая горничная растяпала у меня драхмовую склянку ацидум карбоникум[2], конечно, запах по всему первому классу, помощник капитана обрушил на меня такие слова, что какая-то дама, в раздражении чувств, подала жалобу капитану, но, по ошибке, тоже на меня. Или, например: прищемило девочке палец амбулаторной дверью, а папаша ее тычет мне палкой в селезенку, потому что он дипломат. И все в этом роде: неожиданно и глупо.

— Кратко говоря — на этом земноводном шаре я не видел ничего необыкновенного; везде одинаково оскорбляют и словом и действием; особенно прилежно на азиатском полушарии, но и на других тоже. Два полушария, говорите? Я считаю это ошибкой умозрения: если, взглянув на дело строго практически, резать этот шар наш по линии любого градуса от полюсов, то мы обязательно получим столько полушариев, сколько имеем градусов, а можно и больше. Дайте папироску!

Закурив, прищурясь, он сказал:

— Курить не следовало бы, перепел дыма не любит.

И продолжал спокойно, вполголоса:

— Изредка бывают случайности интересные, но для спокойствия души лучше, чтоб их не было. Например: в Китайском море, — есть и такое, хотя от других морей ничем не отличается, — так вот: идем мы этим самозванным морем в Гонконг с большим опозданием, и ночью, в кромешной тьме, замечен был вахтой необыкновенный огонь. Я, младший помощник капитана, боцман и буфетчик играли в преферанс, вдруг слышим: «Пожар на море…»

— Конечно — пошли смотреть, даже не доиграв пульку. Когда люди находятся в долгом плавании, то всякие пустяки возбуждают их интерес, даже на дельфинов смотрят с удовольствием, хотя несъедобная рыба эта похожа на свинью, в чем и заключается весь комизм случая. Итак — наблюдаю: обыкновенная душная ночь, жарко, точно в бане, небеса покрыты черным войлоком и такие же мохнатые, как это море. Разумеется — кромешная тьма, далеко от нас цветисто пылает небольшой костерчик и так, знаете, воткнулся остриями огней и в небо и в

море, ощетинился, как, примерно, еж, но — большой, с барана. Трепещет и усиливается. Не очень интересно, к тому же мне в картах везло.

— У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокоторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников — исключая похороны — сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Также и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить. Мальчишки даже и летом любят жечь костры, за что следует мальчишек без пощады пороть во избежание губительных лесных пожаров. В общем, скажу, что пожар — зрелище, любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, и у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, это известно.

— Пассажиры выметнулись на палубу и, наслаждаясь зрелищем, ведут легкий спор: что горит? Как будто им неизвестна очевидность — в море могут гореть только суда различных наименований; среди таких обширных вод все другие человеческие постройки невозможны, как это понятно даже и глухонемому ребенку. Удивительно, что пассажиры не понимают простого: обилие лишних слов не может способствовать рассеянию скуки жизни.

— Ну-у, я скромно слушаю оживленный разговор заинтересованных зрелищем, и — вдруг женский возглас: «Но ведь там должны быть люди!»

— Я даже усмехнулся: какое легкомыслие! Само собою понятно, что ни одно судно не может выйти в море без людей, а она только сейчас догадалась об этом. И снова кричит: «Их нужно спасти!»

— Начался спор: одни соглашаются — нужно, другие, поделовитее, указывают, что мы и без этого идем с опозданием. Но дама оказалась женщиной навязчивой и бойкой, — после я узнал, что она ехала из Карса в Японию, к сестре, которая была замужем при посольстве, а также по причине туберкулеза легких, — так, говорю, оказалась она весьма назойливой, — требует спасения погибающих людей и подбивает пассажиров послать капитану депутацию просить его о помощи горящему судну. Ей основательно возражают, что, может быть, судно китайское и люди на нем — тоже китайцы, но это нисколько не успокоило ее, наоборот: истерическим визгом она довела каких-то троих до того, что они отправились просить капитана и, хотя он опирался на опоздание, доказали ему, что будто есть морской закон о подаче помощи в несчастиях, и даже пригрозили

составить протокол.

— К полному торжеству забияки, капитан изменил курс, и потёпали мы по мохнатому морю, по кочкам волн, в кромешную тьму, на огонь этот. Команда, серчая, трудится, готовясь спустить шлюпки; подъехали мы близко, видим: горит дрянненькое китайское суденышко о двух мачтах, около него ныряют две лодочки с людьми, орут люди, воют, а на горящем судне, на носу его, стоит высокий тонкий человек; стоит и стоит. Огонь полышет совершенно серьезно, корма уже вся в огне, мачты — как свечи, даже на кубрике хлещет пламя, а человечек этот точно часовой — недвижим. Видно его очень прозрачно.

— Наша команда приняла людей из лодки, — было их семь человек, из другой лодки трое, от преждевременного страха, бросились в воду, все утонули. Спасенные объявили, что на судне остался хозяин их и желает погибнуть вместе с имуществом. Матросы наши очень звали его: «Прыгай, черт, в воду!» Но — ведь не арканом же его тащить? Возиться с его упрямством было некогда, капитан пронзительно свистит. В самые те минуты, когда огонь охватил носовую часть судна, видел я очень прозрачно, как этот азиат запрыгал, вдруг весь вспыхнул огнем, схватился за голову руками и нырнул в огнище, словно в омут.

— Но суть случая, конечно, не в поведении китайца, народ этот совершенно равнодушен к себе по причине своей многочисленности и тесноты населения; они даже до того дошли, что в случаях особо заметного избытка людей жеребий бросают: кому умирать? И жеребьевые умирают вполне честно. Когда же у них в семье родится вторая девочка, так ее швыряют в реку; больше одной девицы на семью не выносят они.

— Но суть, говорю, не в них, а в поведении чахоточной этой дамы, кричит она капитану: почему он не приказал погасить огонь на судне? Он ей внушает: «Сударыня, я не пожарный!» А она кричит: «Но ведь погиб человек!» Ей объясняют, что это очень обыкновенный случай даже и на суше, а она — свое: «Знаете ли вы, что такое человек?» Конечно, — все насмешливо улыбаются. А она, как собачка комнатная, прыгает на всех и верещит: «Человек, человек…» Зрители, обижаясь, отходят от нее, тут она — к борту и плакать. Подошел к ней один сановник, так сказать — вельможа, — забыл я имя его! — и внушительно предложил успокоиться: «Сделано, — сказал, — все, что можно было сделать…» Но она с ним обошлась невежливо. Тогда я говорю ей совершенно почтительно: «Сударыня, позвольте предложить вам валерьяновых капель…» Она, не глядя на меня, шепчет: «О идиоты…» Признаюсь, что, несмотря на мою скромность, это обидело меня. Но все же как можно деликатнее говорю:

«Сударыня, скандал, вызванный благородством вашего сердца, возмущает и мое…» Но и деликатность мою отвергла она, — кричит стремительно прямо в нос мне: «Уйдите прочь…»

— Ну, тут я, разумеется, отошел, великодушно оставив пред нею рюмку с эфирно-валерьяновыми каплями. Встал в сторонку, слушаю, как она сморкается, хлюпает. Стою и чувствую: есть что-то очень обидное для меня в этих слезах о неизвестном китайце. Не может же быть, чтобы она всегда искренно плакала обо всех погибающих на ее глазах от разных причин. В Сингапуре сотни индейцев от голода издыхали, — никто из наших пассажиров слез не проливал. Положим, это — чужой народ, но, однако, на моих глазах десятки наших, русских, матросов, портовых рабочих и других людей рвало, ломало, давило при полном равнодушии пассажиров, если не считать страха и содрогания нервов от непривычки видеть обильную кровь.

— Думал я, думал по поводу этого случая с женщиной, неприятно много думал, но так ничего и не решил…

Винокуров подергал свои усы, прислушался, потом сердито сказал:

— Подозреваю в этом поступке бесполезность.

Ночь. В мутно-синем небе тусклые звезды. Обломок луны куда-то исчез. Низенькая тощая ель, недалеко от нас, потемнев, стала похожа на монаха.

Саша Винокуров предлагает идти в сторожку лесника и там подождать до рассвета, когда проснутся перепела. Идем. Тяжело шагая по мокрой траве, он внятно говорит:

— Когда очень горячо — не разберешь: солоно ли?

А. Н. Шмит

По Большой Покровке, парадной улице Нижнего Новгорода, темным комом, мышиным бегом катится Анна Николаевна Шмит, репортерша «Нижегородского листка». Извозчики говорят друг другу:

— Шмитиха бежит скандалы искать.

И ласково предлагают:

— Мамаша, — подвезти за гривенничек?

Она торгуется, почему-то всегда дает семь копеек. Везут ее и за семь, — извозчики и вообще все «простые» люди считают Анну Шмит «полуумной», блаженной, называют «мамашей», хотя она, кажется, «дева», они любят услужить ей даже — иногда — в ущерб своим интересам.

С утра, целый день, Анна Шмит бегает по различным городским учреждениям, собирая «хронику», надоедает

расспросами «деятелям» города, а они отмахиваются от нее, как от пчелы или осы. Это порою заставляет ее употреблять приемы, которые она именует «американскими»: однажды она уговорила сторожа запереть ее в шкаф и, сидя там, записала беседу земцев-консерваторов, — подвиг бескорыстный, ибо сведения, добытые ею, не могли быть напечатаны по условиям цензуры.

Глядя на нее, трудно было поверить, что этот кроткий, благовоспитанный человек способен на такие смешные подвиги соглядатайства.

Она — маленькая, мягкая, тихая, на ее лице, сильно измятом старостью, светло и ласково улыбаются сапфировые глазки, забавно вздрагивает остренький, птичий нос. Руки у нее темные, точно утиные лапы, в тонких пальцах всегда нервно шевелится небольшой карандаш, — шестой палец. Она — зябкая, зимою надевает три и четыре шерстяных юбки, кутается в две шали, это придает ее фигурке шарообразную форму кочана капусты.

Прибежав в редакцию, она, где-нибудь в уголке, спускает две, три юбки, показывая до колен ноги в толстых чулках крестьянской шерсти, сбрасывает шали и, пригладив волосы, садится за длинный стол, среди большой комнаты, усеянной рваной бумагой и старыми газетами, пропитанной жирным запахом типографской краски.

Долго и молча пишет четким мелким почерком и вдруг, точно ее невидимо толкнули, вздрогнув, быстрым движением вскидывает голову, оглядывается, как будто впервые и случайно нашла себя в этой комнате. Ее глаза строго синеют, мятое лицо резко изменяется, на нем выступают скулы, — видимо, она крепко сжала зубы. Так, оглядывая всех и всё потемневшим взглядом, она сидит недвижимо минуту, две. Казалось, что в эти минуты Анна Шмит преодолевает припадок острого презрения ко всему, что шумело и суетилось вокруг нее, а один из сотрудников, А. В. Яровицкий, шептал мне:

— Анюту захлестнула волна инобытия…

Многочисленные юбки Анны Шмит сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки простираны до дыр и неискусно заштопаны. Ее мать, больная старуха лет восьмидесяти, могла питаться только куриным бульоном, для нее необходимо было покупать ежедневно курицу, это стоило шестьдесят-восемьдесят копеек, то есть — тридцать-сорок строк, а печатала Шмит, в среднем, не более шестидесяти строк.

Говоря о матери, она становилась похожа на девочку-подростка, которая любит мать и считает ее высшим авторитетом во всех вопросах жизни. Было странно и трогательно слышать из уст старухи мягкое, детское слово — мама.

Мне говорили, что эта мама старчески эгоистична и раздражительна; если курица оказывалась жестка или надоедала ей, старуха топала ногами на дочь и бросала в нее ложками, вилками, хлебом. Ко мне Анна Шмит относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов — они почти всегда касались интимных сторон жизни. Обычно же она говорила мало и почти всегда о «делах» города, газеты. В бесцветных речах ее я не мог уловить ни одного оригинального, меткого слова, которое навсегда всосалось бы в память, а я был очень лаком до таких слов, — они, точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем причастят тебя духу человека.

Убогость внешнего облика Анны Шмит безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции относиться к ней так же, как относились извозчики, — считать ее «блаженной», недоумком.

Тем более сокрушительно изумлен был я, когда священник Ф., талантливый организатор публичных прений с бесчисленными сектантами нижегородского края, сказал мне, неприязненно наморщив свой нос:

— Хитрейшая старушонка эта ваша Шмит! Весьма искусный ловец человеков. Вредное существо.

Не веря искренности изумления моего, иронически ухмыляясь, он говорил в ответ на мои вопросы:

— Будто не осведомлены? Трудновато допустить сие при наличии хорошо известного мне любопытства вашего в отношении к людям…

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью, его аскетически костлявое, христоподобное лицо было обтянуто темной кожей, глаза лихорадочно сверкали, он часто облизывал губы бурым языком и нервозно ломал длинные пальцы, так что они трещали. В спорах с «еретиками» он был ехиден, ловко пользовался искусством эристики и умел раздражать противников так, что они оплошностями своими всегда облегчали ему словесные победы. Мне очень нравилось наблюдать его фокусы, но казалось, что этот человек с лицом великомученика не любит ни бога, ни веры, ни людей, жизнь опротивела ему, он ходит на прения, как ходил бы в трактир играть на биллиарде, — он напоминал мне актера, который читает роль правоверного еврея в пьесе «Уриэль Акоста». Похрустывая пальцами, он выспрашивал меня:

— И того якобы не знаете, что эта Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым, коего

справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической?

Я сказал:

— Это так же неожиданно для меня, как если бы вы, отец Александр, оказались вдруг не священником, а пожарным.

К вящему изумлению моему священник расхохотался и, сквозь смех, стал уличать меня:

— Вот вы и проговорились! Ох, плохой дипломат вы! Значит — с учеником ее, пожарным Симаковым, — знакомы?

После настоятельных и даже сердитых заявлений моих, что я не знаю пожарного, священник, не скрывая недоверия своего, лениво рассказал мне, что Анна Шмит организовала религиозный кружок, способный развиться в секту, в кружке этом — извозчики, мастеровые, какой-то тюремный надзиратель и пожарный.

— Народ наш любит словесность и привержен к сказкам. Пожарный этот беспоповцем был, а ныне Шмитихин пламенный адепт. Но, по природе своей дурак, он есть самый болтливый из прозелитов новой секты, и, ежели вы желаете ознакомиться, как ерундословие старухи этой укладывается в мозгах простецов, вы с ним познакомьтесь. Он бывает на прениях у меня, рычит нелепо…

Лука Симаков, рядовой гренадерского полка — большой, грузный человек с черными, щеткой, усами и синим, гладко обритым черепом. Щеки у него тоже синие, а толстая нижняя губа цвета сырой говядины. Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к виску, особенно далеко в те минуты, когда Лука волнуется и жесткой ладонью, размером с небольшую лопату, крепко трет череп свой, трет так, что слышен треск волос. А правый глаз его, большой, выпуклый, почти неподвижен, тускл и, окруженный очень длинными ресницами, напоминает какое-то насекомое.

В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня:

— По-твоему — как надо Христа понимать?

Луку не надо было выспрашивать, слова лились из его рта, как ручей из трещины в камне. Он говорил с тем буйным напором верующего, который исключает возможность возражений:

— Христос — это лёгость!

«Лёгостью» зовется тонкая веревка, с грузом на конце, ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней.

— Не то-о! — с досадой сказал Лука. — Лёгость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки — это подходящее, — причаливай через Христа к истинной вере. Только — ты пойми! — Христос не естество и не существо, он просто одно слово…

— Логос?

Симаков удивленно вскричал:

— Во-от!

И еще подвинулся ко мне, спрашивая:

— Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? Какова старушка-то? — уже шепотом продолжал он. — Ведь — так себе, вроде нищей. Мы — наряжаемся, хвастаем, а она, святость, неприметна. И в мухе сокрыта премудрость…

— А слово это ты никому не говори, — предупредил он меня. — Особенно, чтобы попы не услыхали, — попам оно яд. Ежели они услышат это слово — тебе будет плохо!

Потом он сообщил мне как великую тайну, что Христос — жив, живет в Москве, на Арбате.

— Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся, — нет, он на земле, около людей. Слово — не убьешь! Ну-ко, убей-ко — да? Вот я тебе говорю слово — да, а ты его убей! Понял?

Часа два слушал я темные речи пожарного; уходя, он покровительственно обещал:

— Ты погоди, я тебя сведу с самой мамашей! Она тебя обучит.

О моем знакомстве с пожарным Шмит узнала раньше, чем я успел сказать ей. Беспокойно постукивая карандашиком по ногтям, она спрашивала:

— Что говорил вам этот простец божий?

Узнав, что Лука рассказал мне о Христе, живущем в Москве, на Арбате, она еще более тревожно стала шаркать карандашом по ногтям, говоря:

— Он — не совсем разумен, он несколько раз сильно угорал на пожарах, это очень отразилось на нем.

Глаза ее потемнели, и что-то суровое светилось в них, она плотно сжала губы, и маленькое личико ее огорченно сморщилось.

— Если вы серьезно интересуетесь этими вопросами — можно поговорить, я свободна в Троицын день…

И тотчас же спросила, усмехаясь:

— Но — ведь вы из любопытства, от скуки, да?

Я сказал, что мне жить — не скучно и что желание знать, как думают люди, я бы не назвал простым любопытством.

— Конечно — нет, конечно! — тихонько воскликнула Шмит, и вдруг вполголоса, складно, языком привычного оратора, быстро крутя карандаш темными пальцами мумии, она заговорила о том, как люди далеки друг другу, как мало у них желания и умения

проникнуть в сокровенное души ближнего.

— В мутном потоке жизни мы плаваем немы как рыбы. «Мир мирови твоему даруй», — молимся мы, но ведь мир — гармония душ, их всеобщая связь, а — как связаться с немой, непостижимой?

Ее позвали в контору, и, уходя, она ласково попросила:

— А над Лукою вы не смейтесь, это безумец Христов, такими строится истинная вера.

В Троицын день, вечером, она пришла ко мне, одетая празднично: в коричневой юбке, с заплатой на подоле, — кусок юбки был, очевидно, вырван гвоздем или зубами собаки; синюю сарпинковую кофточку украшал на груди голубой бант, а на ногах блестели новые калоши, хотя погода стояла сухая и жаркая. Оказалось, что Шмит отдала ботинки чинить, но сапожник не успел сделать это, и вот она гуляет в калошах.

Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками, — я знал, что это любимые лакомства Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая забавная репортерша провинциальной газеты Анна Шмит — воплощение одной из жен-мироносиц, кажется — Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, Вечной Премудрости. На расстоянии от Марии Магдалины до Анны Шмит Вечная Премудрость воплощалась, разумеется, не однажды, одним из ее воплощений была Екатерина Сиенская, другим — Елизавета Тюрингенская, был и еще ряд воплощений, уже не помню имен их.

В начале речи Анны Шмит мне было несколько неловко слушать ее, — все, что говорила она, никак не объединялось с ежедневной курицей, резиновыми калошами и всем прочим во внешнем облике воплощения Вечной Премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами; смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах.

Но — предо мною сидел незнакомый мне человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе; голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширились и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно все будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой

истины. Об Анне Шмит напоминал только карандашик, неустанно и все быстрей вертевшийся в ее сухоньких, темных пальцах мумии. Она как будто немного охмелела, рисуя карандашом в воздухе капризный узор путей мысли, она подскакивала на стуле и, улыбаясь, с радостью говорила:

— Вы представьте себе безысходный ужас Дьявола…

На подбородке Анны Шмит блестела рубиновая капелька варенья.

Подняв правую руку над головою, она сказала:

— И Христос — жив есть!

Я узнал, что Христос — это Владимир Соловьев, он же — Логос; Христос непрерывно воплощается в того или иного человека и вечно — среди людей. Но воплощения Софии не подвергаются воздействию разрушительных влияний суетного мира сего с той легкостью, как воплощения Логоса, особенно враждебные Дьяволу.

— Чистая духовность Логоса не претерпевает искажения, но человек, воплощающий в себе Логос, нередко затемняет ее черной мудростью Сатаны.

Она вынула из кармана юбки кожаный пакетик, а из него осторожно достала несколько писем:

— Это письма Соловьева, — вот, послушайте, как трудно ему…

Многозначительно подчеркивая отдельные слова, она прочитала несколько отрывков; я ничего не понял в них, но в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого, сказанные им на поле какой-то битвы солдатам своим, которые побежали от врага:

«Подлецы! Разве вы хотите жить вечно?»

Слова эти напомнили мне четверостишие Соловьева:

В лесу — болото,
В болоте — мох;
Родился кто-то,
Потом — издох.

Вспомнил я и эпитафию его:

Под камнем сим лежит
Владимир Соловьев.
Сначала был пиит.
А после — философ.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

Я спросил Шмит: что думает она об этих шутках? Она откинулась на спинку стула, ее острый носик покраснел, а зрачки стали совершенно синими, и в голосе ее мне послышался гнев:

— Кто сказал вам, что это его, что это им написано? Нет, нет, это клевета! Это шутки его товарищей…

Но вскоре серенькая старушка, похожая на самку воробья, говорила о человеке шумной славы, о философе, искуснейшем диалектике и талантливом поэте, тоном матери, встревоженной поведением сына.

— Вы знаете — даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.

Эти слова она сказала, как бы утешая кого-то, и так вопросительно, почти умоляюще посмотрела на меня, что я счел нужным откликнуться ей:

— О да…

— Он слишком тяготеет к людям, потому что добр. Но человек только тогда силен против соблазнов, когда умеет во всех окружениях оставаться самим собою. Христос тяготел к людям после того, как укрепил дух свой в пустыне, а Соловьев идет к ним преждевременно…

Она именовала Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, величайшим сыном века и — ребенком, который, плутая в темной чаще греха, порою забывает невесту, сестру и матерь свою — Софию, Предвечную Мудрость.

— Понимаете? Невесту и мать…

Иногда мне казалось, что в словах Анны Шмит слышу я обиду влюбленной женщины, даже сентиментальность старой девы, но это мелькало в ее речах бледненькими искрами, тотчас же заменяясь покровительным отношением к Соловьеву как человеку, которым надо руководить на путях жизни.

Понизив голос, она рассказывала как тайну:

— Его соблазняют люди, но еще более настойчиво — черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел…

О чертях она говорила так же просто, как говорят о реальном: тараканах, комарах.

— И еще — слава; слава делает человека актером, — памятно сказала она. — Если на человека пристально смотрят, он начинает прятаться в различных выдумках, он хочет быть таким, как приятнее людям. Вы знаете это?

Я, к сожалению, это знал. И все с большим трудом верил

ушам и глазам своим, наблюдая, какие верные мысли горят в душе этого незаметного человечка. Она снова заговорила о пустыне, о великом значении самосозерцания и одиночества и говорила на эту тему так много, что, помню, у меня скользнула мысль: не слишком ли одинок этот человек и не потому ли он так откровенен со мною? Как маленькая птица, отбившись от стаи, она летит над морем к далекому, в ночи, огню, к маяку, на невидимый и неведомый берег. Этот маяк — Владимир Соловьев, и это все, чем освещена и осмыслена ее тихая, одинокая жизнь среди здравомыслящих людей.

— Разве Христос не испытал человеческого страха пред судьбою? — вдруг спросила она и тотчас, закрыв глаза, стала читать нараспев, как псалом, чьи-то стихи:

Душа во плоть с небес сошла,
Но ей земная жизнь мила,
Душа срастается с землею
И, как усталая пчела,
Пьет сладкий яд земного зла.

Стихи были длинные, Анна Шмит читала их тихо, для себя, и только две последние строки выговорила громко, с торжественной угрозой, открыв влажные глаза и высоко взмахнув карандашом:

И вечности колокола
Души умершей не разбудят.

Поздно за полночь я пошел провожать ее. По улицам шмыгал ветер, вздымая пыль, шелестя березками; березки были привязаны к тумбам, а некоторые уже валялись на земле. Бродили пьяные, где-то неистово закричала женщина, из подворотни выскочил черный котенок, Шмит брезгливо оттолкнула его ногою:

— Точно чертик.

К нам привязался пьяный почтальон, бестолково рассказывая о какой-то обиде, нанесенной ему, он стучал кулаком в грудь свою и спрашивал, всхлипывая:

— Разве я ему — враг?

— Идемте скорее, — сказала Шмит и, быстро шагая, тоже пожаловалась: — Разве это — праздник? Разве так надо праздновать?

После этого, встречая в редакции Анну Шмит, я стал ощущать

непобедимую неловкость; я не мог относиться к ней, как относился раньше, не мог говорить о пустяках лениво текущих буден. Она же, видимо, иначе истолковав мою сдержанность, стала говорить со мною сухо и неохотно. Ее сапфировые глаза смотрели мимо меня на карту России, засиженную мухами так, как будто на всю русскую землю выпал черный град.

Мне очень хотелось познакомиться с учениками Шмит, но она сказала:

— Едва ли это интересно для вас, простые люди, очень простые…

А Лука Симаков, потирая череп, тревожно двигая косым глазом, сообщил мне:

— Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой.

Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал:

— Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки. Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят в трое суток! Каюк попам! Истребление!

В нелепых словах Луки чуялось слепое озлобление сектанта и — страх пред чем-то, чего он не мог выразить; неизбывный темный страх этот сверкал в его левом глазу, все время забегавшем к виску. Из двух-трех бесед с ним я вынес впечатление почти жуткое: Христос чудился пожарному мстительным и мрачным существом, оно враждебно присматривается к жизни людей откуда-то из темного угла и ждет минуты, чтоб выпрыгнуть оттуда.

— Церквы разрушить хочет, — шептал мне пожарный. — Он с того начал, — помнишь, в Ерусалиме? Во-от…

Все-таки он познакомил меня с одной ученицей Анны Шмит, портнихой-одиночкой Палашей, девицей лет тридцати. Коротконогая, сутулая, без шеи, с плоским лицом и остренькими стеклянными глазками, она была фальшиво мягка на словах и, видимо, очень недоверчива к людям. Жила она в глухом переулке над оврагом, в ее двух комнатах неустанно гудели черные большие мухи, звонко стукаясь в тусклые стекла окон. На подоконнике недвижимо сидел жирный кот, очень редкий — трех шерстей: рыжей, белой и черной; меня очень удивило отношение кота к мухам: они садились на голову его, ползали по спине, — кот неподвижно смотрел в окно и ни разу не встряхнул шерстью, чтоб согнать мух.

Нараспев, словами, неестественно и как бы нарочно искаженными, Палаша говорила, ловко пришивая пуговицы к

пестрой батистовой кофточке:

— Жисть нашая, миленький мой господин, совсем безбожная и настолько грешная, что даже — ужасть! А Христос невидимо коло ходит, печалуется, сокрушается: ох вы, людие бессчастное! И на что разделил я душеньку свою промеж вас? На поругание, на глумление…

Потом она читала стихи из апокрифа «Сон богородицы», а кончив неприятно унылое чтение, объявила мне:

— Истинное имечко богоматери — не Мария, а Енохия, родом же она от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.

Когда я спросил ее, знает ли она Анну Николаевну Шмит, Палаша, наклонив голову, перекусывая нитку, ответила вопросом:

— Шмит? Не русская, значит.

— Но ведь вы знаете ее!

— А — кому это известно? — спросила Палаша, почесывая мизинцем свой широкий нос и озабоченно разглядывая кофточку. — Ежели это вам Симаков сказал — вы ему веры ни в чем не давайте, он человек испорченный, вроде безумного.

А Симаков говорил мне о Палаше:

— Это, брат, девица мудрая, она вроде крыла мамаше служит, она да еще один человек высоко возносят ее над людьми…

Я не сумел понять, как и что восприняла портниха от Анны Шмит; чем настойчивее расспрашивал я об этом, тем более многословно и фальшиво Палаша говорила о Симакове, о кознях Дьявола.

— Бросает нас злой дух, как мальчишка камни с горы, катимся мы, вертимся, бьем друг друга, и не видать нам спасенья…

Приглаживая ладонями рыжеватые волосы, и без того гладко, туго наклеенные на череп, Палаша смотрела стеклянными глазками на меня, и взгляд ее говорил: «Ничего ты у меня не выпытаешь!»

Заходил я к ней еще раза два, она принимала меня ласково, охотно и даже сладострастно рассказывала мне жития великомучениц, я слушал и смотрел на кота.

— И секли ее злодеи римляне по белому телу, по атласным грудям каленым прутьем железным, и лилась, кипела ее кровушка, — выпевала Палаша.

Мухи гудели. Кот равнодушен, неподвижен, в комнате пахнет кислой помадой…

Вскоре, заболев, я уехал в Крым и с той поры не встречал больше Анну Шмит, нижегородское воплощение Софии Премудрости.

Чужие люди

В журнале «Врач» напечатана корреспонденция из Владивостока:

> Здесь среди босяков умер врач А. П. Рюминский. Когда несчастный заболел, его отвезли было в городскую больницу, но там его не приняли за неуплату денег за прежнее время, и А.П. пришлось умирать в участке. Босяки устроили покойному теплые проводы, причем один из них сказал следующую прощальную речь: «Ты жил между нами, покинутый и забытый своими… То горе жизни и те пороки, которые мы носили и делили вместе, были нашим общим несчастием. И вот мы здесь… собрались проводить тебя в желанную для всех нас могилу…»

Я дважды встречал этого человека: в 91-м году около Майкопа, на Лабе, а потом, лет через десять, в Ялте. На шоссе, над Лабою, компания ростовских босяков «била щебенку». Я набрел на них вечером, когда они, кончив работу, готовились пить чай. Толстый бродяга с длинной седою бородой озабоченно прилаживал чайник над маленьким костром; в стороне, под кустами, лежало трое его товарищей и сидел на куче булыжника кто-то в чесунчовом костюме, в широкой соломенной шляпе и белых туфлях. Он держал в пальцах папиросу, отсекал взмахами тоненькой трости серый дымок табака и, не глядя на людей, спрашивал их:

— Так — как же, а?

На синеватой воде быстрой Лабы колыхались кумачовые отблески зари; рыжая бритая степь дышала жаром, за рекою сверкали, точно груды парчи, огромные ометы соломы, в туманной дали поднимались к небу лиловые горы, и где-то далеко торопливо тарахтела молотилка.

Человек с опухшим лицом больного водянкой грубовато сказал:

— Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер…

— Вот как?

— Да. Так-то вот…

— Вот как? — повторил барин, помахивая тростью, отсекая дым. И, взглянув на меня странными глазами, спросил: — А вы кто, молодой человек?..

— Молодой человек, — ответил я; босяки одобрительно

взглянули на меня.

Выпуклые глаза «барина» очень ярки и, улыбаясь насмешливой улыбкой, точно присасывались к лицу моему. Этот сухой, хватающий взгляд вызвал у меня неприятное ощущение щекотки и навсегда остался в памяти моей. Тонкое, холеное, чисто выбритое лицо человека было надменно. Когда один из босяков, лениво переваливаясь с бока на бок, коснулся его ног, человек быстро отдернул маленькие ноги свои и предостерегающе поднял трость белой изящной рукою. На пальце его — золотой перстень с крупным опалом, «камнем несчастия», в радужной игре опала было что-то общее с блеском глаз надменного человека. Ленивеньким, но раздражающим, задорным баритоном он все выспрашивал людей: кто они? Отвечали ему неохотно, грубо, но это не смущало его, он переводил крепко обнимающий взгляд с одного лица на другое и назойливо говорил:

— А что же будет, если все начнут жить так же безответственно, как вы?

— Мне какое дело? — сердито пробормотал фельдшер, а бородатый, у костра, спросил хрипящим голосом:

— Вы — кому отвечаете?

И победоносно добавил:

— То-то!

С чудесной быстротою, незаметно, степь покрылась южной ночью, на потемневшем небе вспыхнул густой посев звезд, на реке заколыхался черный бархат, засверкали золотые искры. В торжественной траурной тишине стал почему-то сильнее слышен горький запах дыма.

Люди, достав из котомок хлеб и вкусное сало, начали есть, а барин, щелкая тростью по своим туфлям, все спрашивал:

— Но что же будет, если порвать все связи с жизнью?

Седой угрюмо ответил:

— Ничего и не будет.

Где-то за рекою уныло скрипела арба, посвистывали суслики. Костер угасал, красненькие искры прыгали в воздух, бесшумно откатывались в сторону круглые угли сгоревших веток.

— Аркадий Петрович! — донесся издали звонкий женский голос. Человек с перстнем ловко встал на ноги, сбил пыль с брюк ударами трости и, сказав: «До свидания!» — пошел берегом реки в темноту. Его проводили молча.

— Кто это? — спросил я.

— А черт его знает…

— Тут, у казаков живет, на даче, что ли…

— Назвался — доктором.

Отвечали намеренно громко, явно желая, чтоб человек слышал, как говорят о нем. Тоненький рыжий босяк с язвами на лице вытянулся на земле вверх лицом и сказал:

— До звезды — не доплюнешь.

А фельдшер сердито проворчал:

— В Турцию надо пробираться, братья. Хороший народ турки. Надоело мне здесь…

…Однажды, не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошел к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабе, босяков и доктора в чесунче.

— Вот, знакомьтесь, — сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою, — интересная миазма!

Гость приподнял голову и снова опустил ее, упершись подбородком в край стола; так — голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нем синяя рубаха, оторванный ворот ее не застегнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым ленивеньким баритоном:

— Есть такой грибок, по-латыни его зовут мерулиус лакриманс — плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и — весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком; кадык и щеки его были покрыты темной густой шерстью.

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал головою и сопел, втиснув круглое, тучное тело свое в плетеное кресло.

— Все врет, миазма, — сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

— Так вот: русская литература — нечто очень похожее на

этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснется с нею.

— А? — спросил Мамин, толкнув меня локтем. — Каково?

— Литература — такое же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок, — невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и бесцеремонно — кажется, искусственно — зевнул.

— Это я пойду гулять, — сказал он, усмехаясь, и ушел, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злоречием и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

— Присосался, как пиявка. Отогнать — духа не хватает, все-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюмин-ский, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестия, злая! Пьет, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним целый вечер пил, он рассказал мне, что пришел сюда повидаться с женой, а жена у него будто бы известная актриса…

Мамин назвал имя, громкое в те годы.

— Действительно, она здесь, но, наверное, эта миазма врет!

И, свирепо вращая глазами, он стал издеваться надо мною:

— Это — ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники — лгуны. Пессимизм — ложь потому, что пессимизм — философия неудачников…

…Дня через два, поздно ночью, гуляя на холме Дарсан, я снова встретил доктора: он сидел на земле, широко раскинув ноги, пред ним стояла бутылка вина и на листе бумаги лежала закуска — хлеб, колбаса, огурцы.

Я снял шляпу. Вздернув голову, он присмотрелся ко мне и приветствовал жестом, воскликнув бойко:

— Ага, узнал! Хотите составить компанию? Садитесь.

И когда я сел, он, подавая бутылку, измерил меня цепким взглядом.

— Из горлышка, стакана нет. Странная штука: как будто я уже встречал вас в детстве моем?

— В детстве — нет.

— Ну да, я лет на двадцать старше вас. Но — детством я называю время лет до тридцати; все то время, которое я прожил в условиях так называемой культурной жизни.

Барский баритон его звучал весело, слова соскакивали с

языка легко. Крепкая холщовая рубаха солдата, турецкие шаровары и сапоги на ногах показывали, что человек этот хорошо заработал.

Я напомнил ему, где видел его впервые; он внимательно выслушал меня, ковыряя в зубах былинкой, потом знакомо воскликнул:

— Вот как? Чем же вы занимаетесь? Литератор? Ба! Вот как! Ваше имя? Не знаю, не слыхал. Впрочем, я вообще ничего не знаю о современной литературе и не хочу знать. Мое мнение о ней вы слышали у этого, у Сибиряка — он, кстати, удивительно похож на краба! Литература — особенно русская — гниль, ядовитое дело для людей вообще, маниакальное для вас, писателей, списателей, сочинителей.

В этом тоне, но очень добродушно и с явным удовольствием, он говорил долго, я же слушал его терпеливо, не перебивая.

— Не возражаете? — спросил он.

— Нет.

— Согласны?

— Нет, разумеется.

— Ага! Возражать мне — ниже вашего достоинства, так?

— Тоже нет. Но — ниже достоинства литературы.

— Вот как? Это — хорошо…

Запрокинув голову, закрыв глаза, он присосался к горлышку бутылки, выпил и, крякнув, повторил:

— Это — хорошо. Слышу голос человека церкви. Вот так, когда для кузнеца церковь — кузница, для матроса — его судно, для химика — лаборатория, только так и можно жить, никому не мешая своей злобой, капризами, привычками. Жить хорошо — значит жить полуслепым, ничего не видя и не желая, кроме того, что нравится. Это — почти счастье, уютный уголок, куда человек воткнулся носом, эдакий маленький полутемный чуланчик. Шатобриан — читали «Записки из могилы»? — говорит: «Счастье — пустынный остров, населенный созданиями моего воображения».

Он говорил как человек, только что освобожденный из камеры одиночного заключения, точно желая убедиться: не забыты ли им слова?

В городе, где-то близко, звучал рояль, по набережной щелкали подковы лошадей, черная пустота висела над городом, вдали ползал золотой жук — огонь судна, напоминая о широте моря. Человек смотрел вдаль, и глаза его напомнили мне опал перстня, хвастливо блестевший вечером, на берегу Лабы.

— Счастье — это когда человек хорошо выдумал себя и любит выдумку о себе, — негромко говорил он, и вспыхивала

папироса, освещая тонкий прямой нос, щетку усов и темный подбородок.

— Любить себя доступно и свинье, собаке, каждому животному, это — инстинкт. Человек должен любить только то, что он сам создал для себя.

Я спросил:

— А что любите вы?

— Мое завтра, — быстро ответил он, — только мое завтра! Я имею счастье не знать, каково оно будет. Вы — знаете это: проснувшись, вы будете писать или делать что-то другое, обязательное для вас, потом увидите толстого рака Мамина или еще каких-то знакомых; вы, наверное, носите ваш костюм уже не первый месяц. А я не знаю, что стану завтра есть, что буду делать, с какими людьми позволю себе говорить. Вы конечно, думаете, что пред вами алкоголик, беспутный отверженный человек? Вы ошибаетесь, если так. Я терпеть не могу водку, пью только вино, редко — пиво, и я не отверженный, а — отвергнувший.

Воодушевление этой речи не позволяло сомневаться в искренности человека. Я попросил: не расскажет ли он, что побудило его отвергнуть обычные условия жизни интеллигентного человека? Хлопнув меня ладонью по колену, он шутливо воскликнул:

— Хотите запастись материальцем?

Затем охотно и немножко хвастливо, любуясь своей речью, как адвокат, он начал рассказ о себе — рассказ, в котором, вероятно, было не меньше правды, чем во всякой другой автобиографии.

— Сознательную жизнь мою я начал ошибкой: увлечением естественными науками, биологией, физиологией — науками о человеке. Естественно, что это увлечение толкнуло меня на медицинский факультет. С первого же курса, препарируя трупы, я задумался о ничтожестве человека, почувствовал чью-то злую иронию надо мною, и у меня стала развиваться брезгливость к людям и отвращение к себе, человеку, который обязан быть трупом. Мне следовало бросить это грязное дело, но — я упрям и захотел победить себя. Вы пытались побеждать себя? Это так же невозможно, как, отрезав свою голову, заменить ее головою ближнего, это невозможно не только потому, что ближний едва ли согласится на такой обмен.

Ему понравилась шутка, он сочно засмеялся, потом, закрыв глаза, глубоко вдохнул соленый свежий ветер.

— Хорошо пахнет море… Итак, я задумался: что такое и где — душа, разум и так далее? Скоро мне стало ясно, что разум, навеки полуслепая собака Сатаны, зависит от функций

организма, а мир особенно отвратителен, когда у меня ноют зубы, болит голова или печень. Мышление — функционально, только воображение независимо. Это недурно понимал один английский епископ, но — не думайте, что я идеалист или какой-либо другой «ист». Неистово враждую со всякой философией, хотя — хотя, конечно, понимаю, что философия — неизлечимая болезнь мозга. Кратко говоря, я — человек, который отказался принимать пустяки серьезно, обманывая себя и других. То, что именуется культурой, вся внешняя и внутренняя мишура, увлекающая людей все глубже и далее в хаотическую бесполезность, — впрочем, вы, наверное, поклонник культуры? Я не хотел бы огорчить вас…

— Огорчайте, — и разрешил ему и попросил я. — Мне так хочется понять: что за человек вы?

— Вот как? Ну что ж…

Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с веселой яростью, подобной ярости гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник. Свежесть ночи, сжимая, умаляла доктора; засунув руки в рукава рубахи, он скорчился и, тоненький, гибкий, стал похож на подростка. Внизу, далеко, во тьме, повис растрепанный пучок огней, он плыл на север, откуда тьма дышала сыростью. В окнах домов города, вздрагивая, исчезали желтые пятна, и казалось, что дома, один за другим, быстро низвергаются в черноту моря.

— Я был красив, ловок, умел говорить забавно, и меня очень любили женщины. На одной из них, актрисе, я женился, когда мне было тридцать лет; женился из упрямства, она любила меня меньше других. В то время я уже чувствовал, что все это: театрики, концертики, разговорчики о литературе, ахи и охи по вопросам политики — не для меня. После того как увидишь человек двадцать, тридцать, а то и сотню людей, которых неизвестно зачем грызут и убивают мучительнейшие болезни, — Чайковский, Островский, Достоевский и прочие подобные напоминали мне равнодушнейшую и противную старуху Букину, сиделку больницы; она имела гнусную привычку утешать больных и умирающих, сладко рассказывая им про ужасы ада. Я чувствовал себя в культуре чем-то вроде приказчика в магазине модных вещей: лично мне эти вещи не нужны, а приходилось возиться с ними, даже пользоваться ими и хвалить: из вежливости. Жизнь суть драка; вежливость же — тот фиговый лист, которым можно прикрыть скотское и звериное в человеке.

У меня хорошая талия, я не любил подтяжек, брюки и без них сидели хорошо, а жена требовала, чтоб я носил подтяжки, — все

носят! И — представьте! — на этой почве — подтяжки, гал-стухи, книги — мы с женою драматически ссорились. Я думаю, что она часто устраивала мне сцены из профессиональных побуждений, для практики. Она часто говорила мне: «О, Аркадий, нигилизм не в моде!» Она — неглупая женщина, и даже говорили, писали — талантлива.

Доктор засмеялся — не очень весело, как показалось мне. Потом, извиваясь на земле, сказал:

— Кажется, будет дождь, черт его возьми!

Вынул из кармана брюк войлочную крымскую шляпу и туго натянул ее на свой лысый череп.

— Рассказывать — долго. И — скучно. Мораль — проста: если я осужден на смерть, я имею право жить, как хочу. Человеческие законы совершенно не нужны мне, если стихийный закон всеобщего уничтожения обязателен и для меня. Вы меня встретили там, на Кубани, как раз в те дни, когда я догадывался об этом. Но, разумеется, идея пришла постфактум, как говорили римляне, лучшие люди мира, ибо всякий сентиментализм, гуманизм и прочее такое было органически, решительно враждебно им. Идеи всегда являются после фактов, их вызывает наша дурная привычка оправдываться, объясняться. Зачем оправдываться? Не знаю. Да. В сущности, я отошел, потому что захотел, а объяснение явилось потом. Уродливо много в жизни нашей обязанностей, ответственностей и прочих комедий. Не хочу комедии, сказал я сам себе и — раскланялся с культурой. С того дня прошло — лет десять. Я прожил их очень интересно, вполне независимо и надеюсь так же прожить еще лет десяток. Ну-с, спасибо за компанию и — до свидания в лучшем мире!

— Это — в каком?

— О, разумеется — здесь, на земле, но в том, где я живу. Надеюсь, что вы сопьетесь и это возвратит вас на правильный путь — прочь от пустяков, прочь!

Он быстро пошел вниз, в сторону Мордвиновского парка, и вслед ему стеклянными бусами посыпался дождь, зашуршала трава… Дня два искал я его в кофейнях базара, в ночлежках, в порту, но не нашел. Хотелось еще раз послушать его речи.

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой. Не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображен в нем несчастненьким пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюминский захотел показаться мне.

Людей такого типа — людей, по их словам, сознательно ушедших от «нормальной» жизни, — должно быть, немало на

Руси. Вот еще заметка «Нового времени» о человеке, видимо, подобном доктору Рюминскому.

> ОРИГИНАЛЬНЫЙ БРОДЯГА
>
> Во время одной из облав, устроенных чинами полиции, задержан, — по словам «Варшавского курьера», — оригинальный бродяга, некто Г., человек уже пожилой, лет 50. Все документы его оказались в порядке, и он не мог только указать своего места жительства. По наведенным справкам, Г. оказался состоятельным человеком, любящим сильные ощущения. Интересуясь жизнью бродяг и бездомных, он, после смерти жены, поместил дочь в один из пансионов, а сам начал бродячую жизнь профессиональных бродяг, ночуя в печах кирпичных заводов и т. п. Только зимой, во время сильных морозов, Г. возвращается в Варшаву и переживает морозы в одной из гостиниц. Захваченный вместе с толпой бродяг, Г. обещал переменить образ жизни, «хотя, — добавил он, — ручаться за это не могу».

В 90-х годах я собирал заметки на эту тему и собрал их десятка три, но в 905-м году пакет, в котором они хранились, отобранный у меня при обыске, был потерян в Петроградском жандармском управлении. Лично я встретил таких людей тоже немало. Особенно памятен для меня Башка, человек, которого я видел на постройке железной дороги Беслан — Петровск.

В тесной горной щели, среди суетливой толпы рабочих, он сразу привлек мое внимание: он сидел на солнечной стороне ущелья, в груде взорванных динамитом камней, а у ног его сверлили, дробили и возили камень пестрые, шумные люди. Полагая, что этот человек «начальство», я пробрался к нему и спросил: нет ли работы? Тоненьким, сверлящим ухо голосом он ответил:

— Я не идиот, я не работаю.

Уже не впервые слышал я слова такого тона, они не удивили меня.

— Что же вы делаете здесь?

— Видишь — сижу, курю, — сказал он, оскалив зубы.

В широкой разлетайке, в котелке с оторванными полями, он напоминал летучую мышь. Его маленькие острые уши торчали настороженно. У него большой лягушачий рот; когда он улыбнулся, нижняя губа дрябло опустилась, открыв плотную линию мелких зубов. Это сделало улыбку холодной и злой. Глаза его — необыкновенны: в узком золотистом кольце белков мерцают темные круглые зрачки ночной птицы. Лицо — голое,

точно у пастора, ноздри длинного тонкого носа уродливо сплющены. В длинных пальцах музыканта он держал толстую папиросу, быстрым жестом совал ее в рот, глубоко втягивал дым и кашлял.

— Вам вредно курить.

Он ответил очень быстро:

— А тебе — говорить, сразу видно, что глуп…

— Спасибо.

— Носи на здоровье.

И, помолчав минуту, искоса посмотрев на меня, он посоветовал несколько мягче:

— Уходи, здесь работы нет!

В небесах над ущельем озабоченно хлопотал ветер, сгоняя облака, точно стадо овец. На солнечной стороне ущелья качались рыжие осенние кусты, сбрасывая мертвый лист. Где-то близко рвали камень, гулкий гром перекатывался по горам; визжали колеса тачек, мерно стучал молот, загоняя в горную породу стальные «иглы», высверливая глубокие дыры для зарядов.

— Жрать хочешь? — спросил горбун. — Сейчас засвистят к обеду. Сколько вас шляется по земле, — заворчал он, сплюнув.

Пронзительный свисток разрезал воздух — точно металлическая струна хлестнула по ущелью, заглушив все звуки.

— Иди, — сказал горбун.

Быстро разбрасывая по камням свои руки, ноги, ловко цепляясь ими, он, точно обезьяна, бесшумно и уродливо скатился вниз. Обедали, сидя на камнях и тачках вокруг котлов, ели кашицу из проса с бараньим салом, горячую и очень соленую. За нашим котлом шесть человек, не считая меня. Горбун вел себя как власть имущий; отведав кашицу, он сморщил голое свое лицо и, грозя ложкой старику в дамской соломенной шляпе, закричал сердито:

— Опять пересолил, подлец!

Пятеро людей зарычали, большой черный мужик предложил:

— Вздуть его надо…

— Кашу варить можешь? — спросил меня горбун. — Не врешь? Смотри же! Вот этого попробуем, — распорядился он, и все согласились с ним.

После обеда горбун ушел в барак, а старик кашевар, добродушный и красноносый, показывая мне, где лежит сало, просо, хлеб и соль, вполголоса говорил:

— Ты не гляди, что он горбат, он — барин, помещик, предводителем дворянства был, да-а! Голова! Он у нас вроде бы старосты, да-а! Все счета-расчеты ведет, ух строгой! Он — редкой, да-а…

Через час в ущелье снова загрохотала работа, забегали люди, а я стал мыть в ручье котлы и ложки, зажег костер, повесил над ним чайники с водой, потом принялся чистить картофель.

— Был поваром? — раздался тонкий голос горбуна; он подошел неслышно, встал сзади и внимательно смотрел, как я действую ножом. Когда он стоял, его сходство с летучей мышью увеличивалось.

— В полиции не служил? — спросил он и тотчас же сам себе ответил: — Впрочем — молод.

Взмахнув крыльями разлетайки, точно нетопырь, он прыгнул на камень, на другой, быстро взобрался на гору и сел там, густо дымя папиросой.

Моя стряпня понравилась, рабочие похвалили меня и разбрелись по ущелью, трое начали играть в карты, человек пять стали мыться в горном холодном ручье; где-то, среди камней и кустов, запели казацкую песню. В этой группе было двадцать три человека, считая меня и горбуна, все они обращались к нему на «ты», но уважительно и даже как будто со страхом.

Он молча сел на камень у костра, разгребая угли длинной палкой, около него, не спеша, собралось человек десять; черный мужик, точно огромная собака, растянулся у его ног, тощенький бесцветный парень просительно сказал:

— Да — не возитесь! Тише…

Горбун заговорил, ни на кого не глядя, внушительно и звонко:

— Значит: есть судьбы, подсудьбинки и доли…

Я удивленно взглянул на него; заметив это, он строго спросил:

— Ну?

Все уставились на меня, чего-то ожидая; смотрели — неприязненно. Помолчав, плотнее окутав плечи, горбун продолжал:

— Доли — это вроде ангелов-хранителей, только их приставляет к человеку Сатана.

— А — душа? — тихонько спросил кто-то.

— А душа — птица, которую ловит Сатана, — вот!

Говорил он чепуху, но — страшную. Он, видимо, знал статью Потебни «О доле и сродных с нею существах», но серьезное содержание научной статьи у него смешалось со сказками и мрачными вымыслами. К тому же он скоро утратил простоту речи и заговорил литературно, почти изысканным языком.

— С начала дней своих человечество окружено таинственными силами, понять их оно не может, бороться с ними — не умеет. Древние греки…

Его острый, напряженно звенящий голосок, непонятные сочетания слов и, должно быть, жутковатый внешний облик его — все это действовало на людей подавляюще: они слушают молча и смотрят в лицо учителя, как верующие на икону. Птичьи глаза горбуна мерцают напряженно, дряблая губа его шевелится и как будто пухнет, становясь всё толще, тяжеле. И мне кажется, что в его мрачных выдумках есть нечто, чему он сам верит и чего боится. Лицо его умывают красноватые отблески костра, а оно становится все более темным и угрюмым.

Над ущельем недвижимо повисли серые облака; в сумраке огонь костра густеет, становясь все красней, камни растут, суживая глубокую щель горы. За спиною у меня ползет, плещет ручей и что-то шуршит, точно еж идет в сухой траве.

Когда стало совсем темно, рабочие, озираясь, пошли в барак, кто-то сокрушенно, вполголоса сказал:

— Вот она, наука-то…

Ему — еще тише — ответили:

— До чертей дошла…

Горбун остался у костра, ковыряя палкой угли. Когда конец палки загорался, он, подняв ее, держал в воздухе, как факел, и смотрел совиными глазами на желтые перья огня. Перья, отрываясь, улетали в воздух, тогда он быстро крутил палкой, и в воздухе, над головой его, являлся красный нимб. Голова его, в котелке без полей, напоминала чугунную гирю, воткнутую дужкой в широкие плечи горбуна.

Два дня наблюдал я, стараясь понять: что это за человек? Он тоже присматривался ко мне подозрительно и зорко, но не разговаривал со мною и на вопросы мои отвечал грубо. После ужина, у костра, он рассказывал людям устрашающее:

— Тело человека построено как пемза, или губка, или хлеб, оно ноздревато, понимаете? И по всем ноздрям его течет кровь. Кровь — жидкость, в которой плавают миллионы невидимых глазу пылинок, но пылинки эти живые, как мошки, только — мельче мошек.

И, повысив голос почти до визга, он сказал:

— Вот в эти пылинки и вселяются черти!

Я хорошо видел, что его рассказы пугают людей. Мне хотелось спорить с ним, но, когда я ставил ему вопросы, он не отвечал мне, а слушатели, толкая меня ногами и локтями, ворчали:

— Молчи!

Если осколок камня рассекал человеку кожу на лице или на ноге, горбун таинственным шепотом заговаривал кровь. У одного парня вздулся огромный флюс, горбун слазил на гору, собрал там

каких-то корней, трав, сварил их в чайнике, сделал из бурой горячей кашицы припарку и, трижды перекрестив парня, сказал что-то смешное о камне Алатыре и о том, как Аллилуйя сидела на нем.

— Ну, ступай!

Я не заметил, чтоб он усмехнулся, хотя он имел достаточно оснований смеяться над людьми. Его лицо всегда было недоверчиво надуто, уши насторожены. С утра он влезал на солнечную сторону ущелья и черной птицей сидел там в камнях, покуривая, наблюдая за возней людей внизу. Люди иногда звали его:

— Башка!

Он быстро скатывался оттуда, и меня всегда удивляла ловкость, с которой он цеплялся руками и ногами за камни, изуродованные динамитом. Он примирял ссоры, беседовал с десятником, и его тонкий голосок не тонул в грохоте работы.

Десятник, толстый человек с деревянным лицом солдата, слушал его почтительно.

— Кто этот человек? — спросил я десятника, когда он раскуривал трубку у костра.

Оглянувшись, он ответил осторожно:

— Пес его знает. Колдун, что ли. Оборотень какой-то…

Все-таки мне удалось побеседовать с горбуном. Когда он,

прочитав очередную лекцию о чертях и микробах, о болезнях и преступлениях, остался у костра, я спросил его:

— Зачем вы говорите им все это?

Он взглянул на меня, сморщив переносье, отчего нос стал еще острей, и горящей палкой хотел ткнуть в ногу мне. Отодвинув ногу, я показал ему кулак. Тогда он уверенно пообещал мне:

— Завтра тебя вздуют.

— За что?

— Вздуют.

Странные глаза его сердито блеснули, дряблая губа отвалилась, обнажив зубы, он сказал:

— У-у, р-рожа!

— Нет, серьезно! Ведь не верите же вы в эту чепуху?

Он долго молчал, ковыряя палкой угли, размахивая ею над головою своей, и снова над нею мелькал, кружился красный нимб.

— В чертей? — неожиданно спросил он. — Почему же не верить в чертей?

Голосок горбуна звучал ласково, но фальшиво, и смотрел он на меня нехорошо.

«Велит избить», — подумал я.

А он, все так же ласково, стал спрашивать: кто я, где учился, куда иду? И, видимо, незаметно для себя, изменил тон, в словах его я почувствовал барское снисхождение, смешную небрежность «высшего» к «низшему». А когда я снова спросил его о вере в чертей, он, усмехаясь, заговорил:

— Ведь ты веришь во что-нибудь? В бога? В чудеса?

И — подмигнув:

— Может быть — в прогресс, а?

Огонь румянил его желтое лицо, и над верхней губой сверкали серебряные иголочки редких, коротко подстриженных усов.

— Семинарист? Сеешь в народе «разумное, доброе, вечное»? Так?

Качнул головою, добавив:

— Дурачина! Я сразу понял, какая ты птица, я знаю эти ваши штуки…

Но, говоря, он подозрительно озирался, и что-то беспокойное явилось в нем.

На золоте углей извивались лиловые языки, цвели голубые цветы. В темноте над костром возник светлый колокол, мы сидели под его куполом, отовсюду на него давила сыроватая тьма, он дрожал. Тяжелая тишина осенней ночи наполняла воздух, разорванные камни казались сгустками тьмы.

— Подложи дров.

Я бросил на угли охапку сучьев, колокол наполнился густым дымом, стало еще темнее и тесней, потом сквозь сучья с треском поползли желтые змеи, свились в клубок и, ярко вспыхнув, раздвинули границы тьмы. И в то же время раздался голос горбуна, первые слова его прозвучали неясно, исчезли, не понятые мною. Он говорил тихо, как будто засыпая.

— Да, да, черти — не шутка… Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин…

— Вы — серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все…

«Шутит?» — подумал я. Но если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору — «дурак!», изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да — да! Это — черти неосмысленного буйства…

— Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда бы он ни шел… куда бы ни шел…

— Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумия. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил все тише и так, как будто затверживал урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственно крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

— Но еще страшнее черти лунных ночей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно-голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей, я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там, навсегда неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты не видя, будет навеки осужден

смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И неподвижность. Пустота…

Он держал палку в костре неподвижно, и зубастые огоньки тихонько подбирались по ней к его руке. Когда коже руки стало горячо, горбун, вздрогнув, взмахнул палкой, согнал с нее огни, соскреб угольки обгоревшего конца палки о камни, — она густо дымилась. Потом он снова начал дымящейся палкой отгребать угли из костра и дробить их, брызгая искрами. Замолчал.

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьезно верите…

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошел прочь!

И погрозил мне дымившейся палкой:

— Завтра вздуют тебя!

Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И, когда горбун отправился в барак, спать, — я ушел по дороге во Владикавказ.

Знахарка

На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы, во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал, — сипит Мокеев, — дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен, — нехорош, стало быть. У нас всё — по-своему…

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи! Я и вначале внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их,

мужиков… Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной лыковой корзиной в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун…

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход, — не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок…

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма, — нет, это у ней от бога! Ее и в Пензю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой! «Дураки, — говорит родителям ейным, — детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать! А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублев да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — все может! Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит внезапу: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу[3], бунтарю, приятелем был…

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник.

Три года она, бездетно, прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей, — леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики-«сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько, — видал ты, как неладно она шеей владает? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно — сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татара али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму-весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается

жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-ароший барин…

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой дорогой, и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, что час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут…

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю…

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тебя — сила, — обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне — сёмой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то…

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята; аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест, корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики! Сказал бы ты Голицыным-то, — чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля!

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха громко грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко

вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и борола, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, всё из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему…

— Вы в церковь ходите? — спросил я.

Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко, — этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят, — сказала Иваниха. — И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет…

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу, — сказала Иваниха. — Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи…

— Дура. Не тронь уж, я сама…

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась: дураки, кричит. Это у нее первое дело дураком ругать. «За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после — бьет, не сладка, не охоча…

Светила луна, в воздухе стоял густой влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух какая! Прямо скажу…

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, — гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, черта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного,

волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, — заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды…

…Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и, осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Мамонька, бежим, родная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще! — она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле…

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились, и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю, — говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то…

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее, и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь, — бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а

из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду, — говорила она. — Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее чёрту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Керемetью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал…

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова, чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду видит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся, — живите без меня. Это плохо нам. Это — чёрту хорошо…

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста…

Спать она легла на печи, а я на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шепот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидал, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй… Стыдно, Христос!.. Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются — зачем? Э-эх…

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам окон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий ты бог, нет! Трудно людям с тобой! Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка — одно дитя, такой светлый Мишка, — зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо! Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет! Стыдно тебе, ох, не так надо?! Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э, Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх ты, Христос…

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

…На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом, может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

«Э, Христос…»

Паук

Ермолай Маков, старик, торговец «древностями», — человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка — в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу подьячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст и вдруг могильным голосом скажет:

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Охоты нет.

— Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжко и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда — через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

— Бери.

— А что ж ты прошлый раз не продал?

— Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, помногу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил — бездомно, переходя от поместья в поместье, из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль, и снова являлся в Нижнем, всегда останавливаясь в грязненьких «Номерах» Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья — они искали его, лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человечьего мусора Маков пользовался особым вниманием, как «ходовой» человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются — «хизнут» — старые «дворянские гнезда». Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков.

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками — игра такая. И сами как шары эти стали — совсем безмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой

воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-то. Мы разговорились, и вот что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе, и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов, и водился я с одной бабой, не иначе как — ведьмой. Муж у нее — приятель мой — был добрый человек, а больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я — спал, бабенка эта окаянная изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-ет был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он, и — сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не любил я, просто — баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее — не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта — лицо огня! Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душою живу. А — моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне, — где же? Испугался я…

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу, — углядела меня прачка, зашумела — вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока — в голове, а третье — меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда ни иду, он невступно за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня, — вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? — спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь — безумен я? Вот ведь стража моя, вот он прихилился, паук-от…

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравишь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы — краденая. Лет десяток назад тому задумал я утопиться, — бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А — вот она, поддевка-то, какая поддела меня…

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная, что сказать человеку, который живет бок о бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а — не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай, — говорил он тихо и просительно. — Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по-твоему: от бога паук этот охрана мне али от дьявола?

— Не знаю.

— Подумал бы ты… Я полагаю — от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, недостоин я ангела. А вот паук — это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

…Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что — жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь, провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А — вот он…

Спустя три года я узнал, что в 905-м году Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

Могильщик

Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно

желанную им гармонику, он — одноглазый, лохматый — крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый, а порою жуткий, глаз, сказал:

— Эх-х…

Задохнулся от возбуждения, потряс плешивой головою и одним дыханием произнес:

— Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!

Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы, и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским «прононсом» — «Трен-блан», а иногда «Дрянь-брань». Это была единственная пьеса, которую он умел играть.

Случилось, что он заиграл в то время, когда неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:

— Усопших оскорбляешь, скот!

Бодрягин жаловался мне:

— Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать — что́ покойнику обидно?

Он был уверен, что ада — нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в «пречистый» рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах до поры, пока тело не сгниет.

— После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.

Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой и все разошлись с кладбища, — Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня:

— Ты, друг, не горюй! Может, на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может, и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.

Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения: услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его сшибали лошади и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял, не слыша криков предостережения, не видя опасности. Он объяснял:

— Услышу музыку и — словно на дно речное мырну!

Он «путался» с кладбищенской нищей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать, — ему было уже за сорок.

— Зачем она тебе? — спросил я.

— А — кто ее утешит? Некому, опричь меня. Я же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.

Мы говорили, стоя под березой, в потоках неожиданно хлынувшего июньского ливня.

Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый, и бормотал:

— Мне приятно, когда мое слово слезу сушит…

У него был, видимо, рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.

Н. А. Бугров

…В 901-м году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру «предупреждения и пресечения преступлений» — домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал калоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

— Господин Горьков, — извините! — как же это? Говорится: небеса, небесный, а — вдруг: бес основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка, под носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

— Люблю читать жития священномучеников, — говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном. — Необыкновенные слова там попадаются…

И конфузливо спрашивал:

— А — извините! — непкорочный значит непоротый? Примерно: непорочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо, — благосклонно говорил он. — Ничего, пишите…

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А — извините меня…

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег…

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А — как же? По ночам они и действуют…

— Буди. Скажи — Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил:

— Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму

к тебе прийти — прокуроришко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают — нет сопротивления им в делах беззаконных. А я вот показываю: врете, есть сопротивление!

Оглядел комнату прищуренными красными глазами кролика.

— Небогато, однако, живешь, скудно. А слух идет — большие деньги даны тебе иностранцами за книгу о Гордееве, за позор купечества нашего. Ну, все-таки книга, стоящая внимания; хоша и сочинение — а правда есть! Читают ее согласно; верно, говорят, списал, народ мы — такой! Яков Башкиров хвастает: «Маякин — это я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный». Бугров даже читал, Николай Александров. «Книжка, говорит, для нас действительно горькая!» Я ведь вроде как бы от него и пришел: почет тебе! Не верит он, что ты из простых, даже будто из босяков, хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить.

Ехать к Бугрову я отказался, это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной.

— Гордость твоя — глупая! Бугров не грешнее таких, каков ты есть. А что из дома выходить без полицейского не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

— Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

— А ты — молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов — Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец «беспоповского согласия», он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой кирпичной оградой, на кладбище — церковь и «скит», — а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье «Уложения о наказаниях уголовных» за то, что они устраивали в избах у себя тайные «молельни». В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообрядцев, — было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-«начетники». Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и

крепким столпом, на который опиралось «древлее благочестие» Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник, Константин Победоносцев писал — кажется, в 901-м году — доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил «ты» взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он, в 96-м году, на Всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом; огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем школу; устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела «благотворения».

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова «разжился» фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достойное кары, если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский «В лесах» под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу:

— Это — большое дело! Имущества у меня много, считать его — долго!

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат! — сказал Бугров. — Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся

тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел встречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей с приросшими мочками и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо неясное, незаконченное, в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья, — под скучной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем не объяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее двойственное чувство — напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивною враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать «добрые дела» этого человека, и всегда являлась у меня мысль: «Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот “воротило”».

Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку «Фома Гордеев», Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край…

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; ее воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков-родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданым в три, пять тысяч рублей, и обязательно строил молодоженам маленький, в три окна, домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочно подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна, — на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно, ты Бугрова любишь,
Бугрову сердце отдала;
Бугрову ты верна не будешь,
А мне по гроб страдать дала!

На одной из таких «испробованных девиц» женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале «Природа и охота».

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы:

— Жалко девушку; обижена, а — хорошая девушка! Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик. Это — меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать…

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в ее охоте за лесной птицей, — помню, рассказ был начат так:

«Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он унынием и гнилью».

Ко мне пришла женщина, возбужденная почти до безумия, и сказала: ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедля ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идет о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошел к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человечек жил, — как Дезэссент, герой романа Гюйсманса, — выдуманной жизнью, считая ее очень утонченной и красивой: ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов, они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая местных красавиц «свободной жизни», устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун с лицом подростка; испуганно глядя на меня темными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взаем и молча протянул двадцать пять рублей. Мне было нужно в сорок раз больше. Я молча ушел.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно

встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

— А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час!

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидал крупную фигуру Бугрова, он стоял, прислонясь спиною к стене, его теснила толпа возбужденных людей и вперебой кричала что-то, а он изредка, спокойно и лениво говорил:

— Нет.

И слово это в его устах напоминало возглас «цыц!», которым укрощают лай надоевших собак.

— Вот — самый этот Горький, — сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

— Честь городу нашему… Чайку попить не желаете ли со мною?

В «Биржевой» гостинице, где всё пред ним склонилось до земли и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь, — Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

— Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый красноносый человек с солдатскими усами, старик кричал на него:

— Полиции — боишься, а совести — не боишься!

— Все воюет языком неуемным старец наш, — сказал Бугров, вздыхая, отер слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

— Слыхал я, что самоуком дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно… И будто бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моем живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе, — в этот день он, в «поминок» по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

— Это ничего не доказует, — сказал он, двигая серенькими волосами редких бровей. — За гривенником и не бедные люди приходили от жадности своей. А вот что в ночлежном жили вы, — это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из

этого дома, как из омута, никуда нет путей.

— Человек — вынослив.

— Очень правильно, но давайте прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно, — должно быть, осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжелой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску желтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

— Откуда же вы купечество знаете? — спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:

— Не все в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин — примечательное лицо! Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть! Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума…

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

— Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подошел Зарубин, сердито шлепнулся на стул и спросил не то — меня, не то — Бугрова:

— Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив мое смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

— Кто — кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

— Это он не для себя ищет денег, он живет скудно…

— Для кого же, — можно узнать? — обратился ко мне Бугров.

Я был раздражен, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почесывая скулу, смахивая пальцем слезу со щеки, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

— А — хватит суммы этой? Путь — дальний, и всякие случаи неудобные возможны…

Поблагодарив его, я предложил дать расписку, — он любезно усмехнулся:

— Разве что из интереса к почерку вашему возьму…

А посмотрев на расписку, заметил:

— Пишете как будто уставом, по-старообрядчески, каждая буковка — отдельно стоит. Очень интересно пишете!..

— По Псалтырю учился.

— Оно и видно. Может — возьмете расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушел. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

— Будемте знакомы! Иной раз позвольте лошадь прислать за вами, — вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке, ее окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загроможденный якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового — «постного» — сахара.

— Рафинада — не употребляю, — усмехаясь, сказал Бугров. — Не оттого, что будто рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные… мапулярии, что ли, зовется это, по-ученому?

— Манипуляции?

— Похоже. Нет, постный сахар — вкуснее и зубам легче…

В комнате было пусто, — два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и еще столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешевыми обоями, мутно-голубого цвета, около двери в раме за стеклом — расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, все вылощено, скучно чисто, от этой чистоты веяло холодом, и было в ней что-то «нежилое». Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нем кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу — икона богоматери, в жемчужном окладе, на венчике — три красных камня; пред нею — лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонек, и как будто по иконе текут капельки пота или слез. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней черным шариком.

Бугров — в сюртуке тонкого сукна, сюртук длинен, наглухо, до горла, застегнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

— Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме живать?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идет о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

— Трудно поверить, — раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он. — Босяк наш — осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо — лист осенний удобряет землю…

И, в тон жужжанию мухи, рассказывает:

— У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков

держит, Сумароков по фамилии; так он — знаменитого лица потомок, в Екатерининны времена его дед большую значительность имел, а внук — личность дерзкая, живет вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь вот какая превратность! А вы — наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей… Возьмите икорки еще!

Не спеша жует калач, громко чмокая, и скользящим взглядом щупает меня.

— Книг я не читаю, а ваши сочинения — прочитал, посоветовали. Очень удивительных людей встречали вы. Например: в одну сторону идет Маякин, в другую — «проходимец» этот, — как его?

— Промтов.

— Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой — расковыривает всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том и о другом рассказываете… не умею выразить как, как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это…

Я спросил: читал ли он рассказ «Мой спутник»?

— Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймою, потом — взмахнул им, как флагом.

— Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, «проходимец» — правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с желто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

— Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его! Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим — наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой — она слепо налетела на слабый огонек лампады, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

— Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в темное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала оправлять лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у нее.

— Дела доспели, извините, — сказал Бугров, скользя глазами по квадратным бумажкам телеграмм. Вынул из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

— Пойдемте отсюда…

Привел меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики, небеленого холста, по стенам стояли стулья. У одной из них — кожаный диван. Скучно пусто, и все тот же церковный, масляный запах. А в стекла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы…

— Хороша картинка? — спросил Бугров, указывая на стену, — там висела копия Сурикова «Боярыня Морозова», а против ее, на другой стене, — превосходное старое полотно — цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

— Вам эта больше нравится? — улыбаясь, спросил старик. — Я ее в Париже купил; иду по улице, вижу — в окне картина и на ней цифра — десять тысяч! Что такое? — думаю. Пригляделся — цветы и боле ничего. Искусно, однако же и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил — редкость, говорит. Опять пошел, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А наутро говорю приятелю-то: «Поди-ка, возьми ее мне».

Он засмеялся.

— Каприз, конечно. Но — так она мне понравилась — нельзя оставить…

Все вокруг блестело холодной нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одинокой жизни.

— Вы меня извините, — надо на биржу идти, — сказал Бугров. — Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте обеспокоить вас вдругорядь… До свиданьица!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и «постным» сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно щупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться — чем живет этот человек вне интересов своего купеческого дела и в чем, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чем-то выспросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

— Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, все-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

— Скажите, какое обилие! — нехотя удивлялся он, задумчиво почесывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить больной глаз. И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

— Ведь в жизни без основания, без привязки к делу, — большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но наконец он все-таки поймал мысль, которая тревожила его:

— Видите ли, что интересно: вот мы живем сыто и богато, а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди — злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди — без жалости. Ведь ежели начнет этих людей снизу-то горбом выпирать, — покатится вся наша жизнь сверху вниз…

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознавая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насквозь несправедлива, а потому — непрочна, и что — рано или поздно — люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

— Непрочна! — повторил он, как бы не расслышав слова — несправедлива. — Это верно — непрочна. Знаки непрочности ее весьма заметны стали.

И — замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убежденный, что знакомство наше пресеклось и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряженно глядя в угол, где сгустился сумрак:

— А ведь человек — страшен! Ой, страшен человек! Иной раз — опамятуешься от суеты дней, и вдруг — сотрясется душа, бессловесно подумаешь — о господи! Неужто все — или многие — люди в таких же облаках темных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встречный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою и смятение твое понятно ему…

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

— Человек словно зерно под жерновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей, — ведь вот оно, главное-то, около чего все

кружатся и образуют вихорь жизни…

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

— С такими мыслями — трудно жить!

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а — просто — скучно человеку, и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною все менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

— Это — зря! Ваше дело — рассказывать, а не развязывать…

— Что значит — развязывать?

— То и значит: революция — развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы — судья, или — подсудимый…

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

— Да ведь при конституции мы, купечество, вам, беспокойным, еще туже, чем теперь, гайки подвинтим!

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

— Конечно, — всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело — пустенькое. В шахматах — там суть игры — мат королю!

Несколько раз он беседовал с царем Николаем.

— Не горяч уголек. Десяток слов скажет — семь не нужны, а три — не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки — мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот — ласков, глаза бабьи…

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

— Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют и — выходят из моды. Не страшны стали. А царь — до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, ленивенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чаинку в стакане чая.

Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зеленые, болотные глаза.

— Вот над этим подумать стоит, господин Горький, — чем будем жить, когда страх пропадет, а? Пропадает страшок пред царем. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили, благодарственные богу, за то, что царя увидать довелось. Да! А когда этот, в 96-м, на выставку

приехал, так дворник мой, Михайло, говорит: «Не велик у нас царек! И лицом неказист, и роста недостойного для столь большого государства. Иностранные-то, глядя на него, поди-ко, думают: ну, какая там Россия, при таком неприглядном царе!» Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царев наезд, — как будто все одно подумали: «Ох, не велик царек у нас!»

Он взглянул в угол на умирающий сапфировый огонек лампады, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла, низко кланяясь, темная девица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на ее стройные ноги в черных чулках и ворчал:

— Что это у вас в этой горнице лампада всегда плохо горит?

Девица исчезла, уплыла, точно обрывок черной тучи.

— Вот и о боге — тоже, — заговорил Бугров. — Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан, — даже у нас, в лесах, покачнулся бог! Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облекается. Отходит от людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжелыми словами, он рассказал: в глухое лесное село Заволжья учитель привез фонограф и в праздник в школе стал показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человечий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

— Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат, тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

— Сжечь дьяволову игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя валиками церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать еще, и вот ящик громко запел «Херувимскую». Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушел, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

— Старик этот, — строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами, — придя домой, сказал своим: «Ну, кончено. Собирайте меня, умереть хочу». Надел смертную рубаху, лег под образа и на восьмой день помер — уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять — что, о конце мира, антихристе, о черте в ящике. Многие — пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой

и горечью:

— Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон — кем движим? Неизвестно. Я ученых спрашивал: «Это что значит — электричество?» — Сила, говорят, а какая — неведомо. Даже — ученые! А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то — от кого? То-то. Да тут еще телефоны и всякое другое. У меня артельщик — умный парень, грамотей — до сего дня, к телефону подходя, — крестится, а поговорив, руки мылом моет — вон как! Всё — фокусы. Польза в них есть, я — не против этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но — если деревянный ящик молитвы поет, значит — зачем церковь, поп и все прочее? Как будто не надобно церковь?! И — где в этом бог? Это он, что ли, ангела в ящик посадить изволил? Вопрос!

Откусив кусочек фруктового сахара, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

— Наступило время опасное, больших тревог души время! Вот вы говорите — революция, воскресение всех сил земли.

Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперед да вперед и все дальше, а мужик отстает все больше. Вот о чем подумай…

И вдруг предложил, почти весело:

— Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечен своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь темных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощенный усталостью, останавливался пред картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым желтым пальцем полотна, говорил задумчиво:

— На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких…

Казалось, что он живет, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир и они слепнут, но иногда все вокруг его освещалось новым светом, и в такие минуты старик был незабвенно интересен.

— Вот говорите, — Маякин — лицо выдуманное? А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин — это он, Башкиров. Врет! Он — хитер, да не так умен. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека — нельзя! Сам себя он может выдумать, и

это будет — горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит — похожих на Маякина вы видели. И, ежели имеются, живут люди, похожие на него, — хорошо!

Он нередко возвращался к этой теме.

— В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека, достойного внимания. За это вам — честь.

И, время от времени, все спрашивал:

— Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду!

Однажды он спросил:

— А что вы — различие между людями видите? Примерно — различие между мною и матросом с баржи?

— Не велико, Николай Александрович.

— Вот и мне тоже кажется: не велико для вас различие между людей. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, кто — каков. Надобно подсказывать человеку, что в нем его, что — чужое. А вы — как в присутствии по воинской повинности: годен — негоден! Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

— В человеке — одна годность: к работе! Любит, умеет работать — годен! Не умеет? Прочь его! В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

— Дай-ко ты мне власть, — говорил он, прищурив здоровый глаз до тонкости ножевого лезвия, — я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы и англичане! Я бы кресты да ордена за работу давал — столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле — вот тебе честь и слава! Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь — это ничего! Не в пустыне живем, не толкнув — не пройдешь! Когда всю землю поднимем да в работу толкнем — тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо: ведь вы сына вашего, в позывной час плоти его, сами к распутной бабе не поведете — нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунать — захлебнется он, задохнется в едком дыме нашем! Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы — фокусы знает, а душу не ласкает. У мужика в соседях леший живет, под печью — домовой, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчет вот что: трудно понять, кое место — правда, кое — выдумка? Когда выдумка-то издаля идет, из древности, — так она ведь тоже силу правды имеет! Так что, пожалуй, леший, домовой — боле правда, чем телефон, фокус сего дня…

Встал, взглянул в окно и проворчал:

— Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплету рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем… И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

— Желаете — расскажу случай? Может, пригодится вам? Жила в Муроме девица необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота, жила у дяди, а дядя — приказчик на пристани, воришка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и, по силе ее красоты, сватались к ней даже весьма денежные люди, ну — дядя не выдавал ее, невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в нее чинуша один — спился, пропал. Говорили — поп старался захороводить ее, ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у нее — в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы, — прекрасные цветы развела и в горницах и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умилительной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

— О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот увидал ее хозяин дяди, купец, старик изрядно распутной жизни, увидал и — тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал — не поддается, даже как бы не понимает ничего. И никакими деньгами невозможно взять ее. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал ее в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в «Яр». И как приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько, — сразу как бы нагими увидала всех и себя самоё. Говорит старику: «Поняла я, чего вы хотите, и на все согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить».

Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей все что угодно, а сейчас — едем в баню! «Сейчас, говорит она, не могу я, завтра, говорит, суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после — пожалуйте». И вот — прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве…

Он медленно откачнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

— Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако — поглядите, как силен соблазн фокусов! Совокупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живет душа в плену темном великой скуки, и вдруг ей покажут такое… Вот он, рай! А это не рай, это — пыль! И не на жизнь, а — на час! Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему — охоты

нет и немыслимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна. Стекла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна темная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу — горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе — облака дыма, на камнях набережной — тучи пыли, сора, лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идет жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, из года в год расширяют и углубляют ее напряжение, — смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

— Не сразу… не вдруг…

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую разумную энергию, — цель ее: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд — область, где воображение мое беспредельно, я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не «фанатик дела», он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты, был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошел кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купе. Мне нужно было видеть его, я пошел.

Он сидел, расстегнув сюртук, закинув голову, и смотрел в потолок на вентилятор.

— Здорово! Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я…

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется, «австрийского согласия», впоследствии — епископ,

нижегородский городской голова, издатель журнала «Церковь», умница и честолюбец, бойкий, широкий человек, предложил мне устроить для безработных дневное пристанище — это было необходимо того ради, чтоб защитить их от эксплуатации трактирщиков. Зимою из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах еще темно и делать нечего, «босяки» и безработные шли в «шалманы» — грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и наедали за зиму рублей на шестьдесят. Весною, когда начиналась работа на Оке и Волге, трактирщики распоряжались закупленной рабочей силою, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чаю за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы», оно с утра до вечера было набито людьми, а «босяки» чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой и порядком.

Разумеется, все это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

— Пустяковина всё это, — сказал он, вздохнув. — На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

— Каких часов?

— В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там…

— Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

— Всё я да я! А сами они — не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голоду, копить деньги на покупку стенных мозеровских часов.

Это очень рассмешило его, открыв рот и зажмурив глаза, он минуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успокоясь, весело заговорил:

— Ох, глупость я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает, — вдруг вижу я себя бедным и становлюсь расчетлив, скуп. Другие из нашего брата фальшиво прибедняются, зная, что бедному — легче, душе свободнее, с бедного меньше спрашивают и люди, и бог. У меня — не то: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, забываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, деньгами не обольщен, просят — даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

— А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со ржаным хлебом попить, так, чтоб и крошки все были съедены. Это бы можно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. Богат, а — есть охота милостину попросить, самому понять, как туго бедность живет. Этого фокуса я не понимаю, и вам, наверное, не понять. Эдакое, слышал я, только у беременных баб бывает…

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

— Капризен человек… чуден! Вот Гордей Чернов бросил все свое богатство и дело на ходу, — в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов, Степа, благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до шести десятков дожил, — закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. «Всё, говорит, неправда, всё — фальшь и зло, богатые — звери, бедные — дураки, царь — злодей, честная жизнь — в отказе от себя!» Да. Вот — Зарубин тоже. Савва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков — пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да — мало ли! Как будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг — видят: вот она где, прямая наша тропа. А — куда тропа эта ведет, однако?

Он замолчал, тяжко вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стремительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину полей, гнал куда-то темные избы деревень. Испуганно катилась и пряталась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла над ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

— У нас, в России, особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем — цап его за душу. И — каюк! Вся жизнь — прахом, хинью… Худое, хорошее — всё в один костер…

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

— Спасибо, что зашли! Вот что — приходите-ка завтра, в час, к Тестову в трактир, пообедаем. Савву позовите — ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отечеству:

— Дашь мне вино это рейнское — как его?

— Знаю-с!

— Здорово, Русь, — приветствовал он нас, а Морозов,

пожимая ему руку, говорил:

— Пухнешь ты, Бугров, все больше, скоро тебе умирать…

— Не задержу…

— Отказал бы мне миллионы-то свои…

— Надо подумать…

— Я бы им нашел место…

Согласно кивнув головою, Бугров сказал:

— Ты — найдешь, честолюбец! Ну-тко, садитесь!

Савва был настроен нервно и раздраженно; наклонив над тарелкой умное татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.

— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбью чешую превратить в клей…

— Все ты знаешь, — вздохнув, сказал Бугров.

— А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать ее. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны… А вы, дикари…

— Ну, начал ругаться, — примирительно и ласково сказал Бугров. — Ты — ешь, добрее будешь!..

— Есть — выучились, а когда работать начнем?

Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:

— Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.

— Если б им не мешать, они бы и по сей час на четырех лапах ходили…

— Никогда мне этого не понять! — с досадой воскликнул Бугров. — Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны! И — радуются!

С удивлением и горечью он спросил:

— Неужто ты веришь в эту глупость? Да — ведь если б это и правда была, так ее надо скрыть от людей.

Савва взглянул на него, прищурясь, и — не ответил.

— По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть…

Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

— Что ж, — помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжелое раздражение Морозова

действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

— Ты что, Савва? Али плохо живешь? На фабрике неладно?

Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

— У нас — везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно — в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

— Разгорится она преждевременно, сил для нее — нет, и будет — чепуха!

— Не знаю, что будет, — задумчиво сказал Бугров. — Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать — в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме — шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь — это законно! Скажем правду — рабочий у нас плохо живет, а — рабочий хороший!

— Ну не так уж, — устало проворчал Морозов.

— Нет — так! Народ у нас — хороший. С огнем в душе. Его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь. У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты — не усмехайся, — девичья! Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь: «Что, ребята, трудно жить?» — «Трудновато». — «Ну а как, по-вашему, легче-то можно?» И я тебе скажу — очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а — научены, книжки у них появились, листочки из Сормова… Вот — Горький хорошо знает эти дела. Деньги берет у меня на листочки. Я — даю…

— Не хвастайся, — сказал Морозов.

— Нимало! — спокойно возразил старик. — Против меня это, но я — даю! Конечно — гроши. Но ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, — что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

— Вот пусти-ка…

— А — что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве — всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:

— Конечно — озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю! Но — ведь отказываются, полагая, что тут — святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых — завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь

один, Кропоткин, что ли… Эх, разве не соблазн — сбросить с себя хомут…

— Чепуха все это, Николай Александров, — сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбужденно блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

— Издревле человек чувствовал, что жизнь — непрочна, издавна хорошие люди бежали ее. Ты сам знаешь — богатство не велика сладость, а больше — обуза и плен. Все мы — рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий — тридцати копейкам рад. Мелет нас машина в пыль, мелет до смерти. Все — работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно — на кого работаем? Я — работу люблю. А иной раз вздумаешь, как спичку в темноте ночи зажгешь, — какой все-таки смысел в работе? Ну — я богат. Покорно благодарю! А — еще что? И на душе — отвратно…

Вздохнув, он повторил иным словом:

— Отвратительно.

Морозов встал, подошел к окну, говоря с усмешкой:

— Слышал я эти речи и от тебя и от других…

— Святость, может, просто — слабость, да она душе сладкая.

Тяжелый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идет скучно, темным путем, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но все-таки я думал, что человеческий труд высоко оценен и осмыслен удельным князем нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живет трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот — не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

«Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди…»

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шел на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что «ждут Бугрова», — он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного

молока. В раскаленном небе запада медленно плавилась темно-синяя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг березы гудели жуки. Усталые люди медленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело — в улицу деревни въехала коляска, запряженная парой крупных вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окруженный какими-то свертками, ящиками…

— Вы как здесь? — спросил он меня.

И тотчас предложил:

— Айда со мною! Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются…

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

— Милостивец… Кормилец… Дай тебе господи…

И мычание коров тоже казалось насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли темной избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душным запахом смолы и цветов.

— Хороши здесь леса, сухие, комара нет, — говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком. — Любопытный вы человек, вишь куда забрались! Много чего будет у вас вспомнить на старости лет, — вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат одно знает: где, что да почем продается…

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну, две черных стены леса сошлись под углом, в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тесом. Окна избы освещал жирный желтый огонь, как будто внутри ее жарко горел костер. У ворот стоял большой лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копье, и все это напоминало какую-то сказку. Захлебываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

— Иван, уйми собак-то, а, господи!

— Засуетилась, — ворчал Бугров, сдвинув брови. — Господ помнит! Много еще страха пред господами живет в народе…

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла маленькая старушка, темная, как земля, она, взвизгивая, хватала

руку Бугрова:

— Батюшка… принесли ангелы….

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

— Величайте, дуры! — густо крикнула женщина.

Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

Светел месяц в небеси, — светел!..

— Не надо, — сказал Бугров, махнув рукой, — который раз говорю тебе, Ефимья, — не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор веселых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, гладя головки детей, сказал:

— Ну ладно, ладно! Тише, мыши! Гостинцев привез… ну, ну. Задавите вы меня. Вот — знакомый мой, вот он опишет вас, озорство ваше…

Легонько толкая детей вперед, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

— Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с медом, земляникой, лепешками. Нас встретила в дверях высокая красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на нее, как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагуря весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошел к стене, где стояло штуки четыре пяльцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампады пред образами в большом киоте с золотыми «виноградами», закинув голову, трижды истово перекрестился.

— Еще здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко, — тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла змеиной головою, исчезла, подобно тени.

— Ну как, девушки, Наталья-то озорничает? — спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почетный угол.

Дети жались к нему смело и непринужденно. Все они были румяны, здоровы, и почти все миловидны. А та, что подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были ее темные глаза, окрыленные густыми бровями, они как будто взлетали вверх, смелым взмахом.

— Вот, — указывая на нее пальцем, сказал мне Бугров, — эта первая греховодница, нестерпимо озорует! Я ее в скиты отправлю, в глушь лесную на Иргиз, там — медведи стадами ходят…

Но, вздохнув, почесывая скулу, он задумчиво продолжал:

— Ее бы в Москву свезти, учить ее надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: не дам, говорит, чадо свое никонианам на забаву…

Огромный волосатый мужик, тяжело топая, надув щеки, внес ярко начищенный ведерный самовар, грохнул его на стол так, что вся посуда, вздрогнув, задребезжала, изумленно вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Евфимия, груди у нее выдавались, как два арбуза, она наложила на них коробок с конфектами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

— Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо интересна! С лица будто — веселая, а на удивление богомольна и редкая мастерица. Воздух она вышила шелками, ангела с пальмом — удивительно! До умиления боголепно. С иконы взяла, но — краски свои…

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживленно, было видно, что приезд Бугрова — праздник для них, а дородная Евфимия не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфекты, потом, тяжко вздохнув, разливала чай и снова молча, не спеша, ела землянику с медом, растерев ее на тарелке в кашу. Работала она, не обращая внимания на девиц и гостей, видимо, никого и ничего не слыша, поглощенная своим делом. Девочки шумели все резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала темная, искаженная судорогами старуха, — в обширной гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа-младенца сад…

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно, не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела, глядя в угол, ее летящие глаза сверкали сурово. Но голос ее, низкий и обширный, был поистине красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют ее приподниматься на стуле, а низкие — опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки ее щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло еще более, и непрерывной влажной полоской из глаза текла слеза. Смотрел он в черный квадрат окна, оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались киотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из нее возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат меда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки примолкли, опьянев от обильной еды, пение подруги убаюкивало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги. Монументом сидела Евфимия, щеки ее блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела желтая кожа голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дергала струны и все пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы
Я в мор-ре ур-ронил…

— Ну, — спасибо! — вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

— Шпать!

— Идите, девоньки, спокойной ночи! Ефимья — работы покажи!

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей:

— Хорошо поешь… Все лучше ты поешь! Характер у тебя — плохой, а душа… Ну, иди с богом…

Она улыбнулась, — дрогнули ее брови, — и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и как-то

жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

— Вишь какая… да-а…

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пяльцы, на стол под лампой.

— Поглядите-ко, — предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, возду́хи, полотенца. Все это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки — премии к мылу Брокара. Но одна вышивка удивила меня силой и странностью рисунка: на сером куске шелка был искусно вышит цветок фиалки и большой черный паук.

— Это одна покойница вышила, — нелепо и небрежно сказала Евфимия.

— Чего это? — спросил Бугров, подходя.

— Варина работа…

— А… Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка ее съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Ефимья, спать укладывай нас…

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров — в телеге, пышно набитой сеном, я — положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

— Глупа Ефимья, а другой, поумнее — нет. Тут бы настоящую учительшу надо, образованную, да — отцы, матери не согласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом живет, прости господи! Да еще — старушка эта… не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей… Эх…

Он встал на колени и, глядя на звезды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы — не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог… должен быть! Иначе — опереться не на что. Ну, спим…

В непоколебимой тишине леса гукнул сыч, угрюмо и напрасно. Лес стоял плотной черной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в темном маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звезд.

— Да, — заговорил Бугров, — вот девицы эти вырастут, будут капусту квасить, огурцы, грибы солить, — к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная глупость. Много глупости в жизни

нашей, а?

— Много.

— То-то и есть. А слышали вы — про меня сказывают, будто я к разврату склонил многих девиц?

— Слышал.

— Верите?

— Вероятно, это так….

— Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И — жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что, на мой взгляд, у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов; оскорбительна, но женщина не понимает этого. И привел пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и филантропка, упрекала мужа:

— Степан Тимофеевич — побойся бога. Только что ты мне груди щупал, а теперь, не помыв рук, крестишься…

— О, то ли еще бывает! — угрюмо сказал Бугров. — Жен бьют за то, что в среду и пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. У меня приятель каждый четверг и субботу плетью жену хлестал за это — во грех ввела! А он — здоровенный мужик и спит с женою в одной кровати, — как она его не допустит? Да, да, глупа наша жизнь…

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни, — хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со всех сторон подкрадывалось незримое — живое.

— Спите?

— Нет.

— Глупа жизнь. Страшна путанностью своей, темен смысл ее… А все-таки — хороша?

— Хороша.

— Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту-две он добавил тихонько:

— Скоро… Умирать…

И — замолчал, должно быть, уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро, и больше уже не встречал Н. А. Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в своем городе…

Палач

Начальник нижегородского охранного отделения Грешнер

был поэт, его стихи печатались в консервативных журналах и, кажется, в «Ниве» или «Родине».

Помню несколько строк:

Вылезает тоска из-за печи,
Изо всех вылезает дверей,
Но, хотя она душу калечит,
С нею все-таки жить веселей.

Без тоски мне совсем одиноко,
Как земле без людей и зверей…

В альбом одной дамы он написал эротическое стихотворение:

Перед парадной дверью дома
Стоит мальчишка лет семи.
Что в нем так странно мне знакомо?
Да — это я же, черт возьми!

Дальше начинались уподобления и аллегории неудобосказуемые.

Грешнера застрелил девятнадцатилетний юноша Александр Никифоров, сын известного в свое время «толстовца» Льва Никифорова, человека очень драматической судьбы: у него было четыре сына, и все погибли один за другим. Старший, социал-демократ, измученный тюрьмами и ссылкой, умер от болезни сердца, один сжег себя, облив керосином, один отравился, а младшего, Сашу, повесили за убийство Грешнера. Он убил его днем, на улице, почти у двери охранного отделения; Грешнер шел под руку с дамой. Саша догнал его, крикнул:

— Эй, жандарм!

И, когда Грешнер обернулся на крик, Никифоров выстрелил в лицо и в грудь ему. Сашу тотчас поймали и осудили на смерть, но никто из уголовных нижегородской тюрьмы не согласился взять на себя гнусное дело палача. Тогда полицейский пристав Пуаре, бывший повар губернатора Баранова, хвастун и пьяница — он называл себя родным братом известного карикатуриста Каран д’Аш’а — склонил за двадцать пять рублей птицелова Гришку Меркулова повесить Сашу.

Гришка был тоже пьяный человек, лет тридцати пяти, длинный, тощий, жилистый, на его лошадиной челюсти росли кустики темной шерсти, из-под колючих бровей мечтательно смотрели полусонные глаза. Повесив Никифорова, он купил

красный шарф, обмотал им свою длинную шею с огромным кадыком, перестал пить водку и начал как-то особенно солидно и гулко покашливать. Приятели спрашивают его:

— Ты что, Гришка, важничаешь?

Он объяснил:

— Нанят я для тайного дела в пользу государства!

Но когда он проговорился кому-то, что повесил человека, приятели отшатнулись от него и даже побили Гришку. Тогда он обратился к приставу охранного отделения Кевдину с просьбою разрешить ему носить красный кафтан и штаны с красными лампасами.

— Чтобы штатские люди понимали, кто я, и боялись трогать меня погаными руками, как я — искоренитель злодеев.

Кевдин сосватал его еще на какие-то убийства, Гришка ездил в Москву, там кого-то вешал и окончательно убедился в своей значительности. Но, возвратясь в Нижний, он явился к доктору Смирнову, окулисту и «черносотенцу», и пожаловался, что у него, Гришки, на груди, под кожей вздулся «воздушный пузырь» и тянет его вверх.

— Так сильно тянет, что я едва держусь на земле и должен хвататься за что-нибудь, чтобы не подпрыгивать, на смех людям. Случилось это после того, как я подвесил какого-то злодея, в груди у меня екнуло и начало вздуваться. А теперь так стало, что я даже спать не могу, тянет меня по ночам к потолку — что хошь делай! Всю одежду, какая есть, я наваливаю на себя, даже кирпичи кладу в рукава и карманы, чтобы тяжелее было, — не помогает. Стол накладывал на грудь и живот, за ноги привязывал себя к кровати — все равно, тянет вверх. Покорнейше прошу взрезать мне кожу и выпустить воздух этот, а то я скоро совсем лишусь хода по земле.

Доктор посоветовал ему идти в психиатрическую больницу, но Гришка сердито отказался.

— Это у меня грудное, а не головное…

Вскоре он, упав с крыши, переломил себе позвоночник, разбил голову и, умирая, спрашивал доктора Нифонта Долгополова:

— Хоронить меня будут — с музыкой?

А за несколько минут до смерти пробормотал, вздохнув:

— Ну вот, возношусь…

Испытатели

В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров, благообразный крепкий старик, лет шестидесяти. Странно

смотрели на людей его выпуклые фарфоровые глаза, — блестело в них что-то слишком светлое и жесткое, но улыбались они ласково и даже, можно сказать, милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно, неутомимо и охотно брал на себя работу других. Когда тот или иной служащий курзала просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил торопливо и утешительно:

— Ну, ну, — сделаю я, брат, сделаю, не беспокойсь!

И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства, точно милостину подавая лентяям.

А держался он в стороне от людей, одиноко; я почти не видал, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем-либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его глуповатым. Когда я спрашивал о Прохорове: «Что это за человек?» — мне отвечали:

— Так себе человек, обыкновенный.

И только лакей, подумав, сказал:

— Старик — гордый. Чистюля.

Я пригласил Прохорова вечером пить чай, в мою комнату, огромную, как сарай, с двумя венецианскими окнами в парк, с паровым отоплением; каждый вечер в девять часов трубы отопления шипели, бормотали, и казалось, кто-то глухим шепотом спрашивает меня:

— Хотите рыбы?

Старик пришел одетый щеголем: в новой, розового ситца, рубахе, в сером пиджаке, в новых валенках; он аккуратно расчесал широкую сивую бороду и смазал серые волосы на голове каким-то жирным клеем едко-горького запаха. Степенно попивая чай с красным вином и малиновым вареньем, он вполголоса, очень связно и легко рассказал мне:

— Правильно изволили приметить, — я человек добрый. Однако ж — родился я и половину жизни прожил как все, без внимания к людям, добрым же стал после того, когда потерял веру в господина бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения; отец мой, слесарь во Мценске, так и говорил: «Степанка родился на счастье», — потому что в год рождения моего ему удалось разжиться, открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив, и учился играючи; не испытал никаких болезней и неприятностей. Кончил училище — сразу попал в богатое поместье, в контору, к

хорошим людям; хозяевами был любим, барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно: способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся: откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого понятия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах, и не боем, а только лаской учил. На женщин тоже имел удачу: какая нравится, та и явится, без запинки. В двадцать шесть лет был я старшим конторщиком и, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Господин Маркевич, писатель книг, вроде вас, восхищался: «Прохоров настоящий русский человек, как Пурсам». Кто таков Пурсам — не знаю, но господин Маркевич был к людям строг, и его похвала — не шутка! Очень я гордился собою, и все шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жениться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню, но вдруг, незаметно для себя, почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: «Почему мне во всем удача? Именно — мне?» Вспыхнул вопрос этот, и даже спать не могу. Бывало, устанешь за день, как лошадь на пашне, а — ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: «Почему мне удача?» Конечно — способности у меня, богомолен я, неглуп, скромен, трезв. Однако же: вижу людей многим лучше меня, но им не везет фортуна. Это — вполне ясно. Думал, знаете, думал: «Как же ты, господи, допускаешь такое? Живу точно ягода в сахарном варенье, а, однако, кто же меня съест?» И все у меня на уме одно это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями, к чему манят? Мысленно спрашиваю: «Куда, господи, ведешь?» Молчит господин бог… Молчит.

Тогда решил я: дай-ка попробую бесчестно жить, что будет? И взял из кассы денег четыреста двадцать рублей, в том расчете, что за кражу свыше трех сот в окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно — хватились, управляющий Филипп Карлович, добрейший человек, спрашивает: «Где?» — «Не знаю». А сделано было так, что, кроме меня, подумать не на кого. Вижу: Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему: «Деньги украл я». Не верит, шутишь, кричит. Однако — поверил, доложил барыне, та даже испугалась: «Что с тобой, Степан?» — «Судите», — говорю. Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты: «Судить, говорит, я не стану, но ты так нахально держишься, что, сам согласись…» Я согласился и ушел от них, уехал в Москву, а деньги возвратил почтой, от чужого имени, не от своего…

Я спросил старика:

— Зачем же вы это сделали? Пострадать захотелось?

Удивленно подняв густые колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нее усмешку ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.

— Ну нет, — зачем же мне страдать? Я — любитель спокойной жизни. Нет, — просто любопытство одолело меня: почему мне удача? А может, осторожность заставила: испытать хотел — насколько прочны удачи мои? Вообще же — молодость, хе-х! Играет человек сам собой. Хотя, однако, тут не чистая игра, то есть не одна чистая игра. Необыкновенно жил: в холе и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают, а я — осужден господином богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям — разные испытания, а мне — ничего, как будто я не достоин обыкновенного, человеческого. Вот и всё, полагаю…

— Н-ну-с, лежу в Москве, в гостинице, в номере, думаю: «Другого бы за рубль под суд отдали, а мне и за четыреста рублей — ничего!» Даже смешно стало, вот она, неудача! «Нет, думаю, погоди, Степан!» Присматриваюсь к людям; гостиница грязненькая, народ в ней темный, картежники, актеры, мятые бабенки. А один выдавал себя за повара, однако оказался, по ремеслу, вором. Завел я с ним знакомство: «Как живете?» — спрашиваю. «Да так, говорит, когда — густо, когда — пусто, когда — нет ничего». Разговорились. «Есть, говорит, у меня в виду одно дельце, но — требуется хороший инструмент, а инструмент дорогой, денег же у меня нету». «Ага, думаю, вот оно!» Спрашиваю его: «Разрушения чужой жизни не будет?» Он даже обиделся: «Что вы, шипит, мне своя башка очень дорогая!» Н-ну-с, дал я ему денег на инструменты и чтобы, в награду мне, взял он меня с собой на грабеж. Поломался он, поартачился, однако — взял. Занятие его не понравилось мне, как будто ходили мы в гости, а хозяев не застали дома. Отперла нам дверь черномазенькая девица, как видно — знакомая его, он ее сейчас же ловко связал по рукам, по ногам и начал ковырять какой-то шкаф, ковыряет, а сам тихонько посвистывает. Простота. Как пришли, так и ушли, не испытав ни малого беспокойства. Человек этот сейчас же скрылся из Москвы, а я живу один, дурак дураком. «Так, думаю, опять удача?» И смешно мне, и злюсь на все. В озлоблении на себя и на господина бога, который ведь должен был видеть все, что я делаю, пошел я в театр, сижу на балконе, а через человека от меня сидит эта черномазенькая девица, смотрит на сцену и слезы платочком отирает. В перерыве комедии подошел я к ней: «Кажется, знакомы?» — говорю. Ну, она, однако, не отвечает. Напомнил я ей кое-что. «Ах, говорит, тише, пожалуйста». Спрашиваю: «От какой печали слезы льете?»

— «Принца, говорит, жалко!» — это на сцене принц какой-то извивался. После театра пошла она со мной в трактир, а из трактира увел я ее к себе в номер — и стали мы жить вместе, вроде любовников. Она, принимая меня за настоящего вора, спрашивает: «Дел нету?» — «Дел у меня нет», — говорю. «Хорошо, я тебя познакомлю с компанией». Познакомила. Оказалось, что хотя и воры, однако ребята хорошие. Особенно — один, Костя Башмаков, удивительное создание обстоятельств природы, словно ребенок, такая ясная, веселая душа! Очень я подружился с ним. И сознаюсь ему: «Мне, собственно, ничего не надо, я только из любопытства вором стал». А он говорит: «Я тоже от живости души, очень, говорит, много хорошего на земле, и приятно жить. Мне, говорит, иной раз хочется на улице крикнуть: братцы, ловите меня, я есть вор!» Забавная личность, но вскорости, спрыгнув на ходу поезда, сломал он себе руку, а потом приключилась ему чахотка, уехал в степь, кумыс пить. Валандался я с этой компанией, — трое было их, — четырнадцать месяцев, воровали мы по квартирам и в поездах, и ожидал я, что вот завтра случится необыкновенное, страшное, однако все сходило с рук вполне благополучно. Голова компании Михайло Петрович Ворохов, очень почтенный человек и приметный умница, однажды говорит: «Это нам с той поры фортуна повезла, как пристал к нам Степан». Опамятовали меня его слова, воротился я от рассеянной жизни к себе самому, задумался: «Что же теперь? Человека убить мне, что ли?» И мыслишка эта воткнулась в сердце занозой, воткнулась, сидит, нарывает. Ночью сяду на койке, суну руки в колени и думаю: «Как же это так, господин бог? Стало быть, вам все равно, как я живу? Ведь вот собираюсь я человека убить, подобного мне, и очень просто могу убить. Как же это?» Молчит господин бог…

Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.

— Гордый вы человек, — сказал я.

Снова приподняв тяжелые мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.

— Нет, зачем же! — ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем. — Человеку гордиться нечем, как я полагаю.

И, аккуратно отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал все так же, вполголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:

— Так-то-с, молчит господин бог. А тут сразу и подсунулся мне соблазнительный случай: залезли мы ночью на дачу,

действуем, — вдруг откуда-то, в темноте сонный голосок: «Дядя, это ты?» Товарищ мой вышмыгнул на балкон, а я присмотрел — вижу: дверь, а за нею кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там, в уголку, на кровати лежит мальчонко лет двенадцати и головку руками скребет, длинноволосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я на него, а у меня руки, ноги дрожат, сердце замирает: «Вот, думаю, случай, ну-ко, Степан, ну-ко!» Да вовремя спохватился: «Нет, думаю, на это я не пойду, нет! Может, ты меня, господин бог, всеми удачами к этому греху — к убийству невинного — и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет…» И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.

— Сижу под деревом, рядом со мною товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу — звонкий шепот, а перед глазами у меня, в темноте, мальчонко этот полусонный, беззащитный, вполне в моих руках. Минутка и — нет мальчика! Хе-х, думаю…

— Это совсем ошарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться и даже сам себя беззащитным мальчиком чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы сидите и не можете знать, что я через минуту начну делать, и я не знаю этого про вас. Вдруг, — ведь разное приходит в голову, — вдруг — вы меня, а то — я вас… а? Очень соблазняет эта взаимная беззащитность. И — вообще — кто руководит нами? То-то-с…

— Утром пришел я в город и прямо к судебному следователю: «Извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор». Оказался он очень хорошим барином, ласковый, худощавый такой, только — глуповат, конечно. «Почему же, спрашивает, сознаётесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» — «У меня, говорю, товарищей не было, работал один». И, сглупив, рассказал ему подробно, вот как вам говорю, всю историю моего недоразумения и как господин бог злобно играл со мной.

Перебив его речь, я спросил:

— Но почему же, Степан Ильич, бог, а не дьявол?

Старик уверенно и спокойно объяснил:

— Дьявола — нету, дьявол — это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только бог и человек — больше ничего. И все, подобное дьяволу, примерно: Иуда, Каин, царь Иван Грозный — это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж — поверьте… Хе-х, запутались мы, жулики, и всё выдумываем что-нибудь хуже нас — дьявола и

прочее. Плохи, дескать, да — не очень, есть и похуже….

— Так, значит, следователь. Картинки у него на стенах повешены, и кругом домашний уют образованного человека. Лицо — доброе. Однако — доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской частенько очень дрянным товаром торгуют. Говорю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит, и так неприятно было слышать это легкомыслие. «Хе-х, думаю, господин бог, как это у вас все нехорошо запутано!» Говорил я долго, следователь слушал меня, как старушка попа в церкви, однако — ничего не понял. «Вас, говорит, конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают вас, если вы все мне сказанное и судьям скажете. И впереди, говорит, у вас не тюрьма, а, по-моему, монастырь!» Обидно стало мне. «Ничего, говорю, вы не поняли, и больше разговаривать не желаю». Н-ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики: «Мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам — где товарищи? Затем — иди к нам на службу». Я, конечно, отказал им в этом, а они меня — бить. Голодом морили. Тут я действительно претерпел несколько. Потом — суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ним не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди, подобные червям и зверям; выбрали они меня старостой. «Хе-х, думаю, плохо все это, господин бог, очень плохо!» Думаю и вижу: как ты ни живи, человечек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, пошатался по земле, стал работать на чугунном заводе, — бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил, — признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом — надумал: «Дай-ко пойду в банщики!» И вот уж семнадцать лет мою людей да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть! Живу без бога. Людей жалко, по причине оброшен-ности их, и жить мне — скушновато…

Месяца за два до смерти своей Л. Н. Святухин рассказал мне:

— Из всех убийц, которые прошли предо мною за тринадцать лет, только ломовой извозчик Меркулов вызвал у меня чувство страха пред человеком и за человека. Обыкновенно убийца — безнадежно тупое существо, получеловек, не способный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник,

визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задерганный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечишко. Но когда предо мною встал Меркулов, я тотчас почувствовал что-то особенно жуткое и необычное.

Святухин закрыл глаза, вспоминая:

— Большой, широкоплечий мужик лет сорока пяти, худощавое благообразное лицо, — такие лица называют иконописными. Длинная седая борода, курчавые волосы тоже седы, с висков — лысые взлизы, а посредине лба торчит рогом эдакий задорный вихор, и, несоответственно, противоречиво вихру, из глубоких глазниц мягко и жалостливо смотрят на меня умные серые глаза.

Тяжело выдохнув трупный запах — следователь умирал от рака желудка, — Святухин нервно сморщил измученное, землистое лицо.

— Меня особенно смутило именно это выражение жалости в его взгляде, — откуда оно? И мое равнодушие чиновника исчезло, уступив место очень беспокойному любопытству, новому и неприятному для меня.

— На вопросы мои он отвечал глуховатым голосом человека, который не привык или не любит говорить много; ответы его были кратки, точны, было ясно, что Меркулов готов дать откровенное показание. Я сказал ему слова, которых не сказал бы другому подследственному: «Хорошее лицо у вас, Меркулов, не похожи вы на человекоубийцу».

— Тогда он, точно гость, взял стул, особенно крепко сел на него, уперся ладонями в колени и сразу заговорил, точно — глупое сравнение — на волынке заиграл, у волынки есть такая большая глуховатая дудка, как фагот: «Ты думаешь, барин, если я убил, так я — зверь? Нет, я не зверь, и если ты почуял это, так я тебе расскажу судьбу мою».

— И — рассказал спокойно, обреченно, так, как убийцы не говорят о себе, — не оправдываясь, не пытаясь разжалобить.

Следователь говорил очень медленно и невнятно, его шершавые губы, покрытые серой какой-то чешуей, шевелились с трудом, он часто облизывал их темным языком, закрывая глаза.

— Мне хочется вспомнить его подлинные слова. В них была особенная значительность. Слова поражающие… Этот его жалостливый взгляд на меня тоже подавлял. Поймите: не жалобный, а — жалостливый. Он — меня жалел. Хотя я тогда был еще здоров…

— Первый раз он убил при таких условиях: осенью, вечером вез с пристани сахарный песок в мешках и заметил, что сзади воза идет человек, распорол мешок, черпает сахар горстью и

ссыпает его в карманы себе, за пазуху, Меркулов бросился на него, ударил по виску — человек упал. «Ну, я его еще ногой пнул и поправляю распоротый мешок, а человек этот под ногами у меня, лежит вверх лицом, глаза вытаращены, рот раскрыт. Стало мне страшно, присел на корточки, взял его за голову, а она, тяжеленная, как гиря, перекатывается у меня с ладони на ладонь, и глаза его будто подмигивают, а из носу кровь течет, руки мои мажет. Вскочил я, кричу: “Батюшки, убил!”»

— Отправили Меркулова в полицию, потом — в тюрьму. «Сижу я в тюрьме, вокруг — люди преступные, а я будто сквозь туман все вижу и ничего не понимаю, страшно мне, не спится, и хлеб есть не могу, все думаю: «Как же это? Шел человек по улице, стукнул я его, и — нет человека! Что ж это такое? Душа-то где? Ведь — не баран, не теленок; он в бога верует, поди-ка, и хоть, может, характер у него другой, а ведь он таков же, как я. А я вот переломил его жизнь, убил, как скота все равно. Ведь эдак-то и меня могут, — стукнут и — пропал я!» От этих мыслей так страшно было мне, барин, что ночами слышал я, как волосы на голове растут».

— Рассказывая, Меркулов очень пристально смотрел на меня, но, хотя его светлые глаза были неподвижны, мне казалось, что я вижу в сероватых зрачках его мерцание ночного страха. Руки он сложил ладонями вместе, сунул их между колен и крепко сжал. Наказали его за нечаянное убийство легко, зачли предварительное заключение и отправили на покаяние в монастырь. «Там, — рассказывал Меркулов, — приставили ко мне старичка монаха, для научения моего, как надо жить; ласковый такой старичок, и о боге говорил он как нельзя лучше. Хороший. Вроде отца мне был, все — сын мой, сын мой. Слушаю я его, да нет-нет и спрошу: «Ладно, бог! А почему же человек настолько непрочен? Вот, говорю, ты, отец Павел, бога любишь, и он тебя, наверно, любит, а я вот ударю тебя и убью, как муху. Куда же ласковая твоя душа тогда денется? Да и не в твоей душе задача, а в моей злой мысли: могу я тебя убить каждую минуту. Да и мысль моя, говорю, вовсе не злая, я даже очень ласково могу тебя убить, даже помолюсь сначала, а после — убью! Вот ты мне что объясни». Ну, он не мог объяснить этого; он все свое говорил: «Это в тебе дьявол зверя будит! Он тебя тревожит». Я говорю: «Мне всё едино, кто тревожит, а ты научи, как мне быть, чтобы не тревожило? Я, говорю, не зверь, ничего звериного нет во мне, а только душа моя за себя испугалась». — «Молись, говорит, до изнурения!» Я — молюсь, иссох даже, виски седеть начали, а мне в ту пору было двадцать восемь лет сроку жизни. Молитва страха моего не может избыть, я, и молясь, думаю: «Как же это, господи?

Вот — я могу в минуту любого человека смерти предать и меня любой человек может убить, когда захочется. Усну, а меня кто-нибудь шаркнет ножиком по горлу, а то кирпичом, обухом по голове. Гирей. Да — мало ли как!» От мыслей этих спать не могу, боюсь. Спал я вначале с послушниками, ночью пошевелится который из них — я вскочу и — орать: «Кто возится? Лежите смирно, так вашу мать!» Все меня боятся, и я всех боюсь. Пожаловались на меня, тогда отправили меня в конюшню, там, с лошадями, стало мне спокойнее, лошадь — скот бездушный. Ну, все-таки спал я вполглаза. Боязно».

— Отбыв епитимью, Меркулов снова взялся за работу извозчика, жил он на огородах, за городом, жил трезво, сосредоточенно. «Как во сне живу, — говорил он. — Все молчу, людей сторонюсь. Извозчики спрашивают: «Ты что, Василий, угрюмо живешь, али в монастырь собираешься?» Что мне монастырь? И в монастыре — люди, а где люди, там и страх. Гляжу я на всех, думаю: «Сохрани вас господь! Непрочна ваша жизнь, нет вам от меня защиты, и мне от вас защиты тоже нет». Сообрази, барин, каково было мне жить с этакой тягой на душе?»

Вздохнув, Святухин поправил черную шелковую шапочку на голом черепе, матовом, точно старая, трухлявая кость.

— Вот тут, при этих словах, Меркулов усмехнулся, неожиданная, неуместная усмешка так перекривила, исказила его благообразное лицо, что я тотчас поверил: конечно, он — зверь. И, наверное, убивал людей вот именно с этой улыбкой. Мне стало нехорошо. А он продолжает и уже как будто с досадой: «Хожу я между людей, вроде курицы с яйцом, а яйцо-то гнилое, и я про это знаю. Вот-вот лопнет оно в нутре моем — что тогда будет со мной? Не знаю что, не могу придумать, а понятно мне: очень страшно должно быть».

— Я спросил его: думал ли он о самоубийстве? Помолчав, шевеля бровями, он сказал: «Не помню, будто — ни разу не думал». И тоже спросил, очень удивленно, кажется — искренно: «Как я не вспомнил про это? Дивное дело…» Хлопнул ладонью по колену, взглянул куда-то в угол, бормочет, как бы обиженно: «Ишь ты… Значит — не хотел я душе волю дать. Уж очень мучило меня любопытство ее к людям, трусость ее обидная. Забыл себя-то. А она — примеривается: ежели вот этого убить — что будет? Да, примеривается все…»

— Через два года Меркулов убил полуумную девицу Матрешу, дочь огородника. Он рассказал мне об этом убийстве неясно, видимо, сам не мог понять мотивов убийства. По его словам выходило, что Матреша была блаженная: «Находило на нее затмение разума: вдруг бросит копать гряды или полоть и

куда-то идет, разинув глаза, усмехаясь, будто кто невидимо поманил ее за собою. Натыкается на деревья, заборы, на стены, словно сквозь хочет пройти. Однажды наступила на железные грабли, пронзила ногу, кровь из ноги течет, а она шагает, ничего не чувствуя, не сморщилась даже. Была она девица некрасивая, толстая, а — распутна по глупости своей, сама к мужикам приставала, а они, конечно, пользовались глупостью ее. Ко мне тоже приставала, ну, мне было не до того. Соблазняло меня в ней то, что ничего с ней не делается: в яму ли свалится, с крыши ли упадет — ей все нипочем. Другой бы руку вывихнул, сломал себе какую-нибудь кость, а она — ничего. Как будто не по земле ходит. Конечно, в синяках, в ссадинах вся, а — прочности необыкновенной. Было похоже, что живет полудурья эта в твердой охране. Убил я ее при людях, в воскресенье, сидел я на лавочке у ворот, а она начала заигрывать со мной нехорошо, тут я ее — поленом. Свалилась. Гляжу — мертвая. Сел на землю около нее и даже заплакал: “Что это, господи? Какая слабость, какая беззащитность!”».

— Он долго, тяжелыми словами и как в бреду, говорил о беззащитности человека, и в глазах его разгорелся угрюмый страх. Сухое лицо аскета потемнело, когда он сказал мне сквозь зубы: «Ты подумай, барин, ведь вот я в эту минуту самую вдруг могу тебя убить, а? Подумай-ко? Кто мне запретит? Где запрет нам? Ведь нет запрета нигде, ни в чем нет…»

— Наказали его за убийство девицы тремя годами тюрьмы, он объяснил легкость наказания хорошей защитой, но защитника своего угрюмо осудил: «Молодой такой, лохматый крикун. Кричал всё: «Кто может сказать худое про этого человека? Никто из свидетелей ни слова не сказал. А убитая была безумна и распутна». Защитники эти — баловство. Ты меня до греха защити, а когда я грех сделал, убил, — защита мне ненадобна. Держи меня, покамест я стою, а коли побежал — не догонишь! Побежал, так уж буду бежать, покуда не свалюсь, да… Тюрьма — тоже баловство, безделье. Распутство. Из тюрьмы вышел я, как сонный, — ничего не понимаю. Идут люди, едут, работают, строят дома, а я одно думаю: «Любого могу убить, и меня любой убить может». Боязно мне. И будто руки у меня всё растут, растут, совсем чужие мне руки. Начал пить вино — не могу, тошнит. Выпимши — плачу, уйду куда потемнее и плачу: не человек я, а помешанный, и жизни мне — нет. Пью — не пьян, а трезвый — хуже пьяного. Рычать начал, рычу на всех, отпугиваю людей, боюсь их. Все кажется мне: я — его или он — меня? И хожу по земле, как муха по стеклу, лопнет стекло, и провалюсь я, полечу неизвестно куда.

— Хозяина, Ивана Кирилыча, убил я тоже по этой причине, из любопытства. Был он человек веселый, добрый человек.

И необыкновенной смелости. Когда у соседей его пожар был, так он как бессмертный действовал, полез прямо в огонь, няньку вывел, потом опять полез, за сундучком ее, — плакала нянька о сундучке своем. Счастливый человек был Иван Кирилыч, упокой его господи! Мучить я его, действительно, мучил. Тех двух — сразу, а этого маленько помучил: хотелось понять, как он: испугается али нет? Ну, он был слабый телом и скоро задохся. Прибежали люди на крик его, бить меня, вязать. Я говорю им: “Вы мне не руки, вы душу мне связали бы, дураки…”».

— Кончив рассказывать, Меркулов вытер ладонью вспотевшее лицо и посоветовал спокойно: «Вы меня, ваше благородие, судите строго, на смерть судите, а то — что же? Я с людями и в каторге жить не могу, обиделся я на душу мою, постыла она мне, и — боязно мне, опять я начну пытать ее, а люди от того пострадают… Вы меня, барин, уничтожьте…»

Мигнув умирающими глазами, следователь сказал:

— Он сам уничтожил себя, удавился. Как-то необычно, на кандалах, черт его знает как! Я не видал, мне рассказывал товарищ прокурора: «Большая, сказал, сила воли нужна была, чтоб убить себя так мучительно и неудобно». Так и сказал — неудобно.

Потом, закрыв глаза, Святухин пробормотал:

— Вероятно, это я внушил Меркулову мысль о самоубийстве… Вот, батенька, простой русский мужик, а — изволите видеть? Да-с…

Учитель чистописания

…Придя к А.А.Я. — не застал его дома.

— Убежал куда-то, — сказала его квартирная хозяйка, приветливая старушка в роговых очках и с мохнатой бородавкой на левой скуле. Предложив мне отдохнуть, она заговорила, мягко улыбаясь:

— Смотрю я: бегом живете вы, нынешние молодые люди, точно выстрелили вами, как дробью из ружья. Раньше — спокойнее жили и даже походка у людей другая была. И сапоги носились дольше, не потому, что кожа была крепче, а потому, что люди осторожнее ходили по земле. Вот в комнате этой, до Яровицкого, жил учитель чистописания; тоже Алексеем Алексеевичем звали, фамилия — Кузьмин. Какой удивительно тихий человек был, даже странно вспомнить. Бывало, утром проснется, сапоги почистит, брючки, сюртучок, умоется, оденется,

и всё тихонько, как будто все люди в городе спят, а он боится разбудить их. Молится, всегда читал: «Господи, владыка живота моего». Потом выпьет стакан чаю, съест яичко с хлебом и уходит в институт, а придя домой, покушает, отдохнет и сядет картинки писать или рамочки делать. Это вот все его рукоделье.

Стены маленькой комнаты были обильно украшены рисунками карандашом в рамках из черного багета; картинки изображали ивы и березы над могилами, над прудом, у развалившейся водяной мельницы, — всюду, ивы и березы. И лишь на одной, побольше размером, тщательно была нарисована узкая тропа, она ползла в гору, ее змеевидно переплетало корневище искривленной березы со сломанной вершиной и множеством сухих сучьев. Глядя на робкие, серые рисунки, старушка любовно говорила:

— Гулять он ходил вечерами, в сумерках, и особенно любил гулять, когда пасмурно, дождь грозит. От этого он и захворал, простудился. Бывало, скажешь ему: «Что вы какое нехорошее время для гулянья выбираете?» — «В такие, говорит, вечера народу на улицах меньше, а я человек скромный и не охотник до встреч с людьми. И частенько, говорит, люди заставляют думать о них нехорошо, а я этого убегаю». Наденет шинельку, фуражку с кокардой, зонтик возьмет и тихонько шагает поближе к заборам; всем, кого встретит, дорогу дает. Очень хорошо, легко ходил он, будто и не по земле. Умильный человек — маленький, стройный, светловолосый, нос с горбинкой, личико чисто выбрито и такое молодое, хотя было ему уже под сорок. Кашлял он всегда в платок, чтобы не шуметь. Бывало, гляжу я на него, любуюсь, думаю, вот бы все люди такие были. Спросишь: «А не скучно вам жить так?» — «Нет, говорит, нисколько не скучно, я живу душой, а душа скуки не знает, скука — это телесная напасть». И всегда он отвечал вот так разумно, точно старичок. «Неужто, спрашиваю, и женский пол не интересен вам, и о семье не думаете?» — «Нет, говорит, я к этому не склонен, семья же требует забот, да и здоровье мое не позволяет». Так, тихой мышкой, он и жил у меня около трех лет, а потом поехал на кумыс, лечиться, да там, в степях, и помер. Ждала я, что придет кто-нибудь за добром его, а, должно быть, не было у скрытого человека этого ни родных, ни приятелей — никто не пришел; так все и осталось у меня: бельишко, картинки эти да тетрадка с записями.

Я попросил показать мне тетрадку, старуха охотно достала из комода толстую книгу в переплете черного коленкора; на куске картона, приклеенном к переплету, готическим шрифтом значилось:

Пища духа.
Записки для памяти
А.А.К-мина.
Лето от Р.Х. 1889-е. Январь, 3.

На обороте — виньетка, тонко сделанная пером: в рамке листьев дуба и клена — пень, а на нем клубочком свернулась змея, подняв голову, высунув жало. А на первой странице я прочитал слова, взятые, очевидно, как эпиграф, тщательно выписанные мелким круглым почерком:

> Скоро оказалось, что христиан много, — так всегда бывает, когда начинают заниматься исследованием какого-нибудь преступления.
> *Из письма Плиния императору Траяну*

Далее бросился в глаза крупный и какой-то торжественный почерк, украшенный хвостиками и завитушками:

> Я значительно умнее Аполлона Коринфского. Не говоря о том, что он — пьяница.

Почти на каждой странице мелькали рисунки, виньетки, часто встречалось толстое женское лицо с тупым носом и калмыцкими глазами. Записей было немного, они редко занимали одну, две страницы, чаще — несколько строк, всегда выписанных тщательно. Нигде ни одной помарки, всюду чувствовалась строгая законченность, все казалось любовно и аккуратно списанным с черновиков.

Заинтересованный, я унес «Пищу духа» тихого учителя домой и вот что нашел в этой черной книге:

> Так называемое искусство питается преимущественно изображением и описанием разного рода преступлений, и замечаю, что чем преступление подлее, тем более читается книга и знаменита картина, ему посвященная. Собственно говоря, интерес к искусству есть интерес к преступному. Отсюда вполне ясен вред искусства для юношества.

> Сазана надо фаршировать морковью, но этого никто не делает.

> Князь Владимир Галицкий ездил служить венгерскому королю и четыре года служил ему; после

чего, возвратясь в Галич, занимался церковным строительством.

Всякое преступление требует врожденного таланта, особенно же человекоубийство.

Ап. Кор. написал, в насмешку надо мною, плюгавенькие стишки. На всякий случай равнодушно записываю их:

Чтобы душа была подобна гуммиластику, —
Т.е. более податлива, гибка,
Делать надобно духовную гимнастику, —
Т.е. — попросту — «валять дурака».

Успешное — т. е. безнаказанное — убийство должно быть совершено внезапно.

Тихий человечек записывал любопытнейшие мысли свои разнообразными почерками — ромбом, готическим, английским, славянской вязью и всячески, явно щеголяя своим мастерством. Но все, что касалось убийства, он писал тем же мелким круглым почерком, каким была написана выдержка из письма Плиния Траяну. И можно было думать, что это уже его индивидуальный почерк. Великолепно, ромбом, было нарисовано:

Мышление есть долг всякого грамотного человека.

Славянской, затейливой вязью:

Я никогда не позволю себе забыть насмешек надо мной.

А круглый почерк говорил:

Внезапность не исключает предварительного и точного изучения условий жизни намеченного лица. Особенно важно — время и место прогулок. Часы возвращения из гимназии с уроков. Ночью из клуба.

Две страницы заняты подробным и сухим описанием прогулки в лодках по Волге, затем косым почерком, буквами, переломленными посредине, начертано:

У Пол. Петр, дурная привычка чесать пальцем под

левым коленом. Она любит сидеть, закинув ногу на ногу, от этого и чешется под коленом, вероятно, застой крови. Он этого не замечает, дурак. Он вообще глуп. И нехорошо, что она часто спрашивает: «Да что вы?» — это у нее выходит насмешливо. Полина — значит Пелагия, Пелагия — имя, собственно, вульгарное, деревенское.

И снова — круглый почерк:

Уехать из города и неожиданно возвратиться. Сесть на извозчика, — это очень глупо говорят: сесть на извозчика, надо: нанять извозчика. По дороге домой соскочить с пролетки, под видом, будто заболел живот, сбегать, убить и ехать дальше…

Далее — калмыцкое лицо женщины и уродливо коротконогий человек с маленьким лицом без глаз; на месте их — вопросительные знаки. Очень пышная борода.

Затем — хитрым почерком подьячего:

Он стал бывать, т. е. ходить в гости к старой чертовке, поэтессе Мысовской. У нее собираются местные революционеры.

И снова круглый почерк:

Внезапность действия — гарантия успеха. Извозчика нанять старика, по возможности, со слабым зрением. Соскочить — схватило живот. Проходным двором идти прямо на него, но — поздороваться, чтоб он растерялся. Миновать и, внезапно повернувшись, ударить с бока в m. c. (приведено сокращенное до двух букв латинское название мускула). Быстро возвратиться к извозчику, оправляя костюм, грубо смеясь над собой. Дома послать в аптеку за желудочными каплями. Когда все обнаружится, вести себя с любопытством, легкомысленно. Участвовать в торжестве похорон. Конечно.

Больше записей на эту тему не было, последняя же заканчивалась виньеткой: могила без креста, над нею сухое обломанное дерево, вокруг — густой бурьян, а в небе плачет калмыцкое лицо луны.

Дальше было еще четыре записи:

Прочитал в немецком романе глупую фразу:

профессор спрашивает свою невесту:

— Адель, почему вы всегда переговариваете все, что я вам ни скажу?

Сегодня на закате солнца в саду удивительно пел скворец, пел так, как будто это он уже в последний раз поет.

Встреча с человеком не всегда грозит опасностью, но все-таки надо быть очень проницательным, выбирая знакомых. Я никогда больше не позволю себе знакомиться с рыжими.

Зубную боль хорошо чувствует только тот, у кого болят зубы, и только тогда, пока они болят. Затем человек забывает, как мучительна зубная боль. Было бы полезно, чтоб зубы болели хотя раз в месяц, но обязательно в один и тот же день, у всего населения земного шара. При этом условии люди, вероятно, научились бы понимать друг друга.

Этим заканчивалась книга тихого учителя чистописания, озаглавленная им: «Пища духа».

Московский студент Маньков, убийца своей жены, в последнем слове на суде защищался так:

— Она убита, и она — мученица, она теперь, может быть, святая, в раю, а мне осталось всю жизнь нести тяжкий крест греха и раскаяния. За что же еще наказывать меня, если я уже сам себя наказал? Вот я теперь ем яблочки, яички, как прежде ел, а вкуса они прежнего, милого уже не имеют, и ничто не радует меня — за что же наказывать?

Неудавшийся писатель

Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, еще не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

— Погубил меня телеграфист Малашин.

Наклонил голову в измятой кепке жокея, посмотрел под стол, передвинул больную ногу свою, приподняв ее руками, и длительно, хрипло вздохнул.

— Телеграфист Малашин, да. Благочинный наш именовал его нелепообразным отроком, девицы — Малашей. Был он маленький, стройный, розовые щеки, карие глаза, брови — темные, руки — женские; писаными красавцами называют таких. Веселый, со всеми ласковый, он был очень заметен, даже, пожалуй, любим в нашем городишке, где три тысячи пятьсот жителей не спеша исполняли обыкновеннейшие обязанности людей. В двадцать лет от роду моего проникся я скукой жизни до немоты души; очень уже раздражала и даже пугала меня тихая суета людей, непонятен мне был смысл этой суеты, смотрел я на всё недоуменно и однажды, в порыве чувства, написал рассказ «Как люди живут». Написал и послал рукопись в журнал «Ниву». Ожидал решения судьбы неделю, месяц, два и махнул рукой: эти штучки не для нашей внучки!

— А месяца через три, может быть, и больше, встречаю Малашина. «У меня, говорит, для тебя открытка есть». Подал мне открытое письмо, а на нем написано: «Рассказ Ваш скучно написан, и его нельзя признать удачным, но, по-видимому, у Вас есть способности. Пришлите еще что-нибудь».

— Не стану говорить, как я обрадовался. Малашин любезно рассказал, что открытка уже третий день у него. «Случайно, говорит, захватил на почте, чтоб передать тебе, да все забывал. Так ты, говорит, рассказы пишешь, в графы Толстые метишь?»

— Посмеялись и разошлись. Но уже в тот же день, вечером, когда я шел домой, дьякон, сидя у окна, крикнул мне: «Эй, ты, писатель! Я т-тебя!» И погрозил кулаком. В радости моей я не взвесил дьяконов жест. Знал я, что это человек фантастический: в молодости он стремился в оперу, но дальше регента в архиерейском хоре не пошел и в губернии не мог составить карьеры себе, страдая наклонностью к свободе действий. Пил он и в пьяном виде, на пари, бил лбом грецкие орехи, мог разбить целый фунт орехов, так что кожа на лбу у него лопалась. Носил в кармане железную коробочку с продухами, летом — для лягушат, а зимою — для мышей, и, улучив удобную минуту, пускал

зверюшек этих дамам за шивороты. Шутки эти прощались ему за веселый его нрав и за то, что он удивительно знал рыбий характер, чудесный был рыболов! Но сам рыбу не ел, боясь подавиться костью, и пойманное дарил знакомым, чем весьма увеличивал любовь к нему.

— Так вот — обрадовался я. Был я в ту пору юноша скромный, характера задумчивого, собою некрасив.

Он прижал губами жиденькие выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза — голубыми. И — множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, сизый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как бы сквозь сон.

— Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи напролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. Ага, думаю…

— Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того — дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают: «Пишете? Пожалуйста — чаю! Внакладку!»

— «Ого, думаю, внакладку даже?!» Размешивал чай ложечкой, хлебнул — что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращения. Все-таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и говорит: «Как же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как же это?»

— Я сконфузился, увял: эх, думаю… «Это, говорю, шутка, конечно…»

— Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал, — я и стихи сочинять пытался. Малашин знал это. Уговаривают: «Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны».

— Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал: «Хорошие стихи пишутся только военными».

— Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое же воскресенье встретил я дьякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон. «Стой, — кричит. — Пишешь, дурак? Я, говорит, три года в оперу

готовился и вообще не тебе чета, а ты — кто? Муха ты! Такие, говорит, мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь…» И так изругал меня, что мне даже обидно стало. «За что?» — думаю.

— Через некоторое время тетка моя — я сирота, у тетки жил — «Что это говорят про тебя, будто пишешь ты? Бросил бы, тебе жениться пора…»

— Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это занятие чистое, дворянское; но она заплакала; взывает: «Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?»

— А Малашин, встречая меня на улице, орет: «Здравствуй, без четверти граф Толстой!» Сочинил глупенькую песенку, и, при виде меня, молодежь города зудит:

Все пташки, канарейки
Прежалостно поют,
Хотя им ни копейки
За это не дают…

— «Эх, думаю, попал жук под копыто!» Так дразнят — на улицу показаться нельзя. Особенно — дьякон, освирепел, того и жди, отколотит. «Я, рычит, три года, а ты, негодяй…»

— Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю: «Что такое? За что?»

— Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.

— Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня: «Правда, что будто вы что-то написали в газеты про нас, про город?» — «Кто вам сказал?» Поежилась она и рассказала: «Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?»

— Подо мной земля колыхнулась: у-ю-юй, думаю. Там у меня и про акцизного, и про дьякона, про всех, без радости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи: «За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной, — так что я уж не знаю, как мне быть». Эх, думаю я.

— Иду к Малашину. «Отдай рукопись, пожалуйста!» — «Ну,

зачем она тебе, говорит, если ее забраковали!»

— Не отдал. Нравился мне этот человек; замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так же иногда приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками.

— Наступили святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чертом, в полушубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо — маску. Н-ну, плясали мы и все прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженых и кричат: «Ох, черт! Бей его!»

— Я — бежать. Конечно — догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит — хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим, и когда вспотел я, мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал — глаза лопнут. Однако — ничего, прошло.

— Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.

Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.

— Чем вы живете? — спросил я.

— Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.

И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой, он сказал:

— До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только вот одна ногу разбила мне…

Вздохнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:

— Самая любимая моя…

Ветеринар

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются на грудь. Из-под густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они прикрыты выцветшей широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903-м году в Седлеце, у М. А. Ромася, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном грязненьком домике извозчика-еврея; против окон этой печальной комнаты внушительно возвышались красные солиднейшие стены седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными, как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:

— Сура. Пива. Две.

Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького желтого комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крякнув, начал:

— Вот. Называется:

Несколько соображений по вопросу об усвояемости пищевых веществ едоками различных сословий.
Социально-экономический очерк.

Частию — рассказывая, иногда — читая, он в течение добрых полутора часов знакомил меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов. Ее выводы убедительно, длинными столбцами цифр утверждали, что чем выше стоит человек на ступенях социальной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее количество выбрасывает его кишечник ценных веществ не усвоенными организмом. А наиболее преступно ведут себя в этом отношении чиновники и особенно — юристы: желудок юриста переваривает менее 50 процентов поглощенной им пищи, всю же остальную извергает без пользы для себя и явно во вред хозяйству государства.

— Сидячая жизнь! — победно рычал Петренко. — Ненормальная деятельность желчной железы. Все чиновники — желчны.

Хлопая по страницам тетради широкой ладонью, с кустиками серых волос на сгибах пальцев, ветеринар торжествовал:

— Расчет таков: четыре фунта в день. Три пуда в месяц. Тридцать шесть в год. На едока. Двадцать пудов лишних. Беру среднюю продолжительность жизни едока минимально — тридцать лет. Хо!

И, понизив голос до глубочайшей октавы, он с гневом и ужасом загудел:

— Привилегированные сословия, о? Так называемые. Бесполезно уничтожают пищу, о! В количестве нескольких миллионов пудов в год. Грабеж, о!

Далее он неопровержимо доказал, что наиболее идеально усваивает питательные вещества желудок мужика, — в отбросах

мужицкого кишечника непереваренная пища почти совершенно отсутствует.

— Мужик усваивает всё. Целиком. До нуля!

Встал со стула и, махая рукой над головой моей, зафыркал:

— Цифры! Мужицкое слово «дармоеды» имеет глубочайший научный смысл. За мужика — цифры! Доказано цифрами. Кто может опровергнуть цифры? Правда всегда в цифрах. В корне точных наук — цифры!

Когда он произносил слово «цифры», его пышные усы победоносно раздувались. Он сел, вылил под усы стакан пива, вытер рот полою пальто и продолжал, стукая по тетради крепким пальцем:

— Здесь р-радикальное р-решение пр-роблемы р-рационального питания населения России. Понимаете? Хо-хо! Мы можем или сократить труд мужика на пятьдесят процентов, или кормить весь мир. На выбор. Потому что: мужик испражняется честно. Он честно переваривает пищу, о! Мужик — первоначальная субстанция всякого социального тела, о! Он святейшее. Всё — его плоть. Его кровь, о!

Снова вскочив со стула, он дважды стукнул кулаком в стену, тотчас же в приоткрытую дверь заглянули три рыженькие головки, три чумазые мордочки. Одна из них тоненьким голосом что-то спросила непонятными словами еврейского языка. Ветеринар вытащил откуда-то измятую рублевку и, показав детям четыре пальца, скомандовал:

— Четыре. Не бултыхайте.

Подбежал кудрявый мальчугашка лет семи, схватил бумажку, смачно плюнул на нее и стал аккуратно расправлять рублевку на ладони.

— Ша! — крикнул старик, но это не испугало детей.

Я спросил:

— Вы не читали статейку об идеалах и идолах?

— Не помню. Нет. Марксистская?

Глаза его расширились, нос покраснел, и над бровями явились тоже красные пятна.

— Маркса — не люблю. Марксистов — ненавижу. Враги народа. Еврейское учение. Я — антисемит. Юдофоб, о! Евреи — паразиты. Как все неземледельческие народы. Христианство — еврейская ловушка. Ницше — прав. Христос — яд. Обессиливает. Родина человека — земля. Человек — это мужик, всё от мужика, всё через мужика, о! Вот моя вера. Толстой путает. Вера — это когда просто. Просто и ясно. Юзова — знаете? Каблица? Читали? О! Честный мыслитель. Я его знал. В молодости. Мудрый человек. Любил. Знал. Верил.

Я спросил:

— Вы не пробовали напечатать ваши работы?

— Нет. Беден. Посылал в журналы. Не берут. Понятно! Интеллигенция. Паразитивное образование. В сущности, в глубине разума — относится к мужику враждебно. Рассматривает его как физическую силу. Как орудие. И — только. Мечтает его силой захватить власть, о! Шулера!

Он ударил по столу кулаком, стаканы, негодуя, зазвенели.

— Мужик чувствует это. Он не пойдет за интеллигенцией.

У него свой путь. Свой ум. Всё, что не он, — лишнее. Он знает это, о!

Вбежали дети. Старший тащил две бутылки, двое других — по одной. Старик, ухмыляясь, мягко заворчал:

— Мотька! Я ж сказал: не бултыхай бутылки!

И, погладив рыжие кудри мальчика, сунул в лапку его какие-то монеты, а когда тот, взвизгнув и подпрыгивая, убежал, ветеринар проводил его широчайшей улыбкой, говоря:

— Люблю этих. Честно переваривают пищу. Еврейские дети — милый народ, о!

— Вы же юдофоб?

Он, усмехаясь, мотнул головой:

— Теоретически. Конечно, евреи — ни к черту! Ужасно живут. Но — если дать им земли…

Навалился грудью на стол и, умоляюще глядя на меня светлейшими глазами фанатика, попросил:

— Дайте земли! Всем. Всю. Больше — ничего. Земли! Все остальное приложится. Жизнь начата мужиком. К идеалу приведет ее только мужик, о! Города — ошибка. История — ошибка. Надо все сначала…

Резким жестом он схватил бутылку и, наливая в стакан теплое пенное пиво, сказал более спокойно:

— Ничего! Мужик — всё поправит…

Потом он снова заговорил о рациональном усвоении пищи, долго рассказывал мне о премудрости желудков лошадей, коров, особенно восхищался желудком овцы и кончил речь свою густым, страстным восклицанием:

— Духовная энергия — результат работы желудка и кишок! Только это. Ничто иное, о!

А когда я уходил от него, он сказал, прощаясь:

— Надо честно переваривать пищу! В этом — всё. Мужик доказал это. Х-хо! И — как доказал!..

Пастух

Тимофей Борцов, сельский — села Вышенки — пастух, человек недюжинный: он немножко колдун и прорицатель, он — «коновал», но лечит и людей, он же «судья по семейным делам» и — как сам, ухмыляясь, именует себя — «соломенных дел мастер»: отлично плетет из соломы баульчики, коробочки, папиросницы и рамки, украшая их цветными бумажками и фольгой.

Солидные мужики говорят о нем почтительно:

— Это мужик круглого ума, он для нас — министр!

Молодежь боится его и зовет: дядя Тим.

Вообще село очень уважает Борцова за ум, справедливость, за трезвую жизнь и достаток. На сходах он первый человек, но говорит всегда последним, внимательно выслушав всех крикунов.

Когда он был еще подпаском, бык ударил его рогом в бедро, а в молодости рекрута перебили ему ребра, поэтому Борцов ходит, странно раскачивая свое крепкое тело, — как будто ему хочется лечь на землю правым боком и, прижав к земле ухо, подслушать что-то в ней, а земля этого не хочет и отталкивает его.

Ему — лет шестьдесят, но он кряжистый, широкогрудый, меднолицый; плотные белые зубы его все целы; в сивых волосах торчат рыжие клочья, — кажется, что он не седеет, а рыжеет. Волосы его так обильны и густы, что он не надевает шапку даже зимою, в морозы. Голос у него мощный для подпасков и скота, а с людьми он говорит медленно и как бы нарочито тихо, чтоб люди внимательнее слушали.

Но главное, он философ. Часто бывает в городе, продавая свои соломенные изделия, много видел, обо всем подумал.

С утра до вечера он сидит в поле, где-либо на холмике под тенью одинокой березы или на опушке леса, грозно покрикивает команду подпаскам и ловкими шерстяными пальцами неустанно плетет солому, — около него целый сноп.

— Отчего люди враздробь живут? — ставит он вопрос и сам же отвечает: — А это от причины грамоты. Раздробились люди с того дня, как удумали эту словесную грамоту, книжки всякие, законы, приказы. Вот. Ты приказываешь, а я не могу понять тебя, я ж неграмотен! Примерно: ты скотский доктор, вертиринал по-вашему, я тоже скот понимаю, а друг дружку мы не можем понять, тому мешает грамота. Да.

Я слушаю и смотрю в его двуцветную, рыже-сивую бороду, в ней запутался широкий нос обезьяны, из нее шильями торчат, хитроумно сверкая, зеленые, жабьи глаза. А рта — не видно. Когда Борцов говорит, заметно только, что в бороде его что-то шевелится и бело просвечивает сквозь волосы холодная полоска зубов.

— И стоишь ты супротив меня человеком чужого языка, вроде

немца. Так же и становой и всякий другой чин. Ежели он по-матерному лает, ну, это я понять могу, а как он только грамотно заговорит, — тут промеж нас овраг! Я — по ту сторону, он по эту, и друг друга не слышим. Или же — поп: разве кто понимает, что он в церкви кричит? В церкви, как во сне, очень желанно, ну а понять невозможно ничего. Тоже и учителя: ребятишек скучат да скуке и учат, года-а! Это очень полезно, что ребятишки на возрасте забывают грамоту, а то бы и мужики друг дружку понимать перестали. Видишь? Главный вред людям это от нее, от грамоты.

Я пытаюсь убедить его в противном, однако — безуспешно. Прищурив, спрятав хитренькие глазки, он слушал речь мою молча и надувал губы так, что усы мохнатым клоком выдвигались из бороды. Лицо его становилось глупым, качая упрямой башкой, он говорил сожалительно:

— Ах ты, господи! Ну, что тут делать? Не понимаю! Самых слов твоих не понимаю, не токмо — мыслей. Ты гляди, какие слова, а? Ты говоришь: наука, а я слышу — паука и сейчас тебя самого пауком вижу и будто ты меня, как муху, оплетаешь паутинкой. И еще ты говоришь, чтобы все были грамотны. Так это же безрассудок, на всех грамоты не хватит. Да и пищи не хватит, что ты! Ай-яй, до чего грамота доводит, ая-яй!

Конечно, я понимал, что пастух издевается надо мной, но я был тоже упрям, мне хотелось преодолеть упрямство дяди Тима. Видимо, это нравилось ему, он говорил со мной все более ласково и охотно.

Но после одного его рассказа я отскочил от Борцова, как мяч, отбитый палкой.

Сидел он вечером, после заката солнца, на скамье у ворот избы своей, пред избою; в темно-зеленой маслянистой воде пруда квакали лягушки, над нами ныли комары. Борцов отбирал из снопа стебли соломы и ленивенько философствовал, поучая меня:

— Ну, ладно; давай согласимся: нужен хороший человек. А — каков он, если хорош? Скажем так: людей-жителей не грабит, милостину подает, хозяйствует усердно — вот это будет самый хороший. Он законы знает: чужого — не трогай, свое — береги; не всё жри сам, дай кусок и псам; потеплее оденься, тогда и на бога надейся — вот он что знает. Это — самонужная его грамота. Таким человеком и держится наша держава, покоритель всех языков. Этот самый держалец земли всю вселенную кормит, и к нему всяк народ идет: немец разный, француз и турка — все к нему лезут. Даже, сам знаешь, завоевать хотели сколько раз: обворужатся чем лучше и прямо на Москву лезут охально. А он сидит смирно, ждет. Да. Подкатятся они, двенадцать языков, а то

и побольше, тут он встанет да кэ-эк бабахнет! И все наступатели эти пылью рассыпятся, — больше ничего. И — никакой об них памяти. Будто — были, а — уж нет! И — с годами — все меньше наступателей этих, а нас — все больше, прямо и девать некуда. Вот.

— По твоим же словам выходит, что хороший человек просто бессчастный и даже вроде полуумного. Какое его дело? Никаких делов за ним не видать. Какая от него польза? Орет без ума чего не надо, и за то его садют в тюрьму, — вот как по твоим речам объясняется этот человек.

— Я таких знавал, я множество знаю всякой юрунды. Мне даже сам его благородие исправник не раз, не два говорил: «Много ты, Борцов, знаешь, умная башка у тебя». Я, конечно, ему низенько кланяюсь, а про себя знаю: дурак он. Жена у него без ног семь лет, а он сидит над ней, как сытый пес над падалью. И даже помер в один год с ней; говорили, будто с тоски. Про него тоже был слух: хорош человек. А хорошего у него одно было: лошадь. Я ей кровь спускал. Мерин. Крепкий, во всех статях, как литой.

— Самый смешной из хороших этих был сын помещицы нашей Дубровиной, Ольги Николавны; распутная баба была, муж бросил ее, за границу скрылся даже. Остроносая такая, бойкая.

В очках ходила, очки на черной нитке, а нитка за ухо привязана. «Я, говорит, доктор». Лечила некоторых. Ей, на пожаре, ногу переломили, стала тише после этого.

— А сын ее, Митя, дружком моим был, ребятишками живучи, вместе баловали. Потом он скрылся учиться и долгие годы не видать было его. Вдруг — будто из болота выскочил; я тогда уже пастухом был, сижу на опушке, дудки режу, а он и бежит. «Узнал ты меня?» — спрашивает. Длинный, худой стал, облысел и тоже в очках, как мать. В руке палка с кисейным колпаком, через плечо, на ремне, жестяная коробка, ножки тоненькие — совсем паяц! Мотыльков ловит, жуков и травы собирает, будто колдун. Говорит со мной по старинке, как с мальчишком: помнишь, спрашивает, помнишь? Вижу: дураком выучился Митя; мне и вспоминать стыдно, я уж в ту пору женат был. «Что, пытаю, делаешь, Митрий Павлыч?» — «Книжки, говорит, пишу про насекомую жизнь». — «Так, говорю. Занятия приятная».

— Присмотрелся — вижу — добрый он, как пьяный, ничего ему не жаль. Начали мужики щипать его: тот просит, этот тянет. Я — тоже. Шляпу соломенную выпросил у него, очень хорошая шляпа была, я от нее и выучился крутить из соломы разное безделье. Ну, конечно, по дружбе и деньги брал. Ножик тоже выпросил замечательный.

— Ума он был мышиного, заучился до без рассудка. Бывало, скажет: «Комар лихоманки разносит, берегись, говорит, комара!» Я, конечно, не смеюсь, а будто верю, спрашиваю: как так? Тут он и начнет плетенку плести, а, господи! Скажет тыщу слов, а смыслу с птичий нос. А то заведет речь насчет мужиков: трудно жить мужикам. В этот час и проси у него чего хошь: трудно, так ты помоги! Тут он хоть сто рублей даст, — жалостлив был, как баба. Гляжу я на него, думаю: «Хоть ты вдвойне зряч, а живешь ты зря! Чего тебе надо? Обут-одет хорошо, ешь — скусно, землишку в аренду сдаешь, деньжонки есть, чего тебе еще, болван тесаный, идол мордовский?» И — зло у меня на него.

— Ловит он насекомую мелочь, принюхивается ко всему, а я его направляю куда похуже, в болота, а у нас там промеж кочек колодцы глубоченные, — гляди в оба! Бывало, не доглядят подпаски, забредет теленок, а то овца, ну и — поминай, как звали! Засасывает их. Конечно, и он попадал в эдакие места, увязнет и орет.

Пастух нахмурил лоб и, раздирая пальцами бороду, продолжал тише, с явной досадой:

— Однова вперся он по шею, вытащили его, снял одежу, повесил на кусты сушить. А я и говорю подпаску: «Николка, поди спрячь бариновы штаны». Мальчишке лестно поозорничать, спрятал он обои штаны, а дело было к закату, я велел стадо гнать домой, и пришлось барину без штанов гулять, день был праздничный, везде — бабы, девки, — смех! Ну, это вышло мне плохо. Проболтался Николка, что это я пошутил, дошла выдумка моя до дружка, прибежал он ко мне и давай заговаривать меня. До того много говорил, что даже рожа покраснела и чуть слезы не текут у него. «Я, говорит, тебе и то и сё, а ты мне — что, а?» С того дня рушилась наша дружба, перестал он знать меня да, кстати, захворал вскоре, а к весне и скончался в городе. Чахоточный…

— Ну, вот тебе и добрый человек, а — чем он хорош? Куда его, для какого дела? Он мне — как заноза в пальце. И немало таких видел я промеж господ. Сказано: промеж господ не зверь, так скот. Теленок. Был учитель у нас, Петр Александров, так до того заучился, что начал парням внушать: всему горю причина — царь. Неизвестно, чем его царь обидел. А Федька Савин, теперешний волостной старшина, догадался да — в город, да в полицию, Федьке золотую монету в семь с полтиной дали, а учителя ночью жандармы увезли. Да — мало ли чего было!

— Опять говорю: грамотные — безумного характера люди, путаники. Пользы от них я не видал ни зерна, а досады — много. Вот и ты: человек здоровый, в подходе к людям — простой, даже

кое-что понимать можешь. А все-таки есть в тебе опасное и понять тебя не могу я. Чего тебе надо? Мне вот кисет надо для табаку, кожаный бы. Ну, я знаю, попроси у тебя кисет, ты купишь и дашь. Так ведь это оттого, что у тебя деньга дешевая, — у вас, грамотных, вся ваша доброта от дешевой деньги, она вам легко дается. А чего тебе надо, ты, поди-ка, и сам не знаешь. У меня же все ясно, как при свечке. Я, примерно скажем, прямой шосой иду, а ты проселками околобродишь.

Пастух закрыл глаза, запрокинул голову, выгнув мохнатый кадык, и выпустил из бороды странные, рыкающие звуки, — это он смеялся. Потом, поковыряв глаза пальцем, снова заговорил:

— Вот намедни ты непотребно сказал: земля вертится. Это я и до тебя слыхал. Это потому она вертится, что у вас у всех башки от грамоты закружились. А вы кричите: ай, земля вертится! Ох, вертится! Земля — врешь! — вертеться не смеет, этого человек не может терпеть.

Победоносно сверкнув глазами, Борцов поглядел на красный круг луны в небесах, уставился на ее отражение в маслянистой воде пруда.

— Тебе вот неизвестно — какова завтра погода будет, а я знаю: быть завтра плохой погоде! Какой тому знак? Опять ты этого не понимаешь, а я тебе не скажу.

Свертывая папиросу, он добавил хвастливо:

— Пастух всегда погоду чует…

В этот вечер Борцов стал неприятен мне, я потерял охоту видеть его, и несколько месяцев мы не встречались.

Но вдруг я узнаю, — не помню от кого, — что у пастуха есть двое племянников-сирот и оба они учатся на его средства, один — в Казанском ветеринарном институте, другой — во Владимире, в гимназии.

Встретив Борцова в магазине кустарных изделий, я упрекнул его:

— Ты зачем же это, дядя Тим, врал мне? Грамоту отрицаешь, а сам племянников учишь, да еще где!

Он прищурил жабьи глазки и, шевеля бородой, ответил:

— А — кем я обязан правду тебе говорить? К тому же за правду — бьют!

Засмеялся смехом лешего, покачиваясь на ногах, подмигивая, тихонько, сквозь смех, говоря:

— Племяши-то мои — кровные мне, а ты — чужой человек, вроде прохожего нищего. Я и действую в свою пользу, как всякий человек с разумом. Мои пускай учатся, а чужим — не надо. Понял? Ну, то-то…

Положил на плечо мое тяжелую лапу и милостиво,

поучительно добавил:

— Сказано: свой своему поневоле брат. Ну, я и радею своим. Али мне не желается господами видеть своих-то? Мы, чуешь, из господ, только — самый испод. Ну-кось, закурим, блажен муж…

Закурили. Я одобрительно сказал:

— Ловко ты, дядя Тим, обманывал меня! Хороший ты актер.

Это не понравилось ему, он заворчал:

— Опять невнятное слово! Чудак, ей-богу! Что тебе — труднее по-людски, по-русски то же слово сказать: паяц… Навыки у вас, грамотных, вовсе обезьяньи…

Дора

Восемь человек туберкулезных, — а это наиболее капризные люди: повысится температура тела на две, три десятых, и человек почти невменяем от страха, уныния, злости.

Бацилла туберкулеза обладает ироническим свойством: убивая, она раздражает жажду жизни; об этом говорит повышенный эротизм, сопутствующий фтизису, и, часто, бодрая, предсмертная уверенность безнадежно больных в том, что они выздоравливают. Кажется, патолог Штрюмпель назвал это состояние «надеждою фтизиков».

Восемь человек больных, в одном из пансионов Крыма, обслуживала горничная Дора, человек неизвестного племени; иногда она выдавала себя за эстонку, иногда — за «корельку». Но говорила она языком тавричанки, то — с татарским акцентом, то — с армянским.

Она — огромная, толстая, но легка на ногу, движения ее ловки и быстры. У нее доброе лицо лошади, красные губы растянуты жирной улыбкой, маслом этой улыбки налиты и ее большие глаза странного сиреневого цвета. Когда она задумывалась, туповатые эти глаза тускнели, и взгляд их приобретал свинцовую тяжесть.

Она была безграмотна и глупа, особенно глупа тогда, когда ей хотелось схитрить. Больные так и звали ее — не очень остроумно: дура.

Но — это не обижало толстую девушку, не гасило ее улыбку, отношение Доры к больным было снисходительно, как отношение матери к детям. И когда чахоточные мужчины жадно цапали серыми потными руками ее здоровое, полное горячей крови тело, она спокойно отводила красной ручищей своей эти потные, жалкие руки умирающих:

— Не лапайте, вам баловать вредно.

За нею настойчиво ухаживали солидные люди: лавочники,

подрядчики и суровый, крепкий рыбак-вдовец, их привлекала ее грубая красота, сила, неутомимость в труде, ровный характер, каждому хотелось взять себе в работу на всю жизнь это спокойное, кроткое, человекоподобное существо. Но ее отношение к мужчинам напоминало о человеке свободном, богатом, который хорошо знает, когда и как лучше затратить свой капитал. Она отказывала женихам с тою же неумной, но успокаивающей улыбкой, с какою выслушивала бесконечные капризы больных и отталкивала от груди своей их назойливые ласки.

Ей было жарко даже в те дни, когда свистел северный ветер или туман обнимал мутной сыростью пансион, маленький домик на горе, и больные, кутаясь в пледы, в пальто, проклинали погоду. Ночами, уложив всех нас спать, Дора кутала голову черным платком с красной розой в одном его углу, выходила на террасу и там, стоя на коленях, глядя в небо, долго молилась, вздыхая под моим окном:

— О, пресвятая матерь… Христе, боже наш! И ты, великий угодник Никола…

Наклонностей к поэзии, к лирике не замечалось у Доры. Она не любила цветы, находя, что от них много сора в комнатах, а когда как-то ночью поповна, умиравшая от туберкулеза кишок, восхищалась великолепием неба и звезд, Дора уничтожила ее восторг тремя словами:

— Небо — как яичница…

Приехал девятый больной. С великим трудом, задыхаясь, он вошел по лестнице на террасу и, держась за конец перил, сказал Доре:

— Вот какой франт, — хорош?

Это было сказано и жалобно, и весело. Улыбаясь, он глядел на огромную девушку, на бугры ее мощных грудей.

— Ого, какая здоровая, — хрипел он, быстро и часто глотая воздух. — Ну, вы меня вылечите, так?

— А — конечно, — сказала Дора, по-армянски исковеркав слово.

У него было совиное лицо, с круглыми, кошачьими глазами, загнутым книзу носом, с черненькими усиками, лицо злое и насмешливое.

С этого дня Дора волшебно и очень невыгодно для нас, больных, изменилась: стала забывать наши просьбы, комнаты убирала торопливо и небрежно, в ответ на жалобы и упреки сердито мычала, и что-то пьяное явилось в ее лошадиных глазах. Она как будто оглохла, ослепла и все озабоченно склоняла голову вбок, к террасе, где лежал, задыхаясь и кашляя, маленький

студент Филиппов, похожий на сову. Каждую свободную минуту она бежала к нему, а после заката солнца пряталась в комнате студента, и тогда уж трудно было вызвать ее оттуда.

А он — умирал. Очень необычно умирал: посмеиваясь, пошучивая, пытаясь насвистывать мотивы опереток, чему мешал его кашель. Было в нем что-то деланное: задорное, даже циническое, но сделано это было искусно.

— Как вам нравятся, коллега, эти маленькие нелепости? — спрашивал он меня, подмигивая кошачьим глазом. — Как нравится вам все это: день, ночь, рождение, любовь, знание, смерть, а? Забавно, не правда ли? Не спа[4], как спрашивают французы. Особенно забавно для человека двадцати шести лет от роду, — это я говорю о себе… Дора!

Где-то раздавался стук посуды или грохот мебели, являлась Дора и, вытаращив глаза, молча ждала, что прикажет ей этот человек.

— Добрейшая слониха моя, принесите-ка мне винограда — живо! — командовал он и говорил мне:

— Весьма непросвещенная и даже тупая личность.

Он ненавидел всех больных и едко высмеивал комическое в каждом. Его тоже не любили. Со мною он подружился, потому что любил литературу, это очень сближало нас.

— Литература — лучшая из всех выдумок человека, — говорил он, облизывая губы серым языком. — И чем она дальше от жизни — тем лучше…

Мне казалось, что он умирает не столько от туберкулеза, сколько от какого-то тяжелого удара по душе.

Умер он на шестьдесят девятый день своей жизни в пансионе и, умирая, бредил:

— Фима — всю жизнь… только тебя… тебя люблю… всегда, о, Фимочка…

Я сидел на койке у ног его, а Дора угрюмо стояла у головы студента: всхлипывая, она гладила широчайшей лапой своей сухие волосы умиравшего. Под мышкой у нее был зажат какой-то сверток.

— Что говорит он? — спросила она, беспокойно выпрямляясь. — Шо воно таке — Хвима?

— Очевидно — девушка или женщина, которую он любил, любит.

— Он? Этую — Хвиму? — громко и удивленно спросила Дора. — Ни, он же мене любит. Он же, как приихал, так тут меня и полюбив…

Но, прислушавшись еще к бреду студента Филиппова, она высоко подняла белесые брови, вытерла передником мокрое лицо

свое, бросив сверток на колени мне, сказала:

— Это — смертное ему: порты, рубаха, туфли.

И тихонько ушла.

Минут через двадцать студент Филиппов перестал бредить. Он очень серьезно посмотрел в черный квадрат окна на белой стене, вздохнул, хотел — как мне показалось — что-то сказать, но — поперхнулся, и его маленькое, сожженное до костей тело спокойно вытянулось.

Я пошел искать Дору. Она стояла на террасе, глядя вниз, где небо и море, неразличимые, были одинаково темны. Она обратила встречу мне толстое лицо свое, и я был удивлен, увидав, как сурово это лицо.

— Умер. Идите одеть его, Дора.

— Не хочу.

Дора стала шаркать ногою, как бы растирая плевок.

— Не хочу, — повторила она. — Даже и видеть такого — не желаю. Вы смотрите — какой! Говорил — мене любит, а сам…

— Но ведь вы же видели, что он умирает…

— Ну и что ж? А — конечно, видела — разве ж я слепа? Я на свои гроши даже и смертное купила ему. Я сразу видела, как он приехал: ох, подумала я… умирает! Все — умирают. А — зачем обманывал: «Я, говорит, никогда не любил девушку». Ну на, вот тебе девушка… Ты умирай, да не обманывай…

Говорила она негромко и как будто думая не о том, что говорит. И вдруг — всхлипнула с такой болью, точно проглотила полную чашу горячей влаги и жестоко обожглась.

— Пойдемте, Дора!

— Идить, одевайте его сами, коли вы такой добрый. А я — нет. Не хочу. Что он мне был — забава?

— Я не умею одевать покойников…

— А мне что? Я ж ему чужая.

— Да ведь — умер он.

— Ну так что? Не уговаривайте мене, не хочу я видеть такого. Не обманывай…

Так она и не пошла одеть усопшего, осталась на террасе.

Обряжая студента Филиппова, я услышал тихий, но потрясающий вой. Выскочил на террасу.

Есть у человека эдакие особенные, кипучие, бешеные слезы — этими слезами и плакала Дора, стоя на коленях, гулко стукаясь головою о перила, плакала и выла, с визгом, выговаривая нелепые, неестественные слова:

— Обида ж ты моя… уродушка… детеныш… дитя незабенная…

Люди наедине сами с собой

Сегодня наблюдал, как маленькая дама в кремовых чулках, блондинка, с недоконченным лицом девочки, стоя на Троицком мосту, держась за перила руками в сереньких перчатках и как бы готовясь прыгнуть в Неву, показывала луне острый алый язычок свой. Старая, хитрая лиса небес прокрадывалась в небо сквозь тучу грязного дыма, была она очень велика и краснолица, точно пьяная. Дама дразнила ее совершенно серьезно и даже мстительно, — так показалось мне.

Дама воскресила в памяти моей некоторые «странности», они издавна и всегда смущали меня. Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его безумным — не находя другого слова.

Впервые я заметил это еще будучи подростком: клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным коридором цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В коридоре не было ни души, я сидел в баке для воды над головою Рондаля, он не мог видеть меня, да и я не слышал его шагов, я случайно высунул голову из бака как раз в тот момент, когда клоун раскланивался сам с собою. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун — да еще англичанин — человек, ремесло или искусство которого — эксцентризм…

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой, и я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидав меня на крыльце, сказал, ухмыляясь:

— Здравствуйте! Вы читали у Бальмонта: «Солнце пахнет травами»? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом…

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.

Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял пред нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице:

— А мне — нехорошо.

Профессор М. М. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе:

— Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью, стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом, похожим на зародыш хобота.

Мне рассказывали, что однажды кто-то застал Н. С. Лескова за такой работой: сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее в фарфоровую полоскательницу и, «преклоня ухо» над нею, слушал: даст ли вата звук, падая на фарфор?

Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

— Ну, — иди!

Спрашивал:

— Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

— То-то! Без меня — никуда не пойдешь!

— Что вы делаете, отец Федор? — осведомился я, войдя в комнату.

Внимательно посмотрев на меня, он объяснил:

— А вот — сапог! Стоптался. Ныне и обувь плохо стали тачать…

Я неоднократно наблюдал, как люди смеются и плачут наедине сами с собою. Один литератор, совершенно, трезвый, да и вообще мало пьющий, плакал, насвистывая мотив шарманки:

Выхожу один я на дорогу…

Свистел он плохо, потому что всхлипывал, как женщина, и у него дрожали губы. Из его глаз медленно катились капельки слез, прячась в темных волосах бороды и усов. Плакал он в номере гостиницы, стоя спиной к окну, и широко разводил руками, делая плавательные движения, но — не ради гимнастики, размахи рук были медленны, бессильны, неритмичны.

Но — это не очень странно: плач, смех — выражения понятных настроений, это не смущает. Не смущают и одинокие ночные молитвы людей в полях, в лесу, в степи и на море. Совершенно определенное впечатление безумных вызывают онанисты, это тоже естественно, почти всегда противно, но порою

— очень смешно. И — жутко тоже.

Курсистка-медичка, очень неприятная барышня, самоуверенная и хвастунья, начитавшаяся Ницше до очумелости, грубо и наивно рисовалась атеизмом, но — онанировала перед снимком с картины Крамского «Христос в пустыне».

— О, иди! — тихонько и томно стонала она. — Милый, несчастный — иди же, иди!

Потом она вышла замуж за богатого купца, родила ему двух мальчиков и уехала от него с цирковым борцом.

Мой сосед по комнате в «Княжем дворе», помещик из Воронежа, ночью, совершенно трезвый, полураздетый, ошибкой вошел ко мне; я лежал на постели, погасив огонь, комната была полна лунным светом, и сквозь дыру в занавесе я видел сухое лицо, улыбку на нем и слышал тихий диалог человека с самим собою:

— Кто это?

— Я.

— Это не ваш номер.

— Ах, извините!

— Пожалуйста.

Он замолчал, осмотрел комнату, поправил усы, глядя в зеркало, и тихонько запел:

— Не туда попал, пал, пал! Как же это я — а? а?

После этого ему следовало уйти, но он взял со стола книгу, поставил ее крышей — переплетом вверх — и, глядя на улицу, полным голосом сказал, кого-то упрекая:

— Светло, как днем; а день был темный, скверный, — эх! Устроено…

Но — ушел он «на цыпочках», балансируя руками, и притворил дверь за собою с великой осторожностью, бесшумно.

Когда ребенок пытается снять пальцами рисунок со страницы книги, — в этом нет ничего удивительного, однако странно видеть, если этим занимается ученый человек, профессор, оглядываясь и прислушиваясь: не идет ли кто?

Он, видимо, был уверен, что напечатанный рисунок можно снять с бумаги и спрятать его в карман жилета. Раза два он находил, что это удалось ему, — брал что-то со страницы книги и двумя пальцами, как монету, пытался сунуть в карман, но, посмотрев на пальцы, хмурился, рассматривал рисунок на свет и снова начинал усердно сковыривать напечатанное, это все-таки не удалось ему; отшвырнув книгу, он поспешно ушел, сердито топая.

Я очень тщательно просмотрел всю книгу: техническое сочинение на немецком языке, иллюстрированное снимками

различных электродвигателей и частей их, в книге не было ни одного наклеенного рисунка, а известно, что напечатанное нельзя снять с бумаги пальцами и положить в карман. Вероятно, и профессор знал это, хотя он не техник, а гуманист.

Женщины нередко беседуют сами с собою, раскладывая пасьянсы и «делая туалет», но я минут пять следил, как интеллигентная женщина, кушая в одиночестве шоколадные конфекты, говорила каждой из них, схватив ее щипчиками:

— А я тебя съем!

Съест и спросит: кого?

— Что — съела?

Потом — снова:

— А я тебя съем!

— Что — съела?

Занималась она этим, сидя в кресле у окна, было часов пять летнего вечера, с улицы в комнату набивался пыльный шум жизни большого города. Лицо женщины было серьезно, серовато-синие глаза ее сосредоточенно смотрели в коробку на коленях ее.

В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

— И — надо умереть?

В фойе никого уже не было, только я, тоже запоздавший войти в зал, но она не видела меня, да и увидав, надеюсь, не поставила бы предо мной этот, несколько неуместный, вопрос.

Много наблюдал я таких «странностей».

К тому же:

А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной литературе», писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть удивленными, глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

— Я опоздал?

Из дневника

Убийственно тоскливы ночи финской осени. В саду — злой ведьмой шепчет дождь; он сыплется третьи сутки и, видимо, не перестанет завтра, не перестанет до зимы.

Порывисто, как огромная издыхающая собака, воет ветер. Мокрую тьму пронзают лучи прожекторов; голубые холодные

полосы призрачного света пронзает серый бисер дождевых капель. Тоска. И — люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению.

Облаков изорванные клочья
Гонят в небо желтую луну;
Видно, снова этой жуткой ночью
Я ни на минуту не усну.
Ветвь сосны в окно мое стучится.
Я лежу в постели, сам не свой,
Бьется мое сердце, словно птица, —
Маленькая птица пред совой.

Думы мои тяжко упрямы,
Думы мои холодны, как лед.
Черная лапа о раму
Глухо, точно в бубен, бьет.
Гибкие, мохнатые змеи —
Тени дрожат на полу,
Трепетно вытягивают шеи,
Прячутся проворно в углу.

Сквозь стекла синие окна
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно-синих.
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Ткет в сердце черных мыслей нитки.

Диск луны, уродливо изломан,
Тонет в бездонной черной яме.
В поле золотая солома
Вспыхивает желтыми огнями.

Комната наполнена мраком,
Вот он исчез пред луной.
Дьявол вопросительным знаком
Молча встает предо мной.

Что я тебе, дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью

Жарко разжечь сумел!

Вот — вооруженными скотами
Всюду ощетинилась земля
И цветет кровавыми цветами,
Злобу твою, дьявол, веселя!

Бешеные вопли, стоны,
Ненависти дикий вой,
Делателей трупов миллионы —
Это ли не праздник твой?

Сокрушая труд тысячелетий,
Не щадя ни храма, ни дворца,
Хлещут землю огненные плети
Стали, железа, свинца.

Всё, чем гордился разум,
Что нам для счастия дано,
Вихрем кровавым сразу
В прах и пыль обращено.

На путях к свободе, счастью —
Ненависти дымный яд.
Чавкает кровавой пастью
Смерть, как безумная свинья.

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?

Смешное

…И на войне смешное бывает: вот, примерно, — пошли мы, пятеро, в лес за дровами, а тут ка-ак бабахнет оземь эдакая немецкая тетка! Меня бросило в ямину, засыпало землей, застукало камнями; очнулся, лежу, думаю: «Ну, шабаш, пропал, ты, Семен!» Оклемался, протер глаза, а — товарищей нету, деревья ободраны и кое на которых сучьях кишки висят. Тут я — хохотать! Уж больно забавно это — кишки-те на сучках. После — стало мне несколько скушно. Тоже ведь люди были, товарищи-те, вроде как я все-таки. И сразу — ни одного нет, будто и не было.

Ну, а сначала — здорово смеялся я!

Пришли это мы в деревеньку, а в ней, всего-навсе, три хаты, у одной — старуха сидит, невдале — корова ходя. Говорим: «Бабка, это чия скотина будеть, али — твоя?» Она — плакать, она вопить, и на колени встаеть, и всяко. «Внуки, бает, у меня в погребе сидять и должны теперь сдохнуть». — «Не вопи, говорим, мы тебе по этому делу записку оставим». А был с нами, нашей же роты, парень костромской — вор вором, он и напиши записку: «Эта самая старуха прожила девяносто лет да еще столько же собирается, ну того ей не удастся». И подписался, сукин сын: «Бог Господь».

Сунули ей записку, а корову забрали с собой и пошли. И так хохотали над этим случаем, что идти было трудно, — остановимся и грохочем, аж слезы текуть.

Герой

…На обрывке «Нового времени» от 14-го июня 1915 года я прочитал:

Поднимаю перископ, смотрю, вижу зеленую волнующуюся рожь и синие пятна васильков, раскиданные посреди нее. Несколько дальше дорога, обсаженная деревьями. Поперек ее и дальше, через все поле, тянется низенький валик желтой земли. Это и есть вражеский окоп. Там сидят немцы. Отсюда до них будет шагов двести.

Я спрашиваю:

— Можно ли увидеть отсюда немецкую каску, над гребнем вала?

Можно, но это бывает редко, очень редко, особенно днем. У нас тоже шутить не любят и следят за противником в оба глаза. Есть такие специалисты. И тут же мне показывают одного из них.

Маленький, невзрачный солдатик, на вид сонный и вялый, сидит неподвижно у бойницы, защищенный от пуль неприятеля стальным щитом. Сидит и пристально смотрит в щелку. В этом положении он проводит целые дни. Никто его не назначал сюда, никто его не принуждает, а просто у него уж такое пристрастие. Как раз в эту бойницу, и только в нее, видна лощинка, по которой немцы ходят за водой. Ходят, разумеется, согнувшись, но, если кто-либо из них выпрямится раньше времени, его можно заметить. И тогда — хлоп!

Винтовка лежит тут же наготове, — навести ее и спустить курок — дело двух секунд. Промахов не бывает.

— Пленные утверждают, — говорит офицер, — что эта тропинка называется у них дорожкою смерти. За последние недели там убито около сорока человек. И подумать — всё работа того господина.

«Господин» слушает наш разговор совершенно безучастно, словно он не его касается. Его равнодушные, как бы заспанные глаза прикованы к отверстию в щите.

Этот механический истребитель себе подобных напомнил мне другого «господина», не менее серьезного.

В купе было шесть человек, но на станции Волхов влез, согнувшись, еще один — коренастый, широкоплечий солдат с тяжелым мешком за спиной. Сложив мешок на колени моего соседа, он поправил на груди своей крест Георгия и, шевеля губами, внимательно осмотрел нас.

— Шестеро, — сказал он. — Правильно. Однако — потеснитесь.

Сосед мой, чиновник таможни, сердито заворчал:

— Как же тут потесниться?

— Для героя можно! Герой должен получить место.

Герой отжал чиновника сначала коленом, потом втиснулся на диван и раздвинул нас своими бедрами…

— Вот и готово.

Его толстое лицо было выбрито до синевы, так же, как и шишковатый череп. Редкие черные брови казались выщипанными, из-под них смотрели кругленькие, выпуклые и точно вымороженные рыбьи глазки.

Вагон дернуло, покачнуло; полусонные люди, поворчав, примолкли. Солдат отважно закурил папиросу, а я — задремал, прислушиваясь, сквозь дрему, к его беседе с рыжим человеком, сидевшим против меня.

— Агромаднейший интерес для всех в этой войне, — говорил усатый; солдат отхаркнул, плюнул и подтвердил:

— Правильно.

— Главное — оживление жизни от нее… И во все стороны — свободный ход.

— Правильно, господин!

— Хоша, конечно, многих убивают…

— Ну, человек во всех случаях может умереть…

И после этого предисловия внушительно и одиноко зазвучал, под шум колес, сиповатый голос солдата:

— Хоша бы взять меня: был я обыкновенный, штатский

человек, вроде вас, пять годов гонял плоты, а теперь, по случаю большой убыли командного состава, сдам экзаменты и буду унтер-офицером. Вот — еду сдавать. Раненый лежал, — учился. Отличаюсь строгостью характера и верным глазом. Злодейский глаз имею, такое утешение мне от бога глаз мой, что даже сам удивляюсь — за что? Стрельбой моей господа офицеры, призовые стрелки, любоваться приходили, такая правильная стрельба! До первой моей раны двадцать девять немцев положил я. Это — счет честный, я не сам убитых считал, потому — заметно стало мне: когда сам считаешь — промахиваешься. Другой охотник за всю жизнь зайцев столько не убьет, сколько я в один годок людей наколотил. Конечно, человек не заяц, не утка, однако ж ведь редко приходится стрелять по всей его туше, а всего больше в голову бьешь, когда она высунется из окопчика или покатится по ходам сообщения. Я, видите, в окопчике действовал, приснастился к бойнице, перед окопчиком болотце неширокое, шагов в сотню, а за болотцем — он, немец этот. Позиция там, прямо скажу, была неудобная для них. Один раз я в день восемь штук положил.

Солдат засмеялся рыгающим, киргизским смехом и шумно вздохнул:

— Очень удивляюсь подвигу моему!

Я посмотрел на него. В сумраке осеннего утра голое круглое лицо героя лоснилось, точно салом смазанное, сладостной гордостью, рыбьи глазки счастливо улыбались.

Я рассказал об этом солдате знакомому священнику и услышал в ответ:

— Чем же возмущаетесь? Если мы верим в неизбежность того, что делаем, — мы должны делать это отлично. И если господь наш допускает грозную кару войны, — значит: обязаны мы принять допущение это как закон. Если же закон, то — уж извините! — господь не жесточе нас, а посему: исполним волю его покорно и, повторю, отлично…

Был этот священник маленький, сухонький, детские, светлые глаза его смотрели печально. Опустив их, он тихонько повторил:

— Господь — не жесточе нас…

О войне и революции

Московский извозчик: шерстяная безглазая рожа; лошадь у него — помесь верблюда и овцы. На голове извозчика мятая, рваная шапка, синий кафтан под мышками тоже разорван, из дыры валяного сапога высунулся — дразнит — грязный кусок онучи. Можно думать — что человек этот украсил себя

лохмотьями нарочито, напоказ: «Глядите, до чего я есть бедный!»

Он сидит на козлах боком, крестится на все церкви и ленивенько рассказывает о дороговизне жизни, не жалуется, а просто рассказывает сиповатым голосом.

Спрашиваю его: что он думает о войне?

— Нам — что думать? Царь воюет, ему и думать.

— Газеты — читаете?

— Мы — не читающие. Иной раз в чайной послушаешь: отступили, наступили. Газета — что? У нас в деревне мужик один врет много, так его зовут — Газета.

Он чешет кнутовищем под мышкой и спрашивает:

— Бьет нас немец?

— Бьет.

— А у кого народу больше: у нас али у него?

— У нас.

Помахивая кнутом над шершавым крупом лошади, он философски спокойно говорит:

— Вот видишь: в воде масло не тонет…

Парикмахер, брея зеленого таможенного чиновника, уверенно говорит:

— Ко-онечно, немцы вздуют нас, они нас всегда били…

Чиновник возражает: нет, били и мы их, например, при императрице Елизавете нами даже Берлин был взят.

— Не слыхал, — говорит парикмахер. — Хоша сам — солдат, но про этот случай — не слыхал!

И — догадывается:

— Может, это для утешения нашего выдумано, чтобы дух поднять?

А в прошлом году, после объявления войны, этот парикмахер рассказывал мне, как он стоял на коленях перед Зимним дворцом и, обливаясь слезами, пел «Боже, царя храни».

— Душа пела в этот час великой радости…

В саду, против Народного дома, группа разнообразных людей слушает бойкую речь маленького солдатика. Голова его забинтована, светлые глазки вдохновенно блестят, он хватает людей руками, заботясь, чтоб его слушали внимательно, и высоким тенорком сеет слова:

— Фактически — мы, конечно, сильнее, а во всем остальном нам против них — не устоять! Немец воюет с расчетом, он солдата бережно тратит, а у нас — ура! И вали в котел всю крупу сразу…

Большой, крепкий мужик, в рваной поддевке, говорит веско и

басовито:

— У нас, слава богу, людей даже девать некуда; у нас другой расчет: сделать так, чтоб просторнее жилось.

Сказал и смачно зевнул. Хотелось бы слышать в его словах иронию, но — лицо у него каменное, глаза спокойно-сонны. Серенький, мятый человечек вторит ему:

— Верно! Для того и война: или землю чужую захватить, или народу убавить.

А солдат продолжает:

— К тому же сделана ошибка: отдали Польшу полякам, они и разбежались, те — к ним, эти — к нам, ну и путаются: своему своего неохота бить…

Большой мужик убежденно и спокойно говорит:

— Заставят — будут! Было бы кому заставить, а бить — будут. Народ драться любит…

И вообще об этой гнусной, позорной бойне «обыватели» говорят как о событии, совершенно чуждом им, говорят как зрители, часто даже со злорадством, но — я не понимаю: куда, на кого направлено это злорадство? Вовсе не заметно, чтоб критика «власти» усиливалась и отрицательное отношение к ней росло. Развивается отвратительный, мещанский анархизм.

Сопоставляя его с мнениями рабочих, ясно видишь, насколько неизмеримо выше развито у последних понимание трагизма событий и даже чувство «государственности» или, точнее, человечности. Это заметно даже у «неорганизованных», не говоря уже о партийцах, как, например, П. А. Скороходов. На днях он рассуждал:

— Как класс — мы от военного погрома выиграем, и это, конечно, главное. А все-таки душа — болит! Стыдно, что воюем. И так жалко народ — сказать не могу. Ведь подумайте, гибнут самые здоровые люди, а им завтра работать. Революция потребует себе самых здоровых… Хватит ли нас?

Хорошо понимает значение культуры:

— Это глупо — говорить, что культура буржуазна и мне вредна. Культура — наша, законное наше деле и наследство. Мы сами разберем, что лишнее и вредное, сами и отбросим. Сначала надо поглядеть, что чего стоит. Кроме нас, никто не смеет распоряжаться. Недавно у нас, на Сампсониевском, один мил-друг часа полтора культуру уничтожал, я думал: человек этот хочет доказать мне, что лапоть лучше сапога. Учителя тоже! Уши рвать надо таким…

Профессор З., бактериолог, рассказал мне:

— Однажды, в присутствии генерала Б., я сказал, что хорошо бы иметь обезьян для некоторых моих опытов. Генерал серьезно спросил: «А — жиды не годятся? Тут у меня жиды есть; шпионы, я их все равно повешу, берите жидов!»

— И, не дожидаясь моего ответа, он послал офицера узнать: сколько имеется шпионов, обреченных на виселицу? Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся, но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза: «Но ведь люди все-таки умнее обезьян; ведь если вы вспрыснете человеку какой-нибудь яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна — не скажет!»

— Возвратился офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет ни одного еврея, все цыгане и румыны.

— «И цыгане — не годятся? — спросил генерал. — Жаль!..»

Вспоминая о евреях, чувствуешь себя опозоренным. Хотя лично я, за всю жизнь мою, вероятно, не сделал ничего плохого людям этой изумительно стойкой расы, а все-таки при встрече с евреем тотчас вспоминаешь о племенном родстве своем с изуверской сектой антисемитов и о своей ответственности за идиотизм соплеменников.

Я честно и внимательно прочитал кучу книг, которые пытаются обосновать юдофобство. Это очень тяжелая и даже отвратительная обязанность — читать книги, написанные с определенно грязной целью: опорочить народ, целый народ! Изумительная задача. В этих книгах я ничего не нашел, кроме моральной безграмотности, злого визга, звериного рычания и завистливого скрежета зубов. Так вооружась, можно доказывать, что славяне, да и все другие народы тоже неисправимо порочны.

А не потому ли ненавидят евреев, что они, среди других племен мешаной крови, являются племенем, которое — сравнительно — наиболее сохранило чистоту лица и духа? Не больше ли «Человека» в семите, чем в антисемите?

Постыдному делу распространения антисемитизма в массах весьма сильно способствуют сочинители и рассказчики «еврейских» анекдотов.

Странно, что среди них нередко встречаешь евреев. Может быть, некоторые из них хотят показать, как хорош печальный юмор еврейства… и этим надеются возбудить симпатию к своему народу у врагов его? Может быть, другие анекдотисты желали бы, показывая еврея смешным, убедить идиотов, что он вовсе «не страшен»? Но разумеется — среди них есть выродки и негодяи

народа своего.

Таких «анекдотистов» было, мне кажется, особенно много в 80-х годах. Весьма славился Вейнберг-Пушкин, говорили, что он брат П. И. Вейнберга — «Гейне из Тамбова», отличного переводчика Генриха Гейне. Этот Вейнберг-Пушкин даже издал книжку или две очень глупых и бездарных «Еврейских анекдотов» или «Сцен из быта евреев». Мне нравилось слушать его рассказы, — рассказчик он был искусный, — и я ходил в Панаевский сад в Казани, где Вейнберг выступал на открытой эстраде. В то время я был булочником.

Однажды я пошел туда с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком; он потом застрелился. Меня очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я услышал хрипение, то самое, которое издает человек, когда его душат, схватив за горло. Я оглянулся — лицо Греймана, освещенное луною и красными фонарями эстрады, было неестественно: серо-зеленое, странно вытянутое, оно все дрожало, казалось, что и зубы дрожали, — рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты кровью. Грейман хрипел, присвистывая:

— Сволоч-чь… о, с-сволочь…

И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медленно, как будто это была двухпудовая тяжесть.

Я перестал смеяться, а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушел, точно бодая толпу зрителей. Я тоже тотчас ушел, но не за ним, а в сторону от него и долго ходил по улицам, видя пред собою искаженное лицо человека, которого пытают, и хорошо поняв, что я принимал веселое участие в этой пытке.

Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки я считаю гнуснейшей из всех.

Горит здание окружного суда.

Уже провалилась крыша, внутри стен храпит огонь, желто-красная вата его лезет из окон, вскидывая в черное небо ночи бумажный пепел. Пожар не гасят.

Бешенством огня любуются человек тридцать зрителей. Черными птицами они стоят у старинных музейных пушек орудийного завода, сидят на длинных хоботах. В хоботах этих есть что-то глупое и любопытствующее; все они уклончиво, косо вытянуты в сторону Государственной думы, где кипит жизнь, куда свозят на автомобилях и ведут арестованных генералов, министров, куда темными кучами торопливо идут и бегут люди.

Молодой голос звонко кричит:

— Товарищи! Кто хлеба кусок обронил?

Около пушек ходит, как часовой, высокий сутулый человек в бараньей мохнатой шапке, лицо его закрыто приподнятым воротником овчинной шубы. Остановился, глухо спрашивает кого-то:

— Что же, значит, решено судимость похерить? Наказания — отменяются, что ли?

Ему не отвечают. Ночь холодна. Скорченные фигуры жителей недвижимо, очарованно смотрят на огромный костер в камнях стен. Огонь освещает серые лица, отражается в неживых глазах. Люди на пушках какие-то мятые, трепаные, удивительно ненужные в эту ночь поворота России на новый, еще более трудный, героический путь.

— Я говорю: преступники-то как же? Судов не будет, что ли?

Кто-то отвечает негромко, насмешливо:

— Не бойся, не обидят тебя, осудят.

И лениво тянется странная беседа ночных, ненужных людей:

— Судить — будут.

— Кто это поджег?

— Судимые, конечно. Воры.

— Им — выгода…

— Вот такие, как этот…

Человек в мохнатой шапке говорит строго и громко:

— Я — не судимый, не вор, а суду этому сторож. Никого нет, а я — тут!

Сплюнув под ноги себе, он долго, тщательно шаркает по камню панели тяжелой кожаной калошей, растирая плевок, потом говорит:

— Я сомневаюсь: ежели решено простить всех, так это — рано. Сначала уничтожить надо всю преступность. Бумагу жечь, дома жечь — пустяки! Преступников искоренить надо сначала, а то опять начнем бумаги писать, суды, тюрьмы строить. Я говорю: сразу надо искоренить весь вред… Всю старинку.

Тряхнув головою, он добавил:

— Я вот пойду скажу им, как надо…

Круто повернулся и пошел по Шпалерной, к Думе; люди проводили его неясной насмешливой воркотней, один из них засмеялся и стал кашлять бухающими звуками.

Этот человек был первый, который решительно выдвинул, не от разума, а, видимо, от инстинкта своего, лозунг:

— Надо всё искоренить.

Теперь, летом, речи на эту тему звучат всё тверже и чаще.

Вчера, после митинга в Народном доме, бородатый солдат воодушевленно, заикаясь и глотая слова, размышлял пред толпою

человек в полсотни:

— Они чего говорят? Они опять то самое, через что погибаем. Нет, братья, дадимтя им всего; натя, пейтя, ешьтя, разговаривайтя промеж себя, а нам, народу, не мешайтя! Мы — сами. Мы, значится, положили выполоть всю сор-траву вашу, мы же-лам выкорчевать все пенья, коренья — во-от! Так ли?

Люди десятками голосов утвердили:

— Так. Верно.

— То-то. Им надо прямо сказать: отходи, господа, в сторону, не путай, не мешай. Пей, ешь, а нас — не тронь. Они говорят: опять наступай, опять воюй. Не-ет, братья, мы уж наступили друг дружке на животы, не-ет! Так ли?

Толпа почти единогласно согласилась:

— Так.

Заявления о необходимости коренной — социальной — революции раздаются все громче, идут от массы. В массе возникает воля к самодеятельности, к жизни активной. Эта воля должна организовать ее, сделать политически зрячей.

«Вождям» не верят. На днях в цирке «Модерн» молодой парень, видимо шофер, ловко играл созвучными словами «вожди» и «вожжи» — человек двести слушало его и одобряло смехом.

И с каждым днем жизнь принимает все более серьезный, строгий характер: всюду чувствуется напряжение ее сил…

Садовник

17-й год, февраль

Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчатся с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты солдатами, матросами и ощетинились стальными иглами штыков, точно огромные взбесившиеся ежи. Иногда сухо щелкают выстрелы. Революция. Русский народ суетится, мечется около свободы, как будто ловит, ищет ее где-то вне себя. В Александровском саду одиноко работает садовник, человек лет пятидесяти; коренастый, неуклюжий, он спокойно сметает лист и сор с дорожек и клумб, сгребает подтаявший снег. Его, видимо, нимало не интересует бешеное движение вокруг, он как бы не слышит рев гудков, крики, песни, выстрелы, не видит красных флагов. Наблюдая за ним, я жду, когда он поднимет голову, чтоб посмотреть на людей, бегущих мимо него, на грузовики, сверкающие штыками. Но, согнувшись, он упрямо работает, точно крот, и, кажется, так же слеп.

Март

По улице, по дорожкам сада, направляясь к Народному дому, медленно шагают сотни, тысячи серых солдат, некоторые из них везут за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят. Это пришел из Ораниенбаума какой-то неисчислимый пулеметный полк; говорят, что людей в нем более десяти тысяч. Им некуда девать себя, они с утра бродят по городу, ищут пристанища. Обыватели боятся их, — солдаты устали, голодны и злы. Вот несколько человек уселось и разлеглось по краям большой круглой клумбы, разбросав на ней пулеметы, ружья, вещевые мешки. Не спеша, к ним подходит с метлой в руках садовник и сердито увещевает:

— Ну, где разлеглись? Тут — клумба, цветы посажены будут. Ослепли? Детское место. Вставай, уходи!

И сердитые вооруженные люди покорно сползают с клумбы.

Июль, 6-е

Солдаты, в металлических шлемах, вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость; не торопясь, они идут по торцам дороги, по саду, тащат пулеметы, небрежно несут ружья. Иногда тот или другой добродушно покрикивает обывателям:

— Расходись, сейчас стрелять будут!

Горожанам хочется посмотреть сражение, они молча, крадущейся лисьей походочкой, идут по следам солдат, прячутся за деревьями и вытягивают шеи, жадно заглядывая вперед.

В Александровском саду на куртинах цветут цветы, по дорожкам сада ходит садовник. Он в чистом переднике, в руках у него лопата, он покрикивает на зрителей и солдат, как на баранов:

— Куда? Куда лезешь на траву? Нет вам места по дороге?

Бородатый, железноголовый мужик в солдатской форме, держа ружье под мышкой, говорит садовнику:

— Гляди, дядя, застрелим…

— Иди знай! Застрельщик…

— Воюем, брат…

— Ты воюй, а у меня свое дело.

— Это так. Покурить — нету?

Доставая из кармана кисет, садовник громко ворчит:

— Ходите, где нельзя.

— Война!

— Мало ли что! Воевать — просто, а я тут — один! Ты вот ружье-то почистил бы, заржавлено ружье-то…

Верещит свисток, солдат, не успев закурить, бежит между деревьями, а садовник, плюнув вслед ему, кричит:

— Куда те черти понесли? Нет тебе дороги?..

Осень

Садовник ходит по аллее с лестницей на плече, с ножницами в руках, подстригает деревья. Он похудел, съежился, платье на нем висит, как парус на мачте в безветренный день. Ножницы, перекусывая голые ветки, щелкают громко, сердито.

Глядя на него, я подумал, что ни землетрясение, ни всемирный потоп не могли бы помешать этому человеку делать его дело. И если б оказалось, что трубы архангелов, возглашающих конец мира, день Страшного суда, недостаточно ярко блестят, человек этот, наверное, деловито и сурово упрекнул бы архангелов:

«Трубы-то почистили бы…»

Законник

Мокрым утром марта в 17-м году ко мне пришел аккуратненький человечек лет сорока, туго застегнутый в поношенный, но чистый пиджачок. Сел на стул, вытер платком лицо и, отдуваясь, сказал, не без упрека:

— Высоконько изволите жить, для свободного народа затруднительно лазить на пятый этаж!

Ручки у него маленькие и темные, как птичьи лапы, стеклянные глазки строги, в них светится что-то упрямое, недоверчивое. На желтом костистом лице острый и желтый, точно у грача, нос. Осторожно внюхиваясь, человечек осмотрел меня, полки книг и спросил:

— Действительно — господин Пешехонов будете?

— Нет, я Пешков.

— А это не одно то же самое?

— Не совсем.

Он вздохнул и, еще раз осмотрев меня, согласился:

— И непохоже: у того — бородка. Значит: я попал в недоразумение.

Сокрушенно покачал головою:

— Эдакие путаные дни!

Я сообщил ему, что, вероятно, он найдет А. В. Пешехонова по Каменноостровскому, в кинематографе «Элит», где организуется Комиссариат Петроградской стороны.

— У вас какое дело к нему, можно спросить?

Человек сначала независимо и громко высморкался, потом, взяв со стола книгу, посмотрел на корешок ее и наконец ответил:

— По обязанности свободного гражданина хочу предложить

для расклейки на заборах небольшой закончик…

Чувствуя нечто курьезное, я осведомился: какой именно?

— А — вот-с!

Сунув руку за пазуху, он вынул и подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо; крупными буквами, тщательно на бумаге было изображено:

> Обязательные постановления.
>
> Настоящие постановления имеют цель в виду всеобщего возмущения строжайше охранять свободу для чего
>
> Немедленно:
>
> Пунт 1. Арестовать всех лиц которые обсуждают события и свободу скопцычески. Продолжая жить по старому обычаю как господа.
>
> Пунт 2. А именно: одну жену содержателя публичного дома: в Новой Деревне в доме Иакова Федорова Анну Погосову по прозвищу Варнашку.
>
> Пунт 3 и примечание. Означенная Варнашка злобно фыркает на его Благородие господина гражданина Пешехонова за неимение у него знака власти и штатский вид а так же по причине законного отказа ей присвоить чужие бочки, хотя они даже бы и пустые.
>
> Пунт 4 и продолжения примечания. А так же порицает бородку и вообще наружность. И говорила: что Свобода как Невинная Девушка стоит дорого. Ее нельзя хватать каждому.
>
> Пунт 5. А посему: ее в первую очередь не взирая на отговорки. Верно. Составитель закона
>
> *Иаков Федоров.*

Прочитав закон, я попросил законодателя разрешить мне снять копию с его труда. Прищурясь, он осведомился:

— Для какого намерения?

— На память!

Он бережно свернул лист, говоря:

— А вы, когда его расклеют, с заборчика сдерите.

Но я стал упрашивать его, и, подумав, он милостиво дал мне бумагу.

Пока я писал, он, принюхиваясь, рассматривал титулы книг на столе, вздыхал, покачивая головою, и ворчал:

— Многие теперь запрещены будут книги. Тоже закончик надо. Обязательно.

Кончив переписывать, я спросил его:

— Так, по-вашему, надо арестовать всех людей…

— Обязательно, которые скопцычески…

— Вы хотите сказать — скептически?

Но он строго поправил меня:

— Скопцы, значит — скопцычески. Исковеркавши слово, правду не скроешь. Скопцы — это которые не признают меня членом жизни.

Видя, что с ним трудно говорить, я спросил: чем он занимается?

— А — вот-с!

И человек угрожающе потряс в воздухе законом.

— А до законодательства — чем?

Он встал со стула, оправил пиджачок и сказал:

— Думал.

Потом, выпрямясь, недоверчиво проговорил:

— Значит — господин Пешехонов не одно то самое, что господин Горький? Писатель?

— Нет, не одно…

— Очень затруднительно понять это, — сказал он, вдумчиво прищурясь. — Как будто бы два лица, а выходит — три! Если же считать — трое, то будет два. Разве нарушение закона арихметики не запрещено властями?

— Властей еще нет…

— Н-да… Так! И — с точки зрения устава о паспортах — по двум паспортам жить не разрешается. Закон!

Неодобрительно кивнув головою, он пошел к двери, но по пути запнулся за что-то и, обернувшись, сказал:

— Извиняюсь, попал в недоразумение. Омрачен думами, хотя голова у меня светлая, как известно. Такое, знаете, время…

За дверью, набивая на ноги калоши, он ворчал:

— Тут сам Бисмарк… Не то — двое… не то — трое…

Монархист

В 80-х годах по улицам Нижнего Новгорода ходил, с ящиком на груди, остроглазый парень, взывая негромко, вопросительно и как-то особенно назойливо:

— Крестики нательные, поминаньица, шпилечки, булавки?

Часто встречая его, я заметил, что парень этот склонен к озорству: избрав какого-нибудь прохожего, он неотвязно шел сзади него, заходил сбоку и навязчиво выпевал:

— Крестики нательные, поминаньица?

Прохожий сердито отмахивался, иногда — ругался, а торговец, обогнав его, шел уже навстречу и, угодливо заглядывая в глаза раздраженного человека, снова предлагал ему крестики.

Мне думалось, что этот парень ищет скандала, хочет, чтоб его толкнули, ударили, и почему-то я воображал, что торговля — дело не его души и что, наверное, он занимается еще чем-то более интересным, а может быть, и более опасным.

И я был несколько разочарован, когда парень этот поставил «ларек» в углублении церковной стены на бойкой Рождественской улице и стал торговать календарями и «листовками» Сытина, а через малое время ларек его вырос в лавку, с вывеской над нею: «Книжная торговля В. Бреева».

Затем явилась в Нижнем розовенькая книжонка «Житие старца Федора Кузьмича». На обложке книги этой красовался портрет очень высокого лысого старика с огромной бородою, а под ногами его напечатано:

Издание В. И. Бреева.

Я узнал, что книжка эта создалась при таких условиях: в трактире «Грачи» какой-то странник рассказывал легенду о таинственном сибирском отшельнике, Бреев тотчас же предложил «босяку» Терентьеву, бывшему учителю, написать «за целковый» житие старца. Оказалось, что Терентьев кое-что уже слышал о Федоре Кузьмиче, и ему удалось сочинить довольно занятное «житие»; оно разошлось в десятках тысяч экземпляров по всей Волге и по Оке, и Бреев хорошо заработал на нем.

Когда вышли первые книжки моих рассказов, Бреев явился ко мне, скромно, но солидно одетый в мохнатенький синий пиджачок, с тяжелыми серебряными часами в кармане жилета, с цепью «фальшивого золота» на груди и в новых скрипучих сапогах. От него сильно пахло ваксой, душистым мылом, он сиял улыбками и вдохновенно, негромко говорил:

— Позвольте изложить мечту сердца! Для прославления древнего нашего города и желая принести посильную пользу истории государства, затеял я издание сочинений небольшого размера о знаменитых земляках наших, как-то: Козьме Минине, патриархе Никоне, Аввакуме-протопопе, о Кулибине, Милии Балакиреве, господине Боборыкине, о Добролюбове, конечно, а также о Мельникове-Печерском и всех прочих талантах земли Нижегородской. Окажите делу этому литературную помощь…

Говорил он вполголоса, как бы «по секрету», гладко, надуманно и весь трепетал: двигал ногами, размахивал стареньким платочком, хватал меня за колени и вдруг, сунув руки в карманы, бряцал там чем-то, как медью лошадиной сбруи, потом отирал лицо ладонями, точно магометанин на молитве. Казалось, что он страдает накожной болезнью и все тело его нестерпимо чешется.

Было в нем что-то мохнатенькое, смешное, но почти приятное, эдакая русская, на все готовая бойкость. Его скуластое лицо украшалось на подбородке нерешительным клочком бесцветных волос, клочок этот конфузливо загибался к шее, как будто желая врасти в кадык концами волос. Волосы усов торчали колко, точно усики ячменного колоса, так же щетинисто и напряженно торчали они в бровях. Глядя на Бреева, я подумал: «Вот таких и зовут: “ежова голова”».

Очень необычны были его глаза — круглые, голые, зеленоватого цвета, они вдохновенно сияли, испуская щекочущие лучики или, вернее, пыль мелких искр. Казалось — вот сейчас они вспыхнут и на месте их останутся черные ямы.

Когда я отказал ему в «литературной помощи», он пронзительно высморкался, вздохнул и продолжал, не угашая вдохновения:

— Тогда — позвольте сделать другое предложение, более легкое для вас.

Встал и, точно стихи читая, проговорил в два удара:

— Интересность необыкновенной вашей жизни и новое ее начало — чистые денежки! И ежели вы согласны написать вашу автоисторию за пятьдесят рубликов, то я — вот он! — издатель вам!

Написать «автоисторию» я тоже отказался, но это не помешало Брееву издать составленную кем-то глупую книжонку, нечто вроде моей биографии. Издателю пригрозили судом, если он не уничтожит эту книжку.

— Поверьте сердцу земляка, — оправдывался Бреев, смешно подпрыгивая, — не из жадности к деньгам — что есть деньги? — а только из патриотического взрыва чувств решился я обойти вашу скромность.

В 905-м году мне сообщили, что В. И. Бреев избран председателем нижегородского отдела «Союза русского народа» и весьма энергично борется с крамолой, укрепляя самодержавие.

Затем, кажется в 910-м году, Бреев прислал мне на остров Капри письмо, в котором, воспевая доброту и великодушие царя Николая, убеждал меня покаяться во грехах и просить разрешения вернуться в Россию. Письмо было написано очень забавно и не рассердило меня. Я даже ответил Брееву, что эмигрантом себя не считаю, могу вернуться в Россию, когда захочу, не испрашивая никаких разрешений, и прибавил к этому характеристику самодержавия; ответ мой был кем-то напечатан в «Манчестер гардиэн» под заголовком «Письмо к монархисту».

В 14-м году, возвратясь в Россию, я узнал, что Бреев куда-то уехал из Нижнего, а в 17-м, суетливым днем мая, меня вызвали к

телефону, и я услышал взволнованный голос:

— У телефона — Бреев, Василий Иванович Бреев — помните? Мечтатель нижегородский?

Через час он вертелся на стуле предо мной, брызгая во все стороны быстрыми словами, такой же мохнатенький и забавный, каким был двадцать лет тому назад. Только ежовые волосики его стали мягче, потеряли свою колючесть, он подстриг сконфуженно изогнутую бородку и растрепанные усы, лишь брови его, как раньше, напоминали мне плавники молодого ерша. И так же, как раньше, молодо, бойко сияли зеленоватые глаза, сея пыль остреньких искр. Он был одет в какую-то толстую материю дымного цвета, в галстуке его сверкал бриллиант, на пальце левой руки — крупный рубин в золотом перстне, а в общем это был все тот же возбужденный человек, точно страдающий чесоткой.

Размахивая руками, он совал их в карманы брюк, пиджака, жилета, вытаскивал оттуда кусочки различных руд и приговаривал, катая их по столу:

— Золотоносный кварц! Вольфрам-с! Литографский камень редчайшего свойства! Неизвестный металл, никто не может сказать — какой именно! Все — мое! Сделаны заявки. Приехал к вам как земляку — помогите реализовать, так как вы в добром знакомстве с новыми правителями судеб наших!

Мой отказ помочь ему в этом деле нимало не охладил его, он только немножко удивился, заметив:

— Четвертый раз отказываете вы мне…

— Но я же ничего не понимаю в этом деле!

Он пожал плечами:

— А что ж понимать в золоте? Его — просто — добывать надо, чтобы жизнь наша озолотилась…

Прижмурив глаза и качая головой, продолжал лирически:

— Если б вы знали, до чего неестественно богата Сибирь! Это даже не земля, а — вымя симментальской коровы-с, ей-богу! Пожалуйте доить! А — доить некому. Не умеем. Одни там искусные доильцы — это англичане на Лене…

Я спросил: давно ли он живет в Сибири?

— Три года, три. Как только началась бессмысленная эта война, так я — туда. Сердечно желаю рассказать вам необыкновенную карьеру моей жизни, будучи уверен, что вам, нижегородцу, приятно послушать историю преуспеяний земляка. Кому же знать удивительную жизнь русского человека, как не вам? Ведь вы, кроме того, что земляк, вы, так сказать, законный регистратор полетов русской души и самою судьбой вашей назначены к построению словесных монументов нам, людям

древнего города, которому вся Россия обязана была, триста лет тому назад, спасением от преждевременной гибели…

Уходя, он спросил:

— Слышал — и вы тоже приглашаетесь в министры? Нет? Весьма жаль! Нам, нижегородцам, лестно было бы видеть министром своего человека.

Испытующе посмотрев на меня, он добавил:

— Хотя бы — по просвещению?

На другой день, вечером, Бреев, сидя у меня, взволнованный, потный, ощетинясь белобрысым волосом, двигая руками так, точно он тесто месил, рассказывал:

— Перелом жизни моей начался в обиднейшие годы японской войны. До той поры жил я единственно любовью к нашему красавцу-городу, политика мне даже и не снилась, видел я другие сны, даже наяву видел их. Мечтал: разработаюсь, разбогатею и выстрою в Нижнем Новгороде красивейший дом на удивление не токмо своих людей, но даже иностранцев. Чтобы из Парижа и Лондона приезжали смотреть дом Бреева! Чтобы напечатали в газетах: даже в провинциальных городах России строятся такие дома, каких у нас — нет!

Снизу, с улицы, поднимался тяжелый гул, ревели гудки автомобилей, неистощимым серым потоком шли бородатые солдаты, тяжкий топот сотрясал землю, доносились чьи-то крики — раскачивалось и рушилось российское государство.

— Я — не дурак, размер сил своих знаю. Но ежели я, Васютка Бреев, блоха земли русской, могу так отчаянно чувствовать обиду этого позора, чтобы какой-то неизвестный народ бил великую мою державу, мать гениальных людей, — ежели моему малому сердцу обида эта так нестерпимо горька, каково же, думаю, другим-то русским, покрупнее, поумнее меня? С этого и началось озлобление мое против всей интеллигенции, людей образованных, так как в них я нашел только непонятное мне равнодушие сердца и ума к судьбам России. А озлобление — исток всякой политики, то есть я так понимаю политику: она есть озлобление.

— Соображаю: как же это? Что народ наш, армии наши бьют и вам того не жалко — это я могу понять: народ никому не жалко, он даже и сам себя жалеть не умеет, я народ знаю! Вы меня извините, но я считаю так, что вообще никакого народа нет, не существует народ до поры, пока не соберешь людей в кучу да не крикнешь на них, не испугаешь их, не прикажешь им. Народа, у которого был бы один интерес, — нету! Народ — это песок, глина! И, чтоб он годился для построения государства, его

надобно очень много мять и на огне обжигать.

— Так — народа не жалко вам? Хорошо, согласен. А — мечту тоже не жалко? Человек живет мечтой, и больше ему нечем жить. Каждый из нас имеет настойчивое устремление к самому прекрасному, это и есть то самое электричество, которое двигает людьми. Есть мечта о великолепном государстве, лучше которого нигде нет. У всех людей есть мечта, кроме, конечно, евреев, которые, потеряв землю под собою, могут мечтать только своекорыстно. Еврею мечта об украшении всеобщей жизни так же недоступна, как цыгану и всякому другому кочующему человеку. Я знаю, что вы с этим не согласны, у вас преданность евреям, не понятная никому, — извините, но, я думаю, это искривление души, вроде болезни. Это я заглянул в сторону.

— Итак — 905-й год. Шум на весь мир, все делают революцию, даже и такие, которые не умеют пришить пуговицу к собственным штанам. Все бегают по улицам женихами, но у некоторых, даже у многих — на душе похороны. И загорается мечта: триста лет тому назад город Нижний Новгород спас Россию от разрушения — не пора ли ему вспомнить подвиг свой? Что такое революция? Был у меня приказчик Леонидка, неглупый парень, он тоже записался в революционеры, орет ежедневно на всех улицах. Спрашиваю: «Ну, хорошо, Леонид, сделаешь ты революцию, а потом что будешь делать?» — «Я, говорит, как только все кончится и войдет в новое русло — грибами займусь, грибы разводить и мариновать буду, я, говорит, такой способ знаю, что у меня каждый гриб сорок процентов урожаю даст!» — «Дурак ты, говорю, разве можно грибов ради строй государства разрушать?» И так везде: кого ни спросишь о намерении революций, у всех оказывается в итоге что-нибудь мизерное, вроде грибов.

— Ну, мы, «черная сотня», оказали вашему, извините, безумию достойное сопротивление и даже кое-кого побили. Признаю, что некоторых — напрасно, как, например, знакомого вашего, аптекаря Гейнце. Что делать? В драке волос не жалеют. В праведниках убыль — чертям любо.

— Одержав победу над смутой, мы, конечно, весьма возликовали и принялись за дело укрепления жизни. Подходили сроки значительные — 912-й, 13-й, столетие и трехсотлетие величайших событий. Я стал готовиться…

— Откровенно скажу вам, — затем ведь и сошлись, чтоб говорить без запятых, — открыто скажу: смелостью письма вашего в ответ на мое я был даже восхищен: вот как нижегородцы пишут! Но согласиться с мыслями вашими — не мог, не могу и теперь, когда видимое основание империи рушилось и царь в плену своих

подданных. Подумать жутко, до чего легко свел нас с ума несчастный этот союз с французами, — вот и мы низвергли трон!

— Да, так согласиться с вами — не могу я. Я — народ знаю. Ему совершенно наплевать, кто там, на троне, сидит, пускай хоть татарин или киргиз, лишь бы сидел и было бы за что уцепиться мечте. Народ живет мечтой, народу нужно иметь огромное воображение, чтобы помириться со своей жизнью, а жизнь эта дана ему на веки веков…

Я прервал речь Бреева, указав, что вот мы снова живем во дни революции, — он вскочил на ноги, лицо его побурело от возбуждения, он заговорил приглушенным голосом:

— Революция? Свобода? Полноте! Завтра же выскочит кто-нибудь, крикнет: «Цыц! Я вам покажу, как надо жить!» И — пойдут, и поведет, и дойдут снова до своей каторжной точки. Поверьте мне, уважаемый земляк: истинно народная свобода — это только свобода воображения. Жизнь для него не благо и никогда не будет благом, но всегда — ныне и присно — ожидание блага. Для народа нужен герой, праведник, генерал Скобелев, Федор Кузьмич, Иван Грозный, всё едино — кто! И чем дальше, смутнее, недоступнее герой, тем больше свободы воображения и легче жить. Надо, чтобы кто-то жил-был! Сказка нужна. Не бог в небесах, а вот на темной земле нашей был бы кто-то великого разума и чудовищных сил. Чтобы он все мог. Захочет, и — все счастливы, — вот какого надо вообразить!

— Так что доказывать народу, будто Романовы — немцы, бесполезное дело. Хоть — мордва, я вам говорю, я же знаю народ! Ему нужно не многовластие, не аглицкий парламент, он механику, машину не любит, он тайну любит. Нужна ему власть великой единицы, хотя бы эта единица была круглым нулем, он сам наполнит нуль силой воображения своего — да, да!

— Договорю о письме вашем: я все-таки снял с него пяточек копий и кое-кому землякам сунул, а подлинник губернатору Хвостову отнес: «Вот, говорю, извольте видеть, что Горький пишет!» Зачем я сделал это? Надо же было познакомить нижегородцев с мыслями вашими, хотя мысли и вредные. Я ведь не на шутку патриот, и хоть вы отбились от своей стаи, а все-таки — нашего леса ягода. А губернатору передал письмо, чтобы отвести от себя вину в распространении копий.

— Очень хотелось мне возвратить вас в землю отечества ко дням торжественного празднования великих сроков нашей грозной державы — к 12-му, 13-му годам!

Бреев зажал уши ладонями и, раскачивая голову, мигая острыми глазами, пробормотал:

— Сбивает мысли мои этот счет назад: 13–12, а потом — 14,

неправильна эта передвижка цифр! Ежели бы избрание Романовых состоялось в 11-м году, а разгром дванадесяти язык — как он был — в 12-м, так 14-го-то, может, и не было бы…

Выпустив голову из рук, он вздохнул и снова понесся:

— Мы, верующие в закон единовластия, собирались праздновать преодоление смуты и победу над Европой всемирно и громогласно с потрясающим великолепием и эдак бы с намеком: вот, мол, смотрите — Отечественная война против всей Европы, взятие Парижа, а — почему? Потому что триста лет назад Русь взята была счастливыми руками Романовых! Понимаете? Планчик этот родился в моей голове, и я даже отяжелел от разных соображений, как беременная женщина. Надо было так устроить, чтоб сияние празднеств затмило в памяти народа и горестную неудачу японской войны, и постыдные безумства, начатые Мазепой этим, Гапошкой-попом, и вообще все зловещие случаи прошлого, надо было показать солнечные дни истории нашей во всем их ослепительном великолепии.

Он подскочил в кресле, точно уколотый, и, упираясь ладонями в ручки его, наклонился вперед. Зеленая влага явилась на его глазах, потное, красное лицо побурело и расширилось, на скулах вздулись желваки, и ноздри раздулись. Он шевелил кадыком, как будто хотел проглотить что-то и — не мог. С минуту он не мог овладеть волнением своим, потом стер слезы со щек круглым жестом руки, криво усмехнулся и продолжал, все так же горячо, вполголоса, почти шепотом:

— Вдруг мне говорят: «Василий Иваныч, наш дружеский союз с Францией не позволяет шуметь по случаю Отечественной войны, а то союзники обидятся». Да-с, так и сказали! Возражаю: позвольте! Ежели мое умное лицо компаньону не нравится, так я должен дурацкую маску надеть? Так мы, говорю, глупую маску эту давно уже носим, и весьма правы те, кто смеется, указывая, что когда самодержавный монарх танцует с республикой, так, пожалуй, у монарха у первого голова закружится. Да уж и закружилась: вот — у нас парламентик шумит, и господин Милюков в президенты насыкается.

— Вы, конечно, знаете, что франко-русский альянс этот понимался «Союзом русского народа» как несчастная ошибка, как дружба ястреба с медведем: один — в небесах, другой — в лесах, и оба друг другу ни на что не нужны. Мы справедливо думали, что для нас была бы полезнее дружба с немцами, дружба каменная, железная, величайшей несокрушимости дружба!

— Одним словом: празднование поучительной Отечественной войны не удалось, поиграли кое-где, на площадях, «12-й год», музыку Чайковского, и на том — уснули.

— Тем более ожесточенно начал я готовиться к юбилейному торжеству трехсотлетия Романовых — царей. Позвал учеников Академии художеств: «Пиши, ребята, картины из жизни Нижнего Новгорода в 613-м году, расписывай гробницу Минина, действуй во всю силу души!» Ну, они действительно постарались, превосходные картины были написаны ими; я потом открытые письма напечатал с этих картин и расторговался ими в десятках тысяч. Нанял баржу, устроил на ней выставку картин и повез ее вверх по Волге: гляди, народ, на какие дела был ты способен! Народ шел тысячами. Смотрит, мычит… Эх, народ, народ… Чугунное племя.

Закинув руки, скрестив пальцы на затылке, Бреев поднял лицо к потолку и, закрыв глаза, долго молчал.

— Большие это были дни в жизни моей, высоко чувствовал я себя. Все парадно, празднично, по всем городам волжским звон колокольный, музыка, и как будто вся неприглядная жизнь наша вдруг стала императорской оперой. Высокие дни…

Он взял со стола чайную ложку, внимательно осмотрел ее и, не торопясь, задумчиво согнул ложку вокруг пальца кольцом. Положил ее на стол, вздохнул, облизал губы.

— Жил я тогда в опьянении всех чувств, и тут постиг меня оглушительный удар. Представили меня царю Николаю, он весьма обласкал и даже вот перстень подарил, с рубином. Н-но, известный содержатель цирков, Аким Никитин, тоже царским перстнем хвастался мне…

— С царем у меня было, примерно, так: верили бы вы в некоего недоступного для вас человека, думали бы вы, что в человеке этом соединены все допустимые достоинства, вся сила, мудрость и святость России, он — как бы духовный стержень, проницающий сквозь всё, ось народной жизни. И вдруг, волею безответной судьбы, поставлены вы глаз в глаз с этим человеком, и вдруг со скорбью, со страхом видите, что это — не то! Не то, чем жили вы, не ваша мечта. И блеск вокруг его и великолепие внешности, а всё — фольга! Так и я увидал пред собою не царя воображения моего, не владыку мечты и даже не большого человека, а — так себе человечка — на обыкновенных ногах. И даже как будто не умнее Василия Бреева, который, от юности своея, сам себе вожатый. А тут — обыкновенное лицо. Ну — ласковый, ну — приветлив, и — всё.

Бреев встал, ощетинился, взмахнул рукою и выговорил с тихой, жуткой яростью:

— Р-русский царь должен быть страшен, жесток! Даже — видом страшен, не токмо характером. Или — сказочный красавец, или такой же сказочный урод, а — русский царь должен быть

страшен и жесток…

Растирая горло, он подошел к окну, громко отхаркнул и плюнул на улицу, в неугомонный шум ее, а потом глухо спросил:

— Портрет царя Ивана Грозного работы художника Васнецова — видели? То-то-с! Вот — царь для русского народа. Помните — глазок у него, косит чуть-чуть? Это — царский глаз. Всевидящее око. Такой царь все видит и никому не верит. Сам! Самость у него в каждом пальце. Пред ним тотчас как-то вытянешься и всего себя пощупаешь — все ли на тебе застегнуто? Царь царства, владыка владычества…

Бреев снова сел, облокотился о стол и продолжал более спокойно:

— Дальше рассказывать почти уже скучно. Оказался я сбитым с коня. Жил — как все, шапку носил — как все, а однажды открыл глаза: головы-то у меня и нету!

— А тут грянул четырнадцатый год, разразилась эта проклятая война. Ну, думаю, наступил конец России и надобно убираться куда-нибудь в щель поглубже, до конца дней. Решил ехать в Сибирь, откуда, через старца Федора Кузьмича, началось мое благополучие. Мы тогда, многие, думали, что немцы затолкают нас за Урал. Мы народ — знаем! Терпеть он способен, а сопротивляться — нет. Кроме того, поманило меня в Сибирь и еще одно обстоятельство: попала на глаза мои одна девушка, сибирячка, училась она в Казани, где у меня дом, книжная лавка, семья. Известно, что любовь годов не считает. Полюбили мы с ней друг друга, хотя мне за пятьдесят, а ей — двадцать. Я и говорю своим — жене, детям: «Работал я на вас всю жизнь, а теперь — довольно! Хочу сам жить. Беру пятьдесят тысяч, а все остальное и здесь и в Нижнем — ваше! Живите. Прощайте!» И — уехал.

— В Сибири случайно наткнулся на человека, знакомого с богатством земли, и — вот, занялся рудным делом. Надобно чего-нибудь строить, не привык я попирать землю праздными ногами. Мечту мою — потерял. Русь вижу в брожении и безумстве, извините! Народа своего — не узнаю. Конечно — не верю, что он долго будет колобродить и семечки лущить… Прижмут его к земле.

Бреев говорил нехотя и, видимо, не о том, что думал. Зеленоватые глазки его щурились, мерцали, снова я видел мелкие, острые искорки в потемневших зрачках. Он открывал рот, точно рыба, и быстро облизывал языком сухие темные губы. Вдруг, точно поперхнувшись каким-то словом, он взмахнул рукою, пресек свою речь, встал и схватился руками за спинку кресла. Было ясно, что у него неожиданно возникла какая-то жгуче волнующая мысль. Он прищурил глаза, острые волосы

бровей его знакомо ощетинились и дрожали. Сухо покашливая, он снова заговорил почти шепотом:

— Человек живет мечтой, говорю я. Большое, говорю, надо иметь воображение, чтобы принять жизнь за благо, без всякой злобы, без противоречия, а так, просто, как материал для обработки разумом. Человек же и народ без мечты — слепорожденный… И — поэтому…

Он закашлялся, потер себе рукою грудь, глаза его все разгорались.

— Этим наклоном человеческой души надо уметь пользоваться. Умейте разжечь пред людьми какую-нибудь понятную им красоту, и — они за вами пешком по морю пойдут! И всё простят, забудут все грехи и ошибки. А — потому…

Схватив обеими руками мою руку, он крепко сжал ее.

— Ведь вы — тоже человек мечты! И вот сейчас пред вами к-какая благородная задача! Талант ваш в один час может исправить все…

Он точно бредил, дрожал весь и казался обезумевшим. Меня не очень удивило, когда он, дергая мою руку, зашептал в ухо мне:

— Спросите — как? Очень просто. В народе ходит сказание: неизвестный старец Федор Кузьмич — это Александр Благословенный, Григорий Распутин — сын русского царя от простой крестьянки, а цесаревич Алексей — сын Распутина, внук Александра Благословенного, цесаревич народной крови! Понимаете? Искупление! Все грехи прошлого, все ошибки омыты истинно русской, чисто народной кровью. Царь мужицких кровей, а?

— Ну, — пусть не так все это! пусть не так, но — поверьте же! — здесь правды не нужно, тут мечта нужна, на голой правде государства не построишь, нет такого государства! И вот, ежели бы вы талантом вашим послужили великому делу воскресения мечты, истинно государственной, подлинно русской…

Он поднял руки, точно возносясь, и с безумной — или детской? — улыбкой воскликнул хрипло, захлебываясь словами:

— И — подумайте! — а мне-то, Брееву-то, Васютке, Василью-то Иванычу — каково бы это? Начал я жизнь силою таинственного старца Феодора — а Федор-то ведь Филарет! — отец Михаила Романова! — и кончил бы я жизнь мою, вознеся имя его на высоту высот, а? Сказка? А?

Внизу, на улице, оглушительно шумел русский народ, разрушая, ломая тысячелетием созданную железную клетку государства…

Петербургские типы

В эту весну, с первых же ее теплых дней, на улицы Петербурга выползли люди фантастические, люди жуткие. Где и чем жили они до сей поры? Воображаешь, что в какой-то трущобе разрушен огромный уединенный дом, там все эти люди прятались от жизни, оскорбленные и отверженные ею. Навязчиво думается: они что-то забыли и вспоминают, тихо ползая по городу.

Они оборванны, грязны, видимо, очень голодны, но — не похожи на нищих и не просят милостины. Молчаливые, они ходят осторожно, смотрят на обыкновенных горожан с недоверчивым любопытством. Останавливаясь пред витринами магазинов, они рассматривают вещи глазами людей, которые хотят догадаться или вспомнить: зачем это нужно? Автомобили пугают их, как пугали деревенских баб и мужиков двадцать лет тому назад.

Высокий темнолицый старик с провалившимися глазами, кривым носом и зеленоватой бородою, вежливо приподняв измятую шляпу, с дырой на тулье, спрашивает прохожего, указывая длинной рукой вслед автомобилю:

— Электричество? Ага… Благодарю.

Ходит он, выпятив грудь, гордо подняв голову, никому не уступая дороги; смотрит на встречных отталкивающим взглядом прищуренных глаз. Он — босой и, касаясь ступнями камня панелей, подгибает пальцы, словно пробуя прочность камня.

Празднично настроенный, бойкий юноша спросил его:

— Вы — кто?

— Вероятно — человек.

— Русский?

— Всю жизнь.

— Военный?

— Возможно.

И, оглянув юношу, он сам спрашивает:

— Делаете революцию?

— Сделали!

— Ага…

Старик отвернулся и стал разглядывать витрину букиниста, взяв себя за бороду левой рукою. Юноша, вертясь около него, спросил еще что-то, но старик, не взглянув на него, сказал спокойно, негромко:

— Идите прочь.

На Семионовской улице, прижавшись к церковной ограде, стоит женщина лет сорока; желтое лицо ее опухло, глаз почти не видно, рот полуоткрыт, точно она задыхается. Ее голые ноги всунуты в огромные башмаки, на башмаках толстая корка сухой грязи. Она окутана в нанковый мужской халат, руки ее сложены

на груди, голову украшает соломенная шляпа с измятыми листьями и одной ягодой вишни; ягод была целая гроздь, но осталась только одна, голые стебли и какие-то осколки, блестящие, как стекло. Сдвинув густые, красиво изогнутые брови, она внимательно смотрит, как люди втискивают друг друга в вагоны трамвая, как они выпрыгивают, вываливаются с площадок вагонов и бегут во все стороны. Губы женщины вздрагивают, точно она считает людей. А может быть, ожидая кого-то, припоминает слова, которые необходимо сказать при встрече. В красных узеньких щелках опухших глаз ее светится что-то недоброе, сухое и режущее. Она брезгливо сторонится мальчиков и девочек, торгующих папиросами, раза два-три она даже отталкивала их движениями то локтей, то бедра.

Ее тихонько спросили:

— Может быть, вы нуждаетесь в помощи?

Смерив спросившего сердитым взглядом, она ответила так же тихо:

— С чего это вы взяли?

— Извините.

Рядом с нею стояла чистенькая старушка в кружевной наколке, продавая какие-то пеньковые или глиняные лепешки. Женщина спросила ее:

— Вы — дворянка?

— Купчиха.

— А… Сколько жителей в этом городе?

— Не знаю. Много.

— Ужасно много!

— Вы — приезжая?

— Я? Нет. Я здешняя.

Покачнулась и, кивнув старушке смешной головою, пошла к цирку, шаркая по камням тяжелыми башмаками; они спадали с голых грязных ног ее.

…Она сидит на скамье в саду за цирком, рядом с нею, опираясь на палку, тяжело дышит большая, грузная старуха с каменным лицом, в круглых черных очках, одетая в остатки шубы, в клочья шелка и серого меха.

Проходя мимо, я слышу хриплый голос, резкие слова:

— Последний порядочный человек в этом городе умер девятнадцать лет тому назад…

А старуха кричит, как глухая:

— Окружный суд сгорел, ходила смотреть, одни стены остались. Сгорел. Наказал бог…

Женщина в огромных башмаках говорит в ухо ей:

— Мои — в тюрьме. Все.

Мне послышалось, что она смеется.

Быстро, мелкими шагами ходит, почти бегает маленький, очень волосатый человечек с лицом обезьяны, с раздавленным носом. Темно-синие зрачки его глаз беспокойно расширены, их окружает тоненькое опаловое колечко белков. Парусиновое пальто не по росту ему, полы обрезаны неровно и висят бахромой, точно собаки оборвали их. На ногах у него растоптанные валенки. Он без шляпы, на голове торчат серые вихры, густая, сильно поседевшая борода растрепанно растет из-под глаз, под скулами, из ушей. Он бегает и тревожно бормочет что-то, размахивая руками, часто и крепко переплетая пальцы их.

На бульваре, около Народного дома, он говорил солдатам:

— Поймите, — вам особенно нужно понять это! — человек счастлив только тогда, когда помнит, что он — человек ненадолго, и мирится с этим…

Говорит он тихонько, тонким голоском, а по внешнему его виду ждешь, что он должен бы рычать. Он качается на ногах, одна его рука прижата к сердцу, кистью другой он дирижирует, — руки у него тоже волосатые, на пальцах темные кустики. Пред ним, на скамье, трое солдат грызут семечки, сплевывая шелуху в живот и на ноги человека, четвертый солдат — с красной ямой на щеке — курит и старается вдунуть струю дыма в рот и нос оратора.

— Утверждаю: бесполезно возбуждать в нас, людях, надежды на лучшее, это даже бесчеловечно и преступно, это значит — поджаривать людей на огне…

Солдат заплевал окурок папиросы, подбросил его щелчком пальца в воздух и, вытянув ноги, спросил:

— Кем нанят?

— Что? Я?

— Ты. Кем нанят?

— Что значит — нанят?

— То и значит. Буржуями нанят, жидами?

Человек, растерянно улыбаясь, замолчал, а один из трех солдат лениво посоветовал допросчику:

— Дай ему пинка в брюхо.

Другой сказал:

— У него и брюха-то нет.

Человечек отступил на шаг, сунул руки в карманы, потом вырвал их оттуда, крепко сжал:

— Я говорю от себя. Я — не нанят. Я тоже думал и читал, верил. Но теперь я знаю: человек — ненадолго, все разрушается, и он…

Солдат с ямой на щеке крикнул свирепо:

— Брысь!

Человечек побежал прочь, поднимая валенками пыль, а солдат сказал товарищам:

— Стращает, сволочь. Будто мы его не понимам. А мы — всё понимам…

Вечером этого же дня человечек рассуждал, сидя на скамье у Троицкого моста:

— Поймите: в сущности, человек большинства, простой человек, тот, кого мы считаем дураком, он-то и есть настоящий строитель жизни. Большинство людей — глупо…

Его слушали: рябой кривоногий матрос, широкий и тяжелый, милиционер, толстая женщина в синем платье, трое серых людей, видимо рабочие, и юноша-еврей, зашитый в черную кожу. Юноша горячился; он ехидно спрашивал:

— Может быть, и пролетариат — дурак, а?

— Я говорю о людях, которые хотят очень немногого и прежде всего, чтоб им не мешали жить, как они умеют…

— Это — буржуи, да?

— Стойте, товарищ! — тяжело сказал матрос. — Пускай говорит…

Оратор мотнул головою в сторону матроса:

— Благодарю вас.

— Не на чем.

— Человек глуп только с нашей книжной точки зрения, но сам он вполне доволен количеством разума, данного ему природой, и хорошо владеет им…

— Верно! — сказал матрос. — Дуй дальше!

— Он — человек ненадолго, знает это и не смущается тем, что через некоторое время ему нужно будет лечь в могилу…

— Все умрем, верно! — повторил матрос, подмигнув кожаному юноше, и широко усмехнулся, заставив этим подумать, что он твердо уверен в личном бессмертии своем.

А волосатый оратор продолжал все так же тихо, очень странным тоном, как будто он просил, умолял верить ему:

— Он не хочет беспокойной жизни надеждами, его удовлетворяет медленно текущая, тихая жизнь под ночными звездами. Я утверждаю: возбуждать несбыточные надежды в людях, которые вообще — ненадолго, это значит: путать их игру. Что может дать коммунизм?

— Ага! — сказал матрос, уперся ладонями в колени, качнулся вперед и встал на ноги:

— Н-ну, идем!

— Куда? — спросил волосатый человечек, отступая.

— Я знаю куда. Товарищ, прошу и вас следом за мной…

— Ах, оставьте его, — презрительно сказал юноша, отмахиваясь рукою.

— Прошу следовать! — повторил матрос тише, но рябое лицо его побурело и глаза сурово мигнули.

— Я — не боюсь, — сказал волосатый, пожимая плечами.

Баба, перекрестясь, пошла прочь, милиционер тоже отошел, ковыряя пальцем замок винтовки, а трое остальных встали на ноги так машинально, так одновременно, как будто у всех троих была одна воля.

Матрос и кожаный юноша повели арестованного к Петропавловской крепости, но двое прохожих, догнав их на мостике, стали уговаривать матроса отпустить философа.

— Не-ет, — возражал матрос, — ему, пуделю собачьему, надо показать, сколько недолго живет человек

— Я — не боюсь, — тихо повторил пудель, глядя под ноги себе. — Но я удивляюсь, как мало вы понимаете…

Он вдруг круто повернулся и пошел назад, к площади.

— Глядите — уходит! — удивленно и негромко сказал матрос. — Идет! Эй, куда?

— Ах, оставьте, товарищ, вы же видите — ненормальный…

Матрос свистнул вслед волосатому человечку и, усмехаясь, сказал:

— Черт, ушел, и — никакого шума! Храбрый, собака, действительно, совсем без рассудка…

Около Народного дома шныряет, трется между людей остроглазый старичок в порыжевшем котелке, в длинном драповом пальто с воротником шалью. Он останавливается у каждой группы и, склонив головку набок, ковыряя землю палкой с костяным набалдашником, внимательно слушает: что говорят люди? У него кругленькое, мячом, розовое личико, круглые мерцающие глаза ночной птицы, под ястребиным носом серые, колючие усы, а на подбородке козлиный клок светло-желтых волос, — быстрыми движениями трех пальцев левой руки он закручивает его, сует в рот и, пожевав губами, выдувает изо рта:

— Пп!

Ввертывается плечом в тесноту людей, точно прячется среди них, и раздается его наяривающий голосок, быстрые, четкие слова:

— Это я знаю, которые сословия нам особенно вредны и уничтожить надо дотла, чтобы даже косточки в пыль…

Его очень внимательно слушают солдаты, рабочие, прислуга и «женщины для удовольствия», слушают, глядя ему в рот и как бы всасывая наяривающие слова. Говоря, он держит палку свою

поперек туловища и быстро перебирает пальцами по ней, как по флейте.

— Первое: чиновники всех чинов; сами знаете, какое это наказание и досада нам, — чиновники, что злее их? Суды, тюрьмы, канцелярии — всё в их руках. Каково? У них, как у фокусников, кабинеты разных тайн. Их в первую голову — уничтожить…

Какая-то рыжая девушка, видимо горничная, сердито спросила:

— А сам-то кто? Тоже, поди, чиновник?

Он торопливо и обиженно отрекся:

— Никогда я ничем не занимался против бедного народа, никогда ничего не делал. Я — гадатель, прорицатель, я будущую жизнь знаю…

Ему предложили погадать.

— Это — дело тайное, на людях нельзя!

А на вопрос: «Что с нами будет?» — он ответил, опустив глаза:

— Плохо будет, если, начав дело, сразу не кончим, плохо! Зубы рвать надо с корнем. Чиновников — скосить. Также и ученую часть, и ее, — не служи ослеплению разума нашего, не выдавай копейку за рубль, да! Мы, дескать, ученые, вы, дескать, слушайте нас, мы вам законы напишем! Написали, наклеили везде закон: «Не пейте сырой воды!» А? Эхе-хе-хе…

Он не то смеялся, не то вздыхал, выпуская из округленного рта это яростное:

— Эхе-хе-хе-е…

И, кривя личико, торжествуя, спрашивал:

— А мы — как: пьем ее, сырую-то, али не пьем, а?

Публика, посмеиваясь, отвечала в несколько голосов:

— Пьем.

— Живы, а?

— Будто — живы.

— То-то! Вот они, законы эти. Во-от! За это и — скосить…

И, убежденный, что он сделал свое дело, человечек этот вывертывался из толпы, шагал прочь, помахивая палкой, а в новой группе снова наяривал:

— Два, два сословия особенно в язву нам, в боль и скорбь…

Несомненно, он тоже вылез из какого-то темного угла, куда его затискала жизнь и где он годы одиноко торчал, корчился, накопляя злобу и месть.

Возбуждающих вражду против интеллигенции, видимо, немало; мне кажется, что чаще всего это дворники, лакеи,

кухарки, вообще — домашняя прислуга.

После одного из митингов в цирке «Модерн» краснолицая, толстая женщина рассказывала солдатам, «как живут господа», рассказывала остроумно и такими словами, что из десяти даже трех не напишешь. Солдаты бешено хохотали и плевались смачно, слушая, как действовал доктор, специалист по женским болезням, как вела себя еврейка-дантистка и как «обрабатывал» своих учениц актер.

— Бить эту сволочь, — сурово сказал черный солдат с подвязанной челюстью, — бить ее до последнего колена…

А в другой группе хромой человек лет сорока, безволосый, как скопец, кричал:

— Я всю жизнь в конюшне с лошадями, в навозе, а они в превосходных квартирах на мягких диванах с собачками играют. Нет, стой! Это я желаю с собачками играть, а вы — марш в конюшню, да? Почему — не так, почему, ну?

Страшно и нещадно говорила молодая женщина, одноглазая, с лицом, сожженным серной кислотой:

— Глядите в Библию — есть там господа? Нет господ в Библии! Цари есть, судьи, пророки, а господ — нет! И сам бог приказывал избивать племена, в которых господа были, поголовно все такое племя истреблять велел, с женами и детьми, и с рабами даже. Потому что от господ и слуги испорчены, и слуги уже — не люди, нет!

— Удавись, тетка, — посоветовали ей из толпы.

Но она, сжимая руками круглые высокие груди свои, кричала резко и звонко:

— Я одиннадцать лет в горничных жила, и видела я…

Она видела много такого, чего не знал Октав Мирбо, когда писал «Дневник горничной», и, когда она говорила о том, что видела, ее слушали без смеха, молча, мрачно.

И только когда она ушла, вся красная и потная от возбуждения, курносенький солдатик сказал, глядя вслед ей:

— Не зря бабе этой рожу испортили.

Страшен обиженный человек, когда он чувствует свое право мстить и получил свободу мести.

Вот бы об этом человеке прежде всего надо подумать социальным реформаторам и политическим вождям.

Мечта

«Я вам, товарищ Горьков, очень смешное расскажу про себя: чего мне невтерпеж хотелось — так это графиню бы какую-нибудь, чтобы с ней поспать. Долго искал, даже во сне видел:

высокая, белая, глаза фактические и — во всем твердость.

Всякие там помещицы, дворянки — их у нас, в лагере, сколько хошь, а графиней нету. Товарищи, конечно, смеются, а я думаю: «Врете, найду!» И — нашел. Привели ее, заарестованную по контрреволюции, конечно; бежит ко мне один прохвост: «Епифаньев, — кричит, — иди скорее, твою привели!» Являюсь, а ей лет пятьдесят, носатая, рябая! Осердился я: «Что ты какая, так твою разэдак, а?» А она мне: «Пошел прочь, дурак, такой меня бог создал». Чуть не ударил я ее. «Ну так, — говорю, — пускай тебя бог и… а я — не стану». Так и не тронул ее. Смеяться над ней, конечно, много смеялся, а с бабьей стороны — не трогал. И от этого факта — прошло со мною: сплю теперь со всякими женщинами, а графиню уж не жду. Не надо, значит. Только, иной раз, вздумается: «К чему все это клонит, вся наша суматоха?» Ведь — фактически — как ты ни живи, что ни делай, а — помрешь — верно?»

Отработанный пар

…Стекла окна посинели, костистое лицо моего собеседника стало темнее, особенно густо легли тени в ямах под глазами. Мне показалось, что растерянно блуждающий взгляд его стал сосредоточеннее, углубился; скучные слова жалоб зазвучали значительнее, раздраженный и сиплый голос — мягче. Безжалостно и, должно быть, до боли туго накручивая на палец бесцветные волосы жиденькой бороды, он говорил:

— Народ, торжествующий свободу, я видел во сне лет десять тому назад; тогда я сидел в Орловской тюрьме и еще свежи были впечатления девятьсот пятого года. Вы знаете, как зверски били людей в Орловской тюрьме. Да. Сон мой начался кошмаром: кучка людей, и среди них Борисов, наборщик, мой ученик, тыкала, размешивала палками чье-то растерзанное тело. Я спросил Борисова: «За что вы истерзали человека?» — «Это — враг!» — «Но — человек же?» — «Что-с? — крикнул Борисов и замахнулся на меня палкой. — Бей его!»

— Но палка вывалилась из рук, он протянул их вперед и зашептал с восторгом, приплясывая: «Глядите, — вот, идут, кончено, идут!»

— Шли неисчислимые массы одухотворенных людей, я видел неестественный какой-то, звездный блеск тысяч глаз. Именно в этих глазах почувствовал я самое главное — воскрес народ! Понимаете? Воскрес, преобразился духовно. И я тотчас исчез в нем, точно, вспыхнув, сразу сгорел.

Гость мой постучал карандашом о край стола, прислушался к

сухим звукам и постучал еще.

— Теперь я вижу торжествующий народ наяву, но чувствую себя чужим среди него. Он торжествует, но в нем нет для меня того нового, что я видел во сне и в чем смысл, — нет перевоплощения. Он торжествует, я истратил лучшие силы мои, чтоб подготовить это торжество, и — остался чужд ему. Очень странно…

Взглянул в окно, послушал; осторожно, неуверенно звонили ко всенощной, в Петропавловской крепости щелкал пулемет: солдаты или рабочие изучали технику защиты свободы.

— Может быть, я, как многие, вообще не умею торжествовать. Энергия ушла на борьбу, на желание, способность наслаждаться обладанием убита. Может быть, это просто бессилие. Но дело в том, что я вижу много злобы, мести и совсем не вижу радости, той радости, которая перевоплощает человека… И веры в победу — не вижу.

Он встал, оглянулся, слепо мигая, протянул руку и, пожимая мою, сказал:

— Мне плохо. Как будто Колумб достиг наконец берегов Америки, но — Америка противна ему.

Ушел.

…Ныне многие чувствуют себя так, как этот. А он — точно сторожевой пес на исходе дней собакиной жизни: от юности своей рычал и лаял пес так честно, с непоколебимой верой в святость своего дела, получал в награду за это пинки. Вдруг — видит: сторожить было как будто нечего, никому ничего не жалко. Зачем же он сидел всю жизнь в темной будке «долга», на цепи «обязанностей»? И — до безумия обидно старой честной собаке…

…Другой из людей этого типа сказал о революции:

— Мы, как влюбленные романтики, обожали ее, но пришел некто дерзкий и буйно изнасиловал нашу возлюбленную.

Соседний вагон «буксует», ось надоедливо визжит:

— Рига-иго-иго, рига-рига-иго…

А колеса поезда выстукивают:

— По-пут-чик, по-пут-чик…

Попутчик — человек до того бесцветный, что при ярком солнце он, вероятно, невидим. Он как бы создан из тумана и теней, черты голодного лица его неразличимы, глаза прикрыты тяжелыми веками, его тряпичные щеки и спутанная бородка кажутся наскоро свалянными из пеньки. Измятая серая фуражка усиливает это сходство. От него пахнет нафталином. Поджав ноги, он сидит в уголке на диване, чистит ногти спичкой и простуженным голосом тихонько бормочет:

— Истина — это суждение, насыщенное чувством веры.

— Всякое суждение?

— Ну да, всякое…

— Иго-иго-рига…

За окном, в сумраке осеннего утра, взмахивают черными ветвями деревья, летят листья, искры.

— У пророка Иеремии сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах». Истина детей наших — вот эта самая оскомина. Мы питались кислым виноградом анализа, а они приняли за истину неверие и отрицание.

Он окутал острые колена свои полою парусинового пыльника и, внимательно ковыряя спичкой ногти, продолжал:

— Перед тем как уйти в Красную Армию, сын мой сказал мне: «Вы честный человек, откройте же глаза и посмотрите: ведь в теории все основы жизни уже разрушены вашей же, вашего поколения долголетней и всесторонней критикой, — что же, собственно, вы защищаете?» Сын мой был неумен, он формировал мысли свои книжно и неуклюже, но он был честный парень. Он стал большевиком тотчас после опубликования тезисов Ленина. Сын мой был прав, потому что он веровал в силу отрицания и разрушения. Разумом и я согласился с большевизмом, но сердцем — не могу принять его. Так я и сказал следователю Чеки, когда меня арестовали как контрреволюционера. Следователь — юноша, щеголь и, очевидно, юрист, он допрашивал меня весьма ловко. Он знал, что сын мой погиб на фронте Юденича, и относился ко мне довольно благожелательно, однако я чувствовал, что ему приятнее было бы расстрелять меня. Когда я намекнул ему о противоречии моего сердца с разумом, он задумчиво сказал, ударив ладонью по бумагам: «Мы это знаем из ваших писем к сыну, но, разумеется, это не улучшает вашего положения». — «Расстреляете?» — спросил я. Он ответил: «Это более чем вероятно, если вы не захотите помочь нам разобраться в этом скучном деле». Ответил без смущения, но с эдакой, как бы извиняющейся, усмешкой. Кажется, я тоже улыбался, мне понравилось его отношение к своему долгу. И еще более он подкупил меня, сказав так, знаете, просто, как самое обыкновенное: «Может быть, для вас и лучше — умереть, не правда ли? Ведь жить в таком разрыве с самим собой, как вы живете, должно быть — мучительно?» Потом извинился: «Извините за вопрос, не идущий к делу».

— Иго-рига-рига, иго-иго, — визжит ось.

Позевывая, ежась, человек смотрит в окно, струйки дождя текут по стеклу.

Я спрашиваю:

— И все-таки он освободил вас?

— Как видите. Вот — жив. Как видите.

И, обратив ко мне пеньковое лицо свое, человек сказал с легкой насмешкой и вызовом:

— Я помог ему разобраться в некоторых вопросах следствия…

— По-пут-чик, по-пут-чик, — стучат на стыках колеса поезда. Усиливается дождь, — ось визжит еще более пронзительно.

— И-гуи-гуигу-игуи…

Быт

…В стеклянном небе ожесточенно сверкает солнце июльского полудня. Город задохнулся в жаре, онемел, молчит, лишь изредка возникают неясные звуки, бредовые слова.

Гнусавенький фальцет задумчиво тянет песню:

Над серебряной рекой
В золотом песочке
Я девчонки молодой
Всё искал следочки…

Густой голос сердито спрашивает:

— Куда вас, под утро, гоняли?

— Расстреливать.

— Многих ли?

— Трех.

— Мычали?

— Зачем?

— Без крику, значит?

— Они — без капризу. У них тоже своя дисциплина: набедовал и — становись к расчету.

— Господа?

— Будто — нет. Крестились.

— Стало быть — простяки.

Минута молчания, потом снова заныл фальцет:

Ясный месяц — укажи…

— Ты — стрелял?

— А — как же…

Иде она гуля-ала…

Густой голос насмешливо говорит:

— Про девчонок вот поешь, а рубаху сам чинишь. Обормот…

— Погоди, будет и девчонка. Все будет…

Тихий ветер, расскажи,
О чем р-размышляла…

…Колонны зала украшены кумачом и нежной зеленью березовых ветвей. Сквозь узоры листьев блестят золотые буквы, слагаясь в слова:

«Пролетарии… Да здравствует…»

В открытые окна свежо дышит весна, видны черные деревья и звезды над ними.

В углу зала черный человек, изогнув тонкую шею, колотит длинными руками по клавишам рояля. По полу скользят, извиваясь, матросы и рабочие, обняв разноцветных девиц, гулко шаркая ногами, притопывая. Дьявольски шумно, неистово весело.

— Гранд-ром, черти! — с отчаянием орет великан-юноша, в белых башмаках и синей рубахе, вихрастый, со шрамом на лбу и на щеке. — Стой, — не гранд-ром, а — как его? Хватайся за руки, кругом — мар-рш!

Образуется визгливый хоровод, кружится вихрь разноцветных пятен, гудит пол под ударами каблуков, тревожно позванивает хрусталь огромной люстры.

За колонной, под складками багряного знамени, приютилась отплясавшая пара: гологрудый, широкоплечий матрос, рябой и рыжий, с ним — кудрявенькая барышня в голубом. Серенькие глаза ее удивленно блестят, — должно быть, еще впервые так покорно сгибается пред нею большой такой зверюга, заглядывая в фарфоровое личико ее добрыми круглыми глазами. Она обмахивается беленьким платочком и часто мигает, ей, видимо, и страшно и приятно.

— Ольга Степановна, позвольте снова задеть ваше религиозное чувство…

— Ой, погодите, жарко…

— Нет, все-таки! Хорошо: допустим, это — бог! Ну, ведь бог — штучка воображаемая, а я — реальный факт, однако как будто не существующий для вас.

— Вовсе — нет…

— Позвольте! Разве это мне не обидно? Предмет воображения заводит вас в пустоту неизвестности и в беспомощность, а перед вами человек, готовый хоть куда ради милой вашей души…

— Р-равняйсь по дамам! — грозно командует великан, подняв руку над головою. — Беги восьмерками вокруг колонов!

— Пожалуйте, Ольга Степановна…

Он подхватывает барышню так, что ноги ее, оторвавшись от пола, мелькают в воздухе, и бросается с нею в пестрый, шумный вихрь пляски.

Потом она, задыхаясь, сидит на подоконнике, а он, стоя пред нею, вполголоса, очень убедительно говорит:

— Конечно, мы — люди нового характера, народ прямой, однако ж мы не звери, не черти…

— Разве я говорю что-нибудь подобное? Ничего подобного…

— Позвольте! Если вы обязательно желаете венчаться в церкви, то, конечно, это пустяки, однако товарищи могут смеяться надо мной…

— А вы не говорите никому…

— Тихонько? Даже и на этот поступок против атеизма я готов ради милой вашей души; однако ж, Ольга Степановна, лучше будет, ежели мы начнем привыкать к атеизму, ей-богу! Жить надо, Ольга Степановна, на свои средства, без страха, и — вообще довольно боялись! Теперь никого не надо бояться, кроме как самого себя. Вы — что, товарищ? Вы, собственно, чего желаете? Может быть, этого?

Медленно поднимается в воздухе кулак, объемом с полупудовую гирю.

А на средине зала неистово кричит главнокомандующий танцами, великан:

— Отступление от барышень на два шага и поклон, — р-раз, два-а! Барышни выбирают кавалеров, кому который нравится, — без стеснения…

Из письма

Из письма гражданина Ф. Попова:

«Так как знаменитый Дарвин твердо установил факт необходимости борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых, то есть не способных к полезному труду людей, и принимая во внимание, что в древности и без Дарвина знали это: стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на деревья, стряхивали их оттуда, чтоб они разбились, — то отсюда ясно, что наука опередила нашу приторную мораль. Однако, протестуя против неразумной жестокости, я предлагаю следующее: уничтожать неспособных к социально полезной работе мерами более сострадательного характера, примерно: окармливать их чем-нибудь вкусным,

ветчиной или сладкими пирогами со стрихнином, а дешевле — с мышьяком. Эти гуманные меры смягчили бы формы борьбы за существование, ныне повсеместной. Так же следует поступать с идиотами, деревенскими дурачками, некоторыми калеками и неизлечимо больными чем-нибудь вроде чахотки или рака. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже решительно перестать считаться с ее реакционной идеологией».

Митя Павлов

Где-то в Ельце умер от тифа Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова.

В 905-м году, во дни Московского восстания, он привез из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг ребер, но — войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, лицо его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии.

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть в обморок — понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:

— Пропал бы шнур, и капсюли тоже…

М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ругался, а Митя, щурясь, спрашивал:

— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?

Потом, лежа на диване, указав глазами на Тихвинского, который рассматривал капсюли, спросил шепотом:

— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? Да — ну-у?

И вдруг беспокойно осведомился:

— А не взорвет он вас?

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал, — ни слова.

А. А. Блок

…Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом пред самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать? Теперь

уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности»— 51 г. 4. V — сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постичь человека».

Так же говорит Достоевский:

«…слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь… много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Черт бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

«В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная старая ведьма — совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 906-м году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек — несчастен, вот почему он и социально ценен, и симпатичен лично».

Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем, и Монтэнь печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что все это — в зародыше — есть у них. Эпикуреец Монтэнь жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтэнь — пошл».

Лев Толстой мыслил церковно и по форме и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему, и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение, которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауэр, любуясь развитием своей мысли. На мой взгляд, для Льва

Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне кажется, что он всегда помнил слова Тертуллиана, — слова, которыми выражено отчаяние фанатика, уязвленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха пред мыслью и ненависти к ней — в Библии, VI, 1–4:

«Азазел же научил людей делать мечи и ножи… научил их разным искусствам… объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие…»?

Все это припомнилось мне после вчерашней неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто вроде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радует? В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например:

«Цивилизовать массу и невозможно и не нужно»; «Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство» — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной литературы» и нередко спорю, говоря о

несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас ненастоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица я видел, что он жадно хочет говорить, спрашивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что, по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного, сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно, наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но, когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье…

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — несерьезно?

Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю, — панпсихизм, что ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно

превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия, — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это — скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия… жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг… Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб…

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить бы движение, пусть прекратится время…

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно заговорил какими-то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как бы хорошо ни был он одет, — хочешь видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос

Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказала мне:

— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец.

Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и заснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще!» И — представьте же себе! — я опять заснула, — скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу! Он так нежно покачивает меня, и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!» И показал мне портрет в журнале, — вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло!»

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мною, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения.

Вместо послесловия

Странные бывают совпадения мнений: в 901-м году, в Арзамасе, протоиерей Феодор Владимирский рассуждал:

«Каждый народ обладает духовным зрением — зрением целей. Некоторые мыслители именуют свойство это «инстинктом нации», но, на мой взгляд, инстинкт ставит вопрос: «как жить?», — а я говорю о смутной тревоге разума и духа, о вопросе: «для чего жить?» И вот: хотя у нас, русских, зрение целей практических не развито — потому что мы еще не достигли той высоты культуры, с которой видно, куда история человечества повелевает нам идти, — однако ж я думаю, что именно нам суждено особенно мучиться над вопросом: «для чего жить?» Пока что — мы живем слепо, на ощупь и крикливо, а все-таки мы уже люди с хвостиками, люди с плюсом».

Через пять лет, в Бостоне, Вильям Джемс, философ-прагматист, говорил:

«Текущие события в России очень подняли интерес к ней, но сделали ее еще менее понятной для меня. Когда я читаю русских авторов, предо мною встают люди раздражающе интересные, однако я не решусь сказать, что понимаю их. В Европе, в Америке я вижу людей, которые кое-что сделали и, опираясь на то, что они уже имеют, стремятся увеличить количество материально и духовно полезного. Люди вашей страны, наоборот, кажутся мне существами, для которых действительность необязательна, незаконна, даже враждебна. Я вижу, что русский разум напряженно анализирует, ищет, бунтует. Но — я не вижу цели анализа, не вижу — чего именно ищут под феноменами действительности? Можно думать, что русский человек считает себя призванным находить, открывать и фиксировать неприятное, отрицательное. Меня особенно удивили две книги: «Воскресение» Толстого и «Карамазовы» Достоевского, — мне кажется, что в них изображены люди с другой планеты, где всё иначе и лучше. Они попали на землю случайно и раздражены этим, даже — оскорблены. В них есть что-то детское, наивное и чувствуется упрямство честного алхимика, который верит, что он способен

открыть «причину всех причин». Очень интересный народ, но, кажется, вы работаете впустую, как машина на «холостом ходу». А может быть, вы призваны удивить мир чем-то неожиданным».

Среди таких людей я прожил полстолетия.

Надеюсь, что эта книга достаточно определенно говорит о том, что я не стеснялся писать правду, когда хотел этого. Но, на мой взгляд, правда не вся и не так нужна людям, как об этом думают. Когда я чувствовал, что та или иная правда только жестоко бьет по душе, а ничему не учит, только унижает человека, а не объясняет мне его, я, разумеется, считал лучшим не писать об этой правде.

Ведь есть немало правд, которые надо забыть. Эти правды рождены ложью и обладают всеми свойствами той ядовитейшей лжи, которая, исказив наше отношение друг к другу, сделала жизнь грязным, бессмысленным адом. Какой смысл напоминать о том, что должно исчезнуть? Тот, кто просто только фиксирует и регистрирует зло жизни, — занимается плохим ремеслом.

Мне хотелось назвать этот сборник: «Книга о русских людях, какими они были».

Но я нашел, что это звучало бы слишком громко. И я не вполне определенно чувствую: хочется ли мне, чтоб эти люди стали иными? Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодарный материал для художника.

Я думаю, что когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда — он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот, и уставший, и обезумевший от преступлений, мир.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

А. П. Чехов

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам

лярингит, ревматизм, туберкулез… ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это… какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам за то, что вы такой терпеливый…

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность…

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам…

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю всё дряхлые слова… значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал… больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил…

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг…

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить

глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее…

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем…

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах, — кто-то бьет, именно в вашем уезде…

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — двадцать рублей… а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня…

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит… а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — всё понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще, и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас…

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит…

— Почему?

— Затравят… прогонят…

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей…

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, — требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже

приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром…

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее…

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны…

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад… а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком…

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству

сострадания, — чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса…

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво… А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на… сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку

высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный… он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки…

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно… лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм…

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да… очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Всё знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками…

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература… литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний… душа в тоске. Точно какая-то болезнь….

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади

пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором…

В его серых грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески, — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для

престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху, и виляют хвостиками…

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет…

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости…

И когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости…

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы… порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно

правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском… И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка» — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается,

что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места…

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен…

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А.П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А.П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,

Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церквы бы строил да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо… Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее…

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно, хочется сказать — целомудренно, и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка…

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям».

Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион…

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо…

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море, неожиданно сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов: пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли

в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь…»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует… Какой удивительный…

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержицкого, — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок…

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки…

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем

очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

«Время Короленко»

…Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишка на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем

эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так…

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая

ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы:

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония»

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не

привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру» — это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный, широко образованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

…Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

«Все живое — из клетки».

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще… Ну и пишите! Хорошие стихи — приятно читать…

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то… —

он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался…

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы

— не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева…

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружкй.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с богом… Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это…

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас… И — вообще…

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушие спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

…Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении,

ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их…

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

…В солдаты меня не взяли; толстый веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом маленькие забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шепота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня до немоты изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но

он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

…Жизнь моя шла путано и трудно. Я работал в складе пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил наконец показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — негромко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это… очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг…

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»… Раз — так, — не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы,

как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. *Вл. Кор.»*

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое — «Беседа Черта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали черт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-голландку и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил…

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных

поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком; солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

…В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем наиболее любезным для этой среды был Н. Н. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего…

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем, — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В.Г. — кажется, А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влиятельный среди молодежи. — Оп-писание физиологического акта рождения — дело специальной литературы, и тараканы тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном Дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В.Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов — В.Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист,

обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», — таковой в то время считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым философам» примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян — слыхал?[5]

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в

трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чаю, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг, — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, господь позовет меня на его работу…

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

…Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86–96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что неладно живу…

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, — говорит, — книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров». Я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: «Будет дурить!» Выпустили из острога, я сейчас к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», — говорю. «Очень хорошо, — говорит, — вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких

племен.

Зарубин был седобородый грузный старик, с маленькими мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя, возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты», — ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться «математическими» словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки…

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков.

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского купца, Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает…

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России к Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» — все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красному Кресту», — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором

«между прочим», а не «прежде всего»…

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе» — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89–90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить: «Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лоховицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало романы Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях» — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане, — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит, дело: обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, — в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили

противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, — относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно, почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одуряющий яд книг уж не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В.Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю.

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал: «Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и, наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, — возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В.Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям…

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, — сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий, вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо…

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера… веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции…

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею…

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь…

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, — разошлись…

В. Г. Короленко

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В.Г.

Рассказы были подписаны М.Г. или Г-ий, их быстро напечатали. Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей, очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В.Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, всё аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним

загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В.Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, — это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь, добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком — нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В.Г. продуманно и решённо. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В.Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все

растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню…

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный, — Ведь вы уже пишете, печатаетесь — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем…

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В.Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. *Вл. Кор.*»

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас…

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевыпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и

учителя; передо мной был хороший человек, дружески-внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе…

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись.

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В.Г. — Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был…

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, — всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите — вы уже заразились!

Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи…

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем, критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В.Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа» — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, — он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь.

— Не помню! Во всяком случае, это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю, и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — неплохо. Мы не

очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе» — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — немного! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали — правда, что в деле Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В.Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики…

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости»,

а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В.Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано…

Я был очень смущен его похвалой. Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу…

— Очень волнуюсь…

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — ненужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там…

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоцманом, я молча следил за его глазами — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В.Г. мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь…

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:

Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфект, консервы, колбасы, и таким образом обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались

городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку-татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов.

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам Древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын.

В.Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97-го года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и

зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить; Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, вы утверждаете… А между тем нам известно…

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95-го по 901-й год — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901-м году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я

напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе: «Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В.Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, недешево стоило ему Мултанское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, всё так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь…

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский…

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В.Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В.Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова:

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мелынина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя-студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе — человек, неприемлемый для учащейся молодежи,

он эксплуатирует издателей журнала “Жизнь”». Я уже более года знал Поссе, и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества, «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей мне неведомых я получил записку П. Б. Струве — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В.Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, Вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В.Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 908-м году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87-м году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

> На святой Руси петухи поют,
> Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб

ускорить рассвет этого дня.

Лев Толстой

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький

Заметки

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа

или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л.Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л.Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь, — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И

дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы как звери…

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души[6].

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л.Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon»[7]. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил…»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

…не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые

всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л.Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет…

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру,

Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда — еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо…

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?

— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его… Нет, не то… — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А.П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л.Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый…

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — грубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за…, а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет…

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан…

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо…

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда ли — странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: Идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен…

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л.Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого…

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый…

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л.Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо

говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л.Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л.Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». — И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «Шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова, — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано… «Толк-то есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А.М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По… Лопатой, а? По самой по… И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал…

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда…

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень

странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо…

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное… да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом…

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни, княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь…

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим

изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади… Не надо боясь…

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали немало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя

назвать иначе, — гений…

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно…

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не

веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их…

Пришла жена А.Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила, не спеша, красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок, — оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Л.Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно,

строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немец-: кий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали и всё в этом роде, так он был пьяница — «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно. Даже если вы и придумали, — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве… Плеве… — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели… —

и еще что-то такое же…

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое… Всегда есть…

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской. Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой…

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.
И еще через минуту:
— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертуллиан сказал: “Мысль есть зло”».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону:

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту:

— Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь

неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря: «Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не разъединенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, — уж

Вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, — человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторяю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, Вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону

жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, все это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как Вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканьи путешествия и называются «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбредались», и только, когда дошли до мест, хуже которых — не найдешь, дальше идти — некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905-м году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий

Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это — пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухов и не Нехлюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905-м год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов — оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, — взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем, — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа; своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа

— для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит…

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что

однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но — далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Л.Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного… нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном,

мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, — люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!»

Увы, это так, надолго — так! И не могло и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л.Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от

«главного». А «Война и мир» и всё прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «Войне и мире» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам…

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели все насквозь, — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от

него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника…»

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну, — баня. Вот строг… фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил…

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л.Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей

таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий

писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А.П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А.П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А.П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л.Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах; он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство

Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л.Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л.Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо

жить и как стала чиста душа его, прияв учение Толстого. Л.Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное…

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет — это было в Хамовниках, — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят, вы очень начитанный, — правда? Что, Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем — представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной… —

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л.Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем, и, этаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л.Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно

шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот… вот сейчас… ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера…

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л.Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так ударил…

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л.Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л.Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Доде — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь, — Л.Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда выдумываете — у вас рыцари родятся, всё Амадисы и Зигфриды…

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена — очень надоедный, но — солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, — «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л.Н. — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут…

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, — историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две такие семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Лев Николаевич!

— Оставьте! Это очень серьезно! Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и

опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и все кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне…

Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь… Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал;

вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь, — ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам… да ма-амка же. Встань же…

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

— Да, да — ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, — ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так… стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет — нужно писать все, обо всем…

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — все улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня — «ручьистее», говорят бабы… А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте…

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель,

прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л.Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Лев Николаевич.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и

совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек — богоподобен!»

Леонид Андреев

Весною 1898 года я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях, — чувство великодушия и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые якобы должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души[8].

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примирялась с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда».

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких рассказов его и фельетонов Джемса Линча, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-

тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуемно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

Зимою, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, — тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодовитостью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное, данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

— Что такое С.? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

— Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, — вот как! Все ему верят, — так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма, — ответил он. — Вы сами знаете, — человек, который не пробовал убить себя, — дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне: мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло нас к такой нелепой забаве? — спросил Л.Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет, — возразил он, — это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» — качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, — я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты… Кто-то сказал:

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю, —

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь — безумно страдая — искал истину, и вот она явилась пред ним,

но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно…

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л.Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чаю, — Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно, — сознавался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг почему-то вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии — человек, разумеется, тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К черту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, — на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, — хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, — напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л.Н. не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня «Илиада», Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно — в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию — все, что хочешь, — в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь…

Но, относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

— Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее

сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и все еще улыбаясь, он сказал:

— Знаешь — это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о боге — очень глупое, — добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Все это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему о необычной позиции некрещеного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— Вот видишь — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать.

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова — об одном из произведений безвестных мучеников мысли, произведений, которые вызваны к жизни «Исповедью» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чаю, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это, — говоришь ты как атеист, а думаешь как верующий. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»…

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету все, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски пестрым галстуком, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что все это великолепие — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь — мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он. — Ведь у Екклезиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклезиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах, — говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

Медных сосен колонны,
Моря звон монотонный…

— Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

Я люблю все то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет.

Это поют в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

И вздыхают деревья,
Как без рифмы стихи.

Это мне нравится. Но — скажи — зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи — искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всех — до седьмого колена —
Я вас перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Тррепещите! Я рад. —
Казбеком вам в головы брошу,
Низвергну на вас Арарат!

Он хохотал, неистощимо придумывая милые, смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне со стаканом вина в руке, заговорил негромко и серьезно:

— Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бернсу — поэту. Надписи на памятнике — кому он поставлен — нет. У подножия его — мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» — «Роберта Бернса», — ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты,

но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бернсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось, — меня всегда тяжко тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца», — он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит или — не стоит жить. Я не боюсь сказать, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты — ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей. Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом — ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы…

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное — испражнения души, отравленной плохою пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское — например, ребячливо-наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне ни к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски искренно стал хвастаться:

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно, и кончил свою тираду юмористическим шаржем.

— Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи…

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это порою весьма портило и его работу, и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно резко для себя раскалывался надвое: на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна!» и провозглашать ему — «Анафема!»

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И чем более громко он возглашал: «Осанна!» — тем более сильным эхом раздавалось — «Анафема!»

Он говорил:

— Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выцветет пиджак, — ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим — по поводу смерти Эмиля Золя от угара — хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость!

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, хотя бы и маленьким, — тем быстрей развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— Привязанность к вещам, — говорил он, — это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас, — вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

— Это поклонение мертвой материи, — кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием…

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненный, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и, хотя жизнь его мучительна, — он все более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его — «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь.

Это звучит как парадокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою,

волнует тебя, — боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое словом, не решаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человечески ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно, — в этих случаях многое и даже все, что ты хочешь, — можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человечьей, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжкое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной навеки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любуешься, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, — все это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели радужные, призрачные шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые

звуки, — особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда. Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем смотреть пожар?

— В Петербурге пожары не интересны.

Он согласился:

— Верно. А вот в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы и мечутся, как моль, мещане, — хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, черт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг другу, — ты ведь знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но порою мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему, как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль, — говорил он, глядя в потолок угрюмо-темным взглядом испуганных глаз. — Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы — как я думаю и зачем я думаю, источник главнейшей муки людей, — это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста…

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них, стройная эстонка, назвала себя Эльфридой. Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми, без блеска, глазами с жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам — они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно, — когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто

жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «плененного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фрукт, конфект и где-то на Разъезжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками, — стали пить.

Перед тем как напиться до потери сознания, Леонид опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена, — она, видимо, считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня — даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а у него зуб вставлен был — и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышнотелая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по-змеиному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклонялась к Андрееву, он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка, и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает!

Моментами возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и гладя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам, — судорога полового акта, — да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтоб я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, — только сперматозоид.

Я предложил ему идти домой.

— Иди, я останусь здесь…

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег. Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки, и забавно стал

говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведает редьки, у него вырастают крылья, — говорил Леонид.

— Нет. Это неправда, — серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то! — закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты, — я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов, — бормотала она.

Девица, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку: отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился:

— Едем!

Но захотел одеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девица.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полушария зонтиков, казалось, поднимают людей вверх, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь, девица шепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети

твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили, и, когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как седеют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Всё так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется, — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем; или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг него и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по-твоему же — равновесие — смерть!

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка — не помню чья — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому неправдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай; зная, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то похожее на рыбный садок…

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы, — сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно, так дети думают, — наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей…

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой; Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить

Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз — помню — он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах, — ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:

— Знаешь, что Z сказал про тебя? — или сообщит:

— A S говорит о тебе…

И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были неискренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, евангелие бабы — «Декамерон».

Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались, и оба плакали, — говорил он, понизив голос и съеживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена

и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей, и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!

Он рассказал это превосходно, насытив слова своим милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков…

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал: «Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который наверное не понравится

тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты что же, смотришь на революционера глазами Нечаева: «революционер — не человек»?

Он обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а только ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.

— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской неприятной склонности исповедоваться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь, — говорил он, — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу…

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так, один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает, — во фраке, что ли, надо купаться? И ведь врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям, — краткую просьбу:

Будьте любезны, —
Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично как человеку

— Не надо этого делать, — советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят…

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого

множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.

В Нижнем у меня Л.Н. встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй Государственной думы, — человека замечательного. Когда-ни-будь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества, а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими, — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей

шляпе — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бородке спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет как нищий, сам копает канавы в лесу, забивая их глиной, а когда сил у него не хватало — Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака»-попа, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Л. Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора, укравшего у него саквояж и зонт, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества, — Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости божией и духа его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ» — гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли…

— Софизмы сочиняете, господин писатель…

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего. Ниспровергнув все, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастлив ты, Алексей, черт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок… или же вокруг меня толкутся…

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории Ветхого Завета», рукопись которой у него отобрана по постановлению синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор доказывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему

— Да, — задумчиво говорил Леонид, — надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом…

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я того… пришел! Слышу — говорят, пойду, мол, извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, что я напрасно горячился. Вот — пришел — простите! Иду спать…

Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид — хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия?.. «Позвольте — мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете!» Это же — не Белинский говорит, это — вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, — не более того!

А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:

— Однако Европа все ж таки мать крестная нам, — не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы — и только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп — умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве, — уезжай отсюда. Скверно тут — дождь, грязь… — И тотчас же стал собираться домой…

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты вот умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказывал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему, — людях высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся:

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе «Так было — так будет».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у черта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно, — возражал он, — вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым, — после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о

последовательности, о «хронологии».

В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л.Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

«Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак — его не чувствуешь», — сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна, — я прозвал ее «Дама Шура», это очень привилось ей.

Л.Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее

близости становились все более грозными, эсеры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания ЦК социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.

Просидев в тюрьме с месяц, Л.Н. вышел оттуда точно из купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут, — хочешь всесторонне расшириться! — говорил он.

И смеялся надо мной:

— Ну что, пессимист? А ведь Россия-то — оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавея.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен», но уже в октябре 1905 года прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно…

Вскоре он уехал в Финляндию, и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, — наша родина свернула к точке, наиболее любезной ей, и снова долго будет жить распивочно и на вынос».

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтре. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях, — говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в нашем городе живем, как в бане, — без поправок, без стеснения».

О России Л. Н. говорил скучно и нехотя и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

За что любить тебя, какая ты нам мать?..

— Написал я пьесу, — прочитаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской богоматери, — Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклостиль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателя я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, — уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые — очарованы своей верой и любовью — идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку и краски, достойные его. Мы поспорили, и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Л.Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется, в 907 или 8-м году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи

сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь, — сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторил мальчик.

— Ну, иди спать…

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя, ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал

понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело — как он давно уже не говорил — он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о деспотизме дружбы — уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас — легко и быстро — сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике, — один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде, — еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье[9], — очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселля «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга и поэма Голованова, — я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги — ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жигулева», сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки», — все это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Л.Н. принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и

всевозможным угнетением несчастных русских землепашцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

«Угнетон — безжалостный помещик.

Свирепея — таковая же супруга его.

Филистерий — Угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Декадентий — неудачное чадо Угнетоново.

Терпим — землепашец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

Скорбела — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременна постоянно.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Раскатай — несомненный урядник, а на самом деле — благородный граф Эдмон де Птие.

Мотря Колокольчик — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тень русского критика Скабического.

Тень Каблица-Юзова.

Афанасий Щапов, в совершенно трезвом виде.

«Мы говорили», — группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — «Голубые Грязи», поместье Угнетоново, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то».

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видал его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый. Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда наконец я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, карбонариях, о жизни калабрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни! — восхищался он. — Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал

читать «Историю русского народа» — страдают! Бросил, — обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сенбернарских собак в XII веке еще не было, — он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «Они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной фантазии, он не заботился о том, чтоб развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне все трудней находить нужные слова…

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно-темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина, — липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав: он действительно потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эсер. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, — пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился

пред нею и поцеловал руку ее, — мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и всё.

Иногда, к сожалению очень редко, действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл и форму события. В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжко: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей, для того чтоб не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносилен убийству из каприза — злого каприза. Он напомнил мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения, — я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю, — ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание, — оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю, — повторил он. — Кажется, нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и, когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня все лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция, — говорит он. А когда терпение мое истощается, жажда жизни душит меня, — революция, — говорит он. И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою пред лицом моим, продолжал:

— Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их кровью и плотью мира. А вложив все до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блестел ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе дьявола — женщиной, бога — мужчиной, и они родят новое существо — такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же…

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни По.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди… кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

— Это, Апексеюшко, тоже Арзамас — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха…

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно жестокий

и бессмысленный характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступлений населения московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразил тот факт, что во Второй Государственной думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней убежденностью.

Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л.Н. способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то — «лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе все более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу, — к Эдгару По чаще других.

Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война, — отношение к ней еще более разъединило меня с Андреевым.

Лишь в 15-м году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы, однажды, поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другою размахивая в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил:

— Можешь ты сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей вообще симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и объяснению не поддается.

— А все-таки?

— Еврей суть человек верующий, вера — его, по преимуществу, качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя знаю: фанатизм — нечто наркотическое, но наркотики — не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное в отношении к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже, — вот в чем дело! Кто-то сказал: «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник…

— Достоевский не утверждал этого, это — Ницше…

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка…

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно — царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей, — грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия — глупо думать, что он предавал только ради заработка. Знаешь, — если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова, — он все-таки предал бы его. Убить бога, унизить его позорной смертью — это, брат, не пустячок!

Он долго говорил на Геростратову тему, и — как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями, — говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываемо блестит страх пред чем-то, — в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы:

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнуто остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни, — как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество — зачем же насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец — русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — черт знает чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь, он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький, и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сердись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина, — не любит он его. Но вдруг, скучным голосом, сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда привез мне книги свои, оба снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии, я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

<Л.А. СУЛЕРЖИЦКИЙ>

Растут города, и постепенно утолщается слой «чернорабочих культуры» — вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это — довольно мощный экономически, пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию, это — сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно.

Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского Художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий, человек исключительно одаренный, человек, родившийся «праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь — яркое горение силы недюжинной, его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н. Толстой, — сын киевского переплетчика; он родился в подвале, воспитывался на улице.

— Улица — это лучшая академия из всех существующих, — рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко преодолевать «огни, воды и медные трубы». — Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашию пред жизнью меня учили воробьи…

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки.

— Хорошо орлу ширять в пустоте небес — там никого нет, кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища, — лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки — вся жизнь огромна, подавляет. Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрецов, — как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил…

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напоминал

какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего лета, — такой подвижный, независимый, окрыленный страстью к жизни.

— Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвращение к насилию.

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно удавались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское Училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния или в Училище графа Строганова — не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в «Московский листок» Пастухова; на Пасхе, на святках и масленой пел в хорах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного «толстовца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи «непротивления злу», — с него писал Касаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера, — кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно демократами вышеназванного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда и там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда каневский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением крамольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим овощам и циклостилю. У него была лодка, и он возил овощи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, которые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объявляют душевнобольным, полгода он сидит в Крутицких казармах и там — «от скуки, от безделья», как он говорит, — обучает своих стражей грамоте. Наконец его ссылают в Кушку, на границу Афганистана.

— Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко, — сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серакс,

военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер «влез в историю».

— Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиною. Въезжаем в маленький аул, — толпа тюркмен, все больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с криками и смехом, стрелы, бьют комьями сухой глины. В животе и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воет и рычит. Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу, но тюркмены живо ссадили меня, и, если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но — нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь, — как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком, хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неуемных людей следует вешать.

— Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог; кстати, моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей — это являлось его естественной позицией.

Неистощимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба икрою, был наполнен зародышами разнообразных талантов, — это дар среды, которая родила его. В совершенстве обладая способностью наблюдения, он прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серакса, мне особенно памятны несколько веских слов этого письма — они метко характеризуют роль

Сулера в Сераксе и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами, и было все родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сделал попытку бежать из Серакса, захватив с собою — вовсе некстати — женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих.

— Но, — рассказывал Сулер, — я уговаривал его не делать ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он меня — тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря, — скучно было ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите меня!» — «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны — бросить человека в азиатской пустыне одного! Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она — устала, изморилась, оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Серакс, откуда меня вскоре снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц, работая как дворник, огородник, водовоз и распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошюры яснополянского анархиста.

Кажется, после этого он плавал матросом на торговом судне.

В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове, в чьей-то пустой даче; там он снова занимается размножением толстовской литературы на гектографе и циклостиле, — в это время он уже лично знаком с Л. Н. Толстим.

Урядник, заинтересованный отшельником, который выдавал себя за живописца, иногда посещает его. Сулер угощает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему романсы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате на всех стульях и столах сушатся свежеотпечатанные листы крамольной литературы.

Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается этот веселый человек, он не донес бы на него — такова была сила личного обаяния Сулера…

Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду, — эта эпопея интересно описана Сулером в его книге «С духоборами в Канаду», изданной толстовской фирмой «Посредник». Книга написана несколько хаотично, и в ней опущено множество интересных моментов, изображавших личные приключения Сулера. Читая

рукопись этой книги, я очень настаивал на том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать этого.

— При чем тут я? — спорил он. — Речь идет о духоборах, а я — постороннее лицо в этом неестественном сцеплении религии с политикой…

Мы решили, что, напечатав эту книгу, Сулер начнет работать над другой, которую предположено было озаглавить «Записки непоседливого человека», и Сулер, живя у меня в Арзамасе, горячо принялся было за работу, но его живой характер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к настойчивому, регулярному труду, как это часто замечается у людей, обильно насыщенных талантами, но несомненно, что Сулер имел способность к литературе, о чем свидетельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания».

В 904-м году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, в 5-м и 6-м он, конечно, принимает пламенное участие в общественной трагедии; он работает во всех партиях, смелый, вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них; он и толстовцем был очень сомнительным, — Лев Николаевич однажды сказал о нем:

— Ну, какой он толстовец? Он просто — «Три мушкетера», не один из трех, а все трое!

Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью к делу, к работе, с наклонностью к донкихотским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво.

Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Московском Художественном театре, а года через два он уже ставит в Париже, в театре Режан, «Синюю птицу». Его работа в «Студии» Художественного театра известна по «Сверчку» Диккенса и другим его постановкам, ее оценили как работу недюжинного художника.

Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство радости, я понял, что мне не хватало встречи с человеком именно таким, каков этот, именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность.

Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою, и всегда откуда-то издалека — с Кавказа, из Вологды, из Бутырской тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и американском кепи, шумный, сверкающий, он во всяком обществе сразу становился

ярко заметным и привлекал к себе общее внимание.

Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем.

— В мире все обосновано, — говорил он, — ни одна мысль не является капризом, у каждой есть корни в прошлом. Это очень печально и вредно для нас, но мы живем с покойниками и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бороться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не следует, что с ним бесполезно спорить, нет — спорить нужно!

— «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»?

— Вот именно! Каждый из нас — создание прошлого, и все, кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах настоящего и будущего.

Однажды он поспорил с Л. Н. Толстым о духоборах, доказывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо возражал ему, приводя примеры религиозных брожений в самой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мери Беккер Эдди и другие.

— А все-таки вы не уверены в том, что защищаете, — вдруг сказал Сулер, улыбаясь.

Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, засмеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова.

Он любил Леопольда, как сына, и любовался им, точно женщиной.

— Ведь вот, — говорил он, наблюдая за Сулером всевидящими глазками, — у другого это вышло бы грубо или смешно, а у него — хорошо! У него все по-своему, все — правда, во всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный…

Глядя, как Сулер, Александра Львовна и другие играют в городки по въезде в парк Гаспры, Толстой сказал, улыбаясь своей прекрасной и всегда какой-то тонко отточенной улыбкой:

— «Будьте как дети», я понимал это головой, но никогда не чувствовал — как может быть ребенком взрослый, много испытавший человек? А вот смотрю на Сулера и — чувствую: может! Сколько радости вносит он во все, сколько в нем детского! А ведь он — страдал. Как это редко — человек, который забыл о своих страданиях, не хвалится ими, не сует их в глаза ближнего…

В Арзамасе человек иных воззрений и чувствований, культурный подвижник города, отец Феодор Владимирский, впоследствии один из депутатов Второй думы, говорил о Сулере теми же словами Толстого:

— Поистине, человек этот — чистое дитя божие!

Так же любовно и ласково, как Л. Толстой, относился к Сулеру А. П. Чехов.

— Вот, батенька, талант, — говорил он, мягко хмурясь. — Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем, — он всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном положении останется честным.

Уморительно беседовали они, Сулер и Чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатления таракана, который случайно попал из нищей мужицкой избы в квартиру действительного статского советника, где и скончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять реальное с фантастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и знанием жизни. Сулер чувствовал себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его судьба, ему было незнакомо то, что испытывает негр среди белых и что нередко заставляет очень даровитых людей совершенно терять себя в среде, чуждой им.

Со Львом Николаевичем Сулер становился философом и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Толстой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был литератором, с Ф. Шаляпиным он великолепно пел трогательную украинскую песню «Ой, там, за Дунаем». С последним у него было особенно много общих свойств, что и понятно в людях, воспитанных одной и той же средой. И, как это ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной любви к деянию, был, в сущности своей, человек аполитический.

Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил петь и часто выступал в концертах для рабочих; крайний индивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя в ней как рыба в воде и никогда не упускал возможности тесного общения с нею.

Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое так характерно для многих — почти для всех — наших «самородков».

Вспоминаю такой случай: в 901-м году, когда Л. Н. Толстой хворал, живя в Гаспре, имении графини С. В. Паниной, наступил жуткий день: болезнь приняла опасный оборот, близкие Л.Н. были страшно взволнованы, а тут еще распространился слух, что в Ялту из Симферополя явился прокурор для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как будто подтверждался тем, что в парк Гаспры явились некие внимательные люди, которым

очень хотелось, чтобы их приняли за беззаботных туристов. Они живо интересовались всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне, в Олеиз, прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я тотчас бросился наверх, в Гаспру, а Сулер — к рабочим соседнего с Гаспрой имения, нашим добрым знакомым. В результате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем коне ускакал с ними. Все это было сделано им быстро, как в сказке.

И вообще это был сказочный человек, — воспоминание о нем будит в душе радость и окрашивает жизнь в яркие краски.

Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов, он сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может, чаще на камни, чем на плодотворную почву, но «лучеиспускание в пустоту» является участью многих талантливых людей, и это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно добиться желанного успеха в такой разреженной социальной среде, какова среда нашей демократии, духовно не организованная и все еще не привыкшая любить своих людей и любоваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания, некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого: «Бесполезно растраченная жизнь».

Нет, бурное житие таких людей более чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл — существование таких людей показывает, как мощна и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что могут дать, в формах более ценных и завершенных, но это потому, что они родятся и воспитываются в среде, социально не сплоченной, идеологически не организованной и не изжившей индивидуализма, который, разъедая и разобщая ее, наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми.

Но история научит людей жить более сплоченно, и, когда демократия отвоюет себе все то, что ей органически необходимо, она создаст в своей среде людей еще более богато и разнообразно одаренных, чем все те крупные люди, которых она уже создала до сего дня.

Мрачный день мы переживаем, и единственное, что может помочь нам мужественно пережить отвратительный хаос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в творческие силы демократии.

В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспомнить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова Сулера:

«Хорошо орлу ширять в пустоте небес — там никого нет,

кроме орлов…»

Нет, вы поживите «в пустыне — увы! — не безлюдной», — в страшной сумятице будней, насыщенных драмами, которые стали так обычны, что, к несчастью нашему, уже не волнуют, не возмущают нас.

Поживите действенно в буре ежедневности, не теряя мужества, развивая способность сопротивления всему, что враждебно честной душе…

Савва Морозов

В 96-м году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головою, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких ворчливых возгласов.

Я спросил:

— Кто это?

— Савва Морозов.

…Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов Государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках… Наше соломенное царство не живуче… Когда чиновники говорят о

положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, — вы все знаете, что это — «положение во гроб»…

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте — слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра, — театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

— Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей, — я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

— Сделаем! — охотно отозвался Савва. — Четыре тысячи аршин — довольно? А сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я — с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекатывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

— Гениальнейший ребенок.

— Ребенок?

— Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он — актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людями для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

— Хорошая! Я ее изломаю.

— Зачем же?

— Я люблю ломать, которое мне нравится, — ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

— «Мыслю, значит — существую», это неверно! Или — этого мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание…

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, — улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

— С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» — явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей —

анархист; граф — «из принципа» — пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее ярыми атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

— Да, — с грустью и досадой ответил он. — Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интрамолекулярной энергии — все это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души», — дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показались бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, — коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и

снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:

— Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

— Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка…

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый человек…

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

— Вы так думаете?

— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

— Вы считаете революцию неизбежной?

— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людями.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил.

— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги…

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической

любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, — его не учили и не учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, — а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда — беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905-го года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: «Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?»

Он не спросил.

— Легко в России богатеть, а жить — трудно! — тихо сказал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

— Я не Дон-Кихот и, конечно, не способен заниматься пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства…

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне

скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно лишним или случайным среди тяжелой московской роскоши и обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по рисунку, кажется, Врубеля, — вереница женщин в широких белых одеждах, танцуя, легко взлетала вверх. В кабинете Саввы — все скромно и просто, только на книжном шкафе стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом — спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу — гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах — множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского фарфора: фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов, m-me Морозова, кажется, бывшая шпульница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы, — в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт; под цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела васнецовская «Птица-Гамаюн», превосходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было «как в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему как во сне, и это — не очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу как на источник тем для «умного разговора». Его суждения

о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» А. П. Чехова он спрашивал:

— Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:

— Несправедливо писать о подгородних мужиках как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.

— Пишет он брюзгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

— Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев…

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

— Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука — в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебедеве, примирившем своими опытами со светом спор Максуэля и Кельвина.

— Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, каковы Менделеев и физиолог Павлов…

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам «неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, — я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали — внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на революцию миллионы», — разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его

годовой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому «Красному Кресту», на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе социал-демократов большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, — московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу, — Бауман. Вечером я сказал Морозову:

— Рискованно было возить Баумана днем, по улицам…

Он весело усмехнулся.

— А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, — засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

— Говорят — евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый — этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу — Рейнбот гудит. Забавно! Две ночи напролет беседовал я с ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому…

Помолчав, он предложил:

— В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне — легко!

Он спрятал Баумана в своем имении «Горки», где теперь, летом, живет В. И. Ленин.

В одном случае — я хорошо знаю это — Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы; взявшись за это, он предупредил:

— Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

— Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это:

органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую. Очень вероятно, что, когда революция придет, Ленина и его группу вздуют, истребят, но — это уж дело второстепенное.

И снова пророчески добавил:

— Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из большевиков он сказал:

— Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

— Не ошибся я, — человек отличных способностей. Такого куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи и однажды забавно сказал о нем:

— Все его писания можно озаглавить: «Курс политического мордобоя» или «Философия и техника драки». Не знаешь — в шахматы играет он?

— Не знаю

— Мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам и создал ее.

Вспоминая его предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальнозоркости его ума. Помню, в 903-м году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

— Мы — накануне конституции, — убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, — оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организоваться контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, — все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

— Может быть, — спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

— Начал Антон Павлович читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».

Я спросил Савву, — а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жуткий признак духовного оскудения Европы. Это — крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее — плохие слесаря. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество и все другие виды сентиментального идиотизма — чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого»

Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен…

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, — момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо-пахучей средой.

— Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

— Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он

произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:

— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! — говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сплю плохо, — неохотно ответил Савва, сморщив лицо. — Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там — тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность — невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, — вот! — затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее… Бессмысленно, преступно…

Сразу оборвав свои крики — точно оступился и упал — он остановился среди комнаты, спрашивая:

— Неужели и это пройдет безнаказанно для них?

И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

— Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их

работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть — это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

— В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически — нищие, наука у нас под сомнением в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия, — невозможно жить. Немецкая фабрика — научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации — Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею, — все это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку…

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг, начал говорить о своей личной жизни.

— Мы вообще не умеем жить. Вот — я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да уйди куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать. Не удал ты хозяин». Это — верно! Но куда же я уйду? Хотя — есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох…

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

— Правда это?

— Ну да, — ответил он. — Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, — за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся — его я велел рассчитать — даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора с моими пометками…

Закрыв глаза, он вздохнул:

— Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это — знают, и этим тоже пытаются застращать меня. Семья у нас — не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это — хуже смерти…

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

— Брось. Я грамотен. Знаю.

Заговорил о Леониде Андрееве:

— Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же: третье поколение крупных промышленников дает огромный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: перечислил мне длинный ряд русских и американских семей, отмечая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты дегенерации.

За окном потемнело и все хлестал, гудел дождь, взвизгивал ветер.

— Поедем куда-нибудь? — предложил Савва.

Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извозчика, сказал:

— Нет, пойду домой, лягу спать… Прощай…

И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 905-го года Морозов ездил к Витте с депутацией промышленников, пытался убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом говорил мне:

— Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру. Ведет он себя как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабочие пойдут к царю, Савва предупредил:

— Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, полиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встревоженный и злой.

— Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется — 144-й полк, вообще — решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын

отечества» и застал там человек полтораста, обсуждающих вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать депутацию к Святополку-Мирскому, дабы подтвердить «мирный» характер намерений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется — так, я неточно помню задание, возложенное на депутацию, хотя, неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным гапоновцем, — кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил меня с ним за несколько дней перед этим. Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными лозунгами, доказывал, что революционные организации должны взять движение в свои руки.

— Бойня все равно будет! — говорил он, улыбаясь. — Ведь ладком да мирком — ничего не достигнем, пусть рабочие убедятся в этом…

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех извозчиках, я — в паре с Кузиным.

— Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять — какой толк? — мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человечек тощий, с маленькой вертлявой головкой; красненький мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, и весь он — в явном разладе с назойливой революционностью своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском — необычно пустынно, хотя было не позднее десяти часов вечера: ворота домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

— Полицейских-то на постах — нет, — заметил Кузин, вздохнув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому; он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф. Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали

демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство — не может быть речи.

Кто-то сказал:

— Мы — не частные лица, мы люди, уполномоченные собранием интеллигенции…

Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.

Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, что Рыдзевский — внук Александра II?

— Не все ли вам равно, чей он внук?

Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:

— Пожалуй — правда. Принял он нас по-царски. Гордо…

Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец он явился и любезно пригласил нас в кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой фотографический портрет Александра III, Витте методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно маленькой по сравнение с тяжелым его телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Курносое маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отталкивающее в их цепком взгляде.

Он шевелил толстым пальцем, искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь скользящей улыбкой, — это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно сказал: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа…» — я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь, — они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы ушли, я слышал,

что он говорит по телефону, но у меня осталось странное впечатление, что он звонил своему швейцару и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка — или швейцара, — я не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интересовал Кузин — я увидал, что он очарованно смотрит на коллекцию орденов в витрине; согнувшись над нею, почти касаясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на ордена, из рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я окликнул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масленой, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

— Сколько… накопил, черт…

Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пиджака. Все это было неописуемо противно. Назад, в редакцию, я уже не мог ехать с Кузиным.

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их унизительности; удрученная публика начала расходиться. Мне пришло в голову, что необходимо составить отчет о нашем путешествии по министрам, я предложил это, публика согласилась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:

— Где это ты увяз?

Я наскоро рассказал ему.

— Напрасно ты путаешься в такие дела, — хмуро заметил он.

— Не мог же я отказаться, если выбрали!

— Н-ну… А я думал, тебя арестовали.

Обняв меня за талию, он сказал:

— У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим свернут головы. Как ты думаешь?

Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел к себе в гостиницу, предупредив меня:

— Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я зайду за тобой в восемь часов…

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик «Долой самодержавие!» раздался 9 января среди толпы выборжцев на Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вызвал

сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно…

Длинный лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня:

— Не поддавайтесь на провокацию-у-у!

Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа; длинноволосый брюнет с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий, — точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека — крякал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушие солдат; серой полосою своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицеры собрались группой на тротуаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт на

кучки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирковой борец, грубо крикнул нам:

— Куда лезете?

Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:

— Там вам…

Точно большая собака дважды тявкнула.

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преграждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланяясь убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай…

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо ее:

— Нет ли у вас чистого платка?

Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, темными руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади меня крикнул:

— Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе…

Толпа была настроена неопределенно, в общем — угрюмо, но порою среди нее раздавались оживленные возгласы и даже смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно толкая попутчиков, я мало слышал восклицаний злобы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

— Хорошо угостили?

На голове у него торчала порыжевшая трепаная шапка, а в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.

Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке; я спросил его:

— Что это ты вооружился?

— Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Черт их знает, кто они.

Это было странно: я видел Гапона только издали, на собраниях рабочих, и не был знаком с ним. Квартира моя была набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвинительного акта, заключив его требованием предать суду Рыдзевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за массовое и предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней царствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо:

— Гапон прибежал.

В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

— Рутенберг — здесь?

И заметался по комнате, как обожженный, ноги его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвенно-синее, и широко открытые глаза — остеклели, подобно глазам покойника. Бегая, он бормотал:

— Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требовательно заявил:

— Меня нужно сейчас же спрятать, — куда вы меня спрячете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим парикмахером, а ножницы — тупыми. Гапон дергал головою, вскрикивая:

— Осторожнее, — что вы?

— Потерпите, — нелюбезно ворчал Савва.

Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим, — это воззвание начиналось словами:

«Братья, спаянные кровью».

Поп послал Н. П. Ашешова к рабочим с какой-то запиской, пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они заявили, что Гапон — убит и что сейчас по Невскому полиция провезла его труп, — «труп» в это время мылся в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономическое общество, где собралась интеллигенция, — не помню мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

— Да, да, пускай посмотрят…

Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел на Гапона с явной неприязнью. Гапон сначала отказался ехать, но его убедили, тогда он попросил загримировать ему лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного театра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина. В этом виде я и отвез его и Вольно-Экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабочих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отказался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым, который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным военными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Город давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обострилось.

— Царь — болван, — грубо и брюзгливо говорил он. — Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом и пели «Боже, царя храни…»

— Не те люди…

Он упрямо тряхнул головой:

— Те же самые русские люди. Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей два, три обещания, — исполнить их не обязательно, — и эти люди снова пропели бы ему «Боже, царя храни». И даже могли бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую колонну… Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал:

— Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.

— Жалко людей, — сказал я.

— Ах, вот что? — Он снова вскочил и забегал по комнате. — Конечно, конечно. Однако — это другое дело. Тогда не надо говорить им: вставайте! Тогда убеждай их — пусть они терпеливо лежат и гниют. Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко сказал:

— Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не знаю, когда жизнь перестанет строить на крови, но в наших условиях гуманность — ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:

— А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиней пасти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже такой, — он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово, — может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и монархии — дохлое дело! Дохлое… Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:

— Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидимся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.

Мы крепко обнялись. Я сказал:

— Ночевал бы здесь. Смотри, — подстрелят…

— Потеря будет невелика, — тихо сказал он, уходя.

На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там тотчас же по приезде был арестован. Савва немедля начал хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Красин.

Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тревоги.

— Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу, чтоб вас видели здесь…

— Кто?

— Вообще… Жена и вообще…

На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление человека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: Савва не помер, вместо него похоронили другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции…

Сергей Есенин

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнил мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа

на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им?

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали…

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
…Дорогая, я плачу,
Прости… прости…

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, катающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

Громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои…
Хор-рошие…

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю

— и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали…

— Я не устаю от стихов, — сказал он и недоверчиво спросил: — А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»[10], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум, — сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает…

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как

развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали, — сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных, — сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

О Гарине-Михайловском

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому, что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людями.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного Креста» и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но — жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.

Веселые праведники — люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть.

Мне посчастливилось встретить человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный еврей.

Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, кажется, еще в «эпоху великих реформ». Тейтель — здравствует, о своей войне с министерством юстиции он сам рассказал в книге «Воспоминаний», изданной им. Да, он еще благополучно здравствует, недавно праздновали его семидесяти- или восьмидесятилетний юбилей. Но он следует примеру А. В. Пешехонова и В. А. Мякотина, которые — как я слышал — «не присчитывают, а отсчитывают» года своей жизни. Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре в 95— 96-м годах.

Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого

такими людями. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и «джентльмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты» — враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределенного рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли веселой и любовной улыбкой.

Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густо-лиловое, должно быть кавказское, вино, обладавшее привкусом марганцевокислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.

Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бои начинались и во время процесса насыщения.

У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком, — а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика, — сказал он, явно думая о чем-то другом — это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Черт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если бы вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н.Г., мне почудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял сороки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н.Г.

свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление, не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается…

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это — подвиг! — восклицал он. — Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие, и даже проще: желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н.Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее

миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95—96-м годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал:

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился.

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря; на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, — сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он. — Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И всё, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни, — продолжал он рассказывать. — Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки… сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н.Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал все это, как всегда, — торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального счисления. Именно так: полуграмотный чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное счисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.

Написан был рассказ не очень искусно, но Н.Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».

Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он, после долгих увещаний, сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Присланное — не печатать, дам другой вариант». Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.

Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н.Г. сказал, сморщив лицо:

— Черт знает чего я тут наплел!

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.

Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и

даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».

— Пустяки, — сказал он, вздохнув. — О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:

— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь», попенял ему:

— Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, — сказал он и невесело усмехнулся. — Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людями здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза,

в природе напряжение, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его, — судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну тя к черту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович, — сказал он, — горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молний в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики — одно время говорить об этом было очень модно, — Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

— Это — декадентщина! — кричал он. — На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые-медики всё более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н.Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах, — обо всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н.Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, — и не только этих, — поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но все не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против

избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Черт бы их подрал, — возмущался он, — у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием, — подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н.Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это — кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 и 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного

дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа, — сказал Гарин и вздохнул. — Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны, — усмехнулся он. — Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек…

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.

— Вас, батенька, скоро посадят, — вдруг сказал он. — Это мое предчувствие. А меня закопают — тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу», — участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.

В. И. Ленин (Первая редакция)

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность». Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое

удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, — нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших представителей русской воли к жизни и бесстрашия русского разума.

Лично для меня Ленин не только изумительно совершенное воплощение воли, устремленной к цели, которую до него никто из людей не решался практически поставить пред собою, — он для меня один из тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта, какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие этого ряда. Я думаю, что такие люди возможны только в России, история и быт которой всегда напоминают мне Содом и Гоморру.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди. — И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: — Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-м, — должность адски трудная.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Невозможен вождь, который — в той или иной степени — не был бы тираном. Вероятно, при Ленине перебито людей больше, чем

при Уот Тайлоре, Фоме Мюнцере, Гарибальди. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне культурные нации оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Человек изумительно сильной воли, Ленин был во всем остальном типичным русским интеллигентом. Он в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей русской интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева: «Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19-м году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам.

Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину. Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают. Ерунда.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Его внимание к ним возвышалось до степени нежности, свойственной только женщине, и каждую свободную минуту он отдавал другим, не оставляя себе на отдых ничего.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу… Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо, устал. Надо поддержать. Настроение — немалая вещь.

На столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой. Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище… Вот это, батенька, художник… И — знаете, что еще изумительно в нем? Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня азиатскими глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный, жмурясь, точно кот на солнце.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней стыдливый отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-м, а не забываете вы Россию, живя на этой шишке?

В. А. Строев-Десницкий сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым» людям.

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных

русских людей, каким-то чудесным чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага. Дринь-дринь.

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

— Синьор Дринь-Дринь.

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет?

В 1907 году, в Лондоне, несколько рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится.

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш. Решительный.

Ему возразили:

— И Плеханов наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — товарищ наш.

Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина.

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие.

Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Вот — везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь, изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает:

«Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю, так никто не сделает.

Старый знакомый мой, тоже сормовский, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чека. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру. Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический социальный идеализм свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»? Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в свой душе. Но однажды, в Горках, лаская каких-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято, все.

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только одна эта, в корне искажающая человека необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает жизнь на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такою глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, железного человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в

сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему: о том, как мы страдаем в юности и зрелом возрасте от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной, в старости от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто, до сего дня, не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался, а между тем в стране, где живут по книгам, такое сочинение не только имело бы оглушительный успех, но тотчас же вызвало бы ряд подражаний. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Может быть, Ленин понимал драму бытия несколько упрощенно и считал ее легко устранимой, так же легко, как легко устранима вся внешняя грязь и неряшливость русской жизни.

Но все равно для меня исключительно велико в нем именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом, и это была в нем не русская черта. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку с большой буквы.

В 1907 году, в Лондоне, он памятно говорил мне:

— Может быть, мы, большевики, не будем поняты даже и массами, весьма вероятно, что нас передушат в самом начале нашего дела. Но это неважно. Буржуазный мир достиг состояния гнилостного брожения, он грозит отравить всё и всех, — вот что важно.

Через несколько лет, в Париже, кажется в начале Балканской войны, он напомнил:

— Видите, — я был прав. Началось разложение. Угроза отравиться трупным ядом теперь должна быть ясна для всех, кто умеет смотреть на события прямыми глазами.

Характерным жестом своим он сунул пальцы рук за жилет под мышками и, медленно шагая по тесной своей комнате,

продолжал:

— Это — начало катастрофы. Мы еще увидим европейскую войну. Дикая резня будет. Неизбежно. Пролетариат? Думаю — пролетариат не найдет в себе сил предотвратить эту кровавую склоку. Он, конечно, пострадает больше всех, это, пока, его судьба. Но — преступники увязнут, потонут в крови, ими пролитой. Его враги — обессилеют. Это — тоже неизбежно.

Оскалив зубы, он посмотрел в окно, куда-то вдаль.

— Нет, вы сообразите: чего ради сытые гоняют голодных на бойню друг против друга, а? Можно ли примириться с этим? Можете вы указать преступление, менее оправданное, более глупое? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но в его речах я никогда не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

В 17–21 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы видеть их, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою искусственно, но четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня органическое отвращение к политике, и я очень сомнительный марксист, ибо плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности.

Когда в 17-м году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами коммуны он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа. Научная, техническая, вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня самая драгоценная сила, накопленная Россией; иной силы, способной взять власть и организовать деревню в России 17-го года, не было и нет. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред

ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организационному разуму города.

Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907–1912, посильно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих. Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весною 17-го года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук», учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Фереман, С. П. Костычев, Л. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства: С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники. Начинание это было уничтожено октябрьской революцией, средства ассоциации конфискованы.

Для большей ясности скажу, что основным препятствием на пути России к европеизации и культуре является факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства ее и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих в тесном союзе с интеллигенцией была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню. С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Я знаю, что за эти мысли буду еще раз осмеян политиками революции. Я знаю также, что наиболее умные и честные из них

будут смеяться неискренно.

До 18-го года, до пошлейшей попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видел его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением. Взгляд очень привычный мне, — вот уже лет тридцать смотрят на меня так. Уверенно ожидаю, что этим же взглядом проводят меня и в могилу. В этой уверенности не следует искать самохвальства, я не хочу ею намекнуть, что именно «заблудившиеся» всегда открывают новые пути и Америки. Но мне легче соглашаться из уважения к ним, даже из вежливости, чем по необходимости, ясной для них, но неясной для меня.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась.

— Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм…

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много и правильно шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — неплохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции уже попало по шее.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. И — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, в идеале, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот…

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите Z, пойдет он работать с нами?

И когда Z принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется.

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем несообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не

путем насилия внедряется коммунизм», он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации; цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. — Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. — Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, т. е. обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделяли ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут порабощены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться системы мелких придирок. — Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. — Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекать, культурно-буржуазный аппарат использовать».

Но не мое дело говорить о Владимире Ленине-политике, мне дорог и близок Ленин-человек.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который

всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, — роль врага хаоса.

Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным честным солнцем юга, любоваться золотыми цветами Дрека и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А я мало знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — и почти всё.

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, — от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами великого хитреца, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви и красоты.

Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице монгольского типа горели, играли эти острые глаза неутомимого охотника на ложь и горе жизни, горели прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и жутко-ясной. Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды, и хотя часто правда эта была неприемлема для меня, однако же не чувствовать силы ее я не мог.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова. Они всегда напоминают мне

холодный блеск железных стружек. С удивительною простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19-м году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептицизма по отношению к мужику, нет, — я знаю, что болезненным желанием изгадить красивое страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что если их нет в России, — в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут, если они жаждут, — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли».

Владимир Ленин был человеком, который так исхитрился помешать людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Не знаю, чего больше вызвал он: любви или ненависти? Ненависть к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие чумные пятна всюду блещут ярко. Но я боюсь, что и любовь к Ленину у многих только темная вера измученных и отчаявшихся в чудотворца, та любовь, которая ждет чуда, но ничего не делает, чтобы воплотить свою силу в тело жизни, почти омертвевшей от страданий, вызванных духом жадности у одних, чудовищной глупостью — у других.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас со всех сторон медведем лезет контрреволюция, а мы что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды, после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне, почти презрение. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами, — говорил он, — ведь они изменяют, предательствуют чаще всего из трусости, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее

столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех проклятых «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу людей, спасти их жизнь. Месть и злоба тоже часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерь.

— Гм-гм, — сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. — Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию…

— Да, да, — карболку какую-то. Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо…

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

— Ну, хорошо, — говорил он мне в другой раз, по поводу некой просьбы исключительной важности, — ну, ладно, — возьмете вы на поруку этих людей. Но ведь их надо устроить так, чтоб не вышло какой-нибудь шингаревщины. Куда же мы их? Где они будут жить? Это — дело тонкое!

Дня через два, в присутствии людей не партийных и мало знакомых ему, он озабоченно спросил:

— Устроили вы все, что надо, с поруками за четверых? Формальности? Гм-гм, — заедают нас эти формальности.

Спасти этих людей не удалось, их поторопились убить. Мне говорили, что это убийство вызвало у Ленина припадок бешеного гнева.

В 19-м году в Петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ц., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдумано, так выдумано неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или он действительно жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ, по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови.

И вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно нежно, ласково заговорил о них.

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VIII. 1921 года:

> А.М.!
>
> Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерасчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшная суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!
>
> Ваш *Ленин.*

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе.

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки и десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая, иногда, свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знак равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918–1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что ж делать, милая М.Ф.? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете, мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

И, посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх…

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились — как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин…

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают

эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть и еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — будто бы не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Удивленный его лестной оценкой, я заметил, что для многих эта оценка показалась бы неожиданной.

— Да, да, — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много, и кажется, особенно много обо мне и Троцком.

Ударив рукой по столу, он сказал:

— А вот показали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас — все есть! И — чудеса будут!

Он вообще любил людей, любил самоотверженно. Его любовь смотрела далеко вперед и сквозь тучи ненависти.

И был он насквозь русский человек — с «хитрецой» Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывая свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду на темном фоне фантастической русской жизни, блестящей золотыми звездами.

Владимир Ленин разбудил Россию, и теперь она не заснет.

Он по-своему — и хорошо — любил русского рабочего. Это особенно сказывалось, когда он говорил о европейском пролетариате, когда указывал на отсутствие в нем тех свойств, которые так четко отметил Карл Каутский в своей брошюре о русском рабочем.

Владимир Ленин — большой, настоящий человек мира сего — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг

имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его живы.

В конце концов побеждает все-таки честное и правдивое, созданное человеком, побеждает то, без чего нет человека.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

I

Русский народ обвенчался со Свободой. Будем верить, что от этого союза в нашей стране, измученной и физически и духовно, родятся новые сильные люди.

Будем крепко верить, что в русском человеке разгорятся ярким огнем силы его разума и воли, силы, погашенные и подавленные вековым гнетом полицейского строя жизни.

Но нам не следует забывать, что все мы — люди вчерашнего дня и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма.

Мы выросли в атмосфере «подполья»; то, что мы называли легальной деятельностью, было, в сущности своей, или лучеиспусканием в пустоту, или же мелким политиканством групп и личностей, междоусобной борьбою людей, чувство собственного достоинства которых выродилось в болезненное самолюбие.

Живя среди отравлявших душу безобразий старого режима, среди анархии, рожденной им, видя, как безграничны пределы власти авантюристов, которые правили нами, мы — естественно и неизбежно — заразились всеми пагубными свойствами, всеми навыками и приемами людей, презиравших нас, издевавшихся над нами.

Нам негде и не на чем было развить в себе чувство личной ответственности за несчастия страны, за ее постыдную жизнь, мы отравлены трупным ядом издохшего монархизма.

Публикуемые в газетах списки «секретных сотрудников Охранного отделения»[11] — это позорный обвинительный акт против нас, это один из признаков социального распада и гниения страны, — признак грозный.

Есть и еще много грязи, ржавчины и всяческой отравы, все это не скоро исчезнет; старый порядок разрушен физически, но духовно он остается жить и вокруг нас, и в нас самих. Многоглавая гидра невежества, варварства, глупости, пошлости и хамства не убита; она испугана, спряталась, но не потеряла способности пожирать живые души.

Не нужно забывать, что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного. Люди, которые не знают, чего они хотят, — это

люди опасные политически и социально. Масса обывателя еще не скоро распределится по своим классовым путям, по линиям ясно сознанных интересов, она не скоро организуется и станет способна к сознательной и творческой социальной борьбе. И до поры, пока не организуется, она будет питать своим мутным и нездоровым соком чудовищ прошлого, рожденных привычным обывателю полицейским строем.

Можно бы указать и еще на некоторые угрозы новому строю, но говорить об этом преждевременно, да, пожалуй, и нецензурно.

Мы переживаем момент в высшей степени сложный, требующий напряжения всех наших сил, упорной работы и величайшей осторожности в решениях. Нам не нужно забывать роковых ошибок 905—6-го годов, — зверская расправа, последовавшая за этими ошибками, обессилила и обезглавила нас на целое десятилетие. За это время мы политически и социально развратились, а война, истребив сотни тысяч молодежи, еще больше подорвала наши силы, подорвав под корень экономическую жизнь страны.

Поколению, которое первым примет новый строй жизни, свобода досталась дешево; это поколение плохо знает страшные усилия людей, на протяжении целого века постепенно разрушавших мрачную крепость русского монархизма. Обыватель не знал той адовой, кротовой работы, которая сделана для него, — этот каторжный труд неведом не только одному обывателю десятисот уездных городов российских.

Мы собираемся и мы обязаны строить новую жизнь на началах, о которых издавна мечтали. Мы понимаем эти начала разумом, они знакомы нам в теории, но — этих начал нет в нашем инстинкте, и нам страшно трудно будет ввести их в практику жизни, в древний русский быт. Именно нам трудно, ибо мы, повторяю, народ совершенно невоспитанный социально, и так же мало воспитана в этом отношении наша буржуазия, ныне идущая к власти. И надо помнить, что буржуазия берет в свои руки не государство, а развалины государства, она берет эти хаотические развалины при условиях, неизмеримо более трудных, чем условия 5—6-го года. Поймет ли она, что ее работа будет успешна только при условии прочного единения с демократией и что дело укрепления позиций, отнятых у старой власти, не будет прочно при всех иных условиях? Несомненно, что буржуазия должна поправеть, но с этим не нужно торопиться, чтобы не повторить мрачной ошибки 6-го года.

В свою очередь, революционная демократия должна бы усвоить и почувствовать свои общегосударственные задачи, необходимость для себя принять деятельное участие в

организации экономической силы страны, в развитии производительной энергии России, в охране ее свободы от всех посягательств извне и изнутри.

Одержана только одна победа — завоевана политическая власть, предстоит одержать множество побед гораздо более трудных, и прежде всего мы обязаны одержать победу над собственными иллюзиями.

Мы опрокинули старую власть, но это удалось нам не потому, что мы — сила, а потому, что власть, гноившая нас, сама насквозь прогнила и развалилась при первом же дружном толчке. Уже одно то, что мы не могли так долго решиться на этот толчок, видя, как разрушается страна, чувствуя, как насилуют нас, — уже одно это долготерпение наше свидетельствует о нашей слабости.

Задача момента — по возможности прочно укрепить за собою взятые нами позиции, что достижимо только при разумном единении всех сил, способных к работе политического, экономического и духовного возрождения России.

Лучшим возбудителем здоровой воли и вернейшим приемом правильной самооценки является мужественное сознание своих недостатков.

Годы войны с ужасающей очевидностью показали нам, как мы немощны культурно, как слабо организованы. Организация творческих сил страны необходима для нас, как хлеб и воздух.

Мы изголодались по свободе и, при свойственной нам склонности к анархизму, легко можем пожрать свободу, — это возможно.

Немало опасностей угрожает нам. Устранить и преодолеть их возможно только при условии спокойной и дружной работы по укреплению нового строя жизни.

Самая ценная творческая сила — человек: чем более развит он духовно, чем лучше вооружен техническими знаниями, тем более прочен и ценен его труд, тем более он культурен, историчен. Это у нас не усвоено, — наша буржуазия не обращает должного внимания на развитие продуктивности труда, человек для нее все еще как лошадь — только источник грубой физической силы.

Интересы всех людей имеют общую почву, где они солидаризуются, несмотря на неустранимое противоречие классовых трений: эта почва — развитие и накопление знаний. Знание — необходимое орудие междуклассовой борьбы, которая лежит в основе современного миропорядка и является неизбежным, хотя и трагическим моментом данного периода истории, неустранимой силой культурно-политического развития; знание — это сила, которая, в конце концов, должна

привести людей к победе над стихийными энергиями природы и к подчинению этих энергий общекультурным интересам человека, человечества.

Знание должно быть демократизировано, его необходимо сделать всенародным, оно, и только оно, — источник плодотворной работы, основа культуры. И только знание вооружит нас самосознанием, только оно поможет нам правильно оценить наши силы, задачи данного момента и укажет нам широкий путь к дальнейшим победам.

Наиболее продуктивна спокойная работа.

Силой, которая всю жизнь крепко держала и держит меня на земле, была и есть моя вера в разум человека. До сего дня русская революция в моих глазах является цепью ярких и радостных явлений разумности. Особенно мощным явлением спокойной разумности был день 23 марта, день похорон на Марсовом поле[12][13].

В этом парадном шествии сотен тысяч людей впервые и почти осязательно чувствовалось — да, русский народ совершил революцию, он воскрес из мертвых и ныне приобщается к великому делу мира — строению новых и все более свободных форм жизни!

Огромное счастие дожить до такого дня!

И всей душой я желал бы русскому народу вот так же спокойно и мощно идти все дальше, все вперед и выше,[14] до великого праздника всемирной свободы, всечеловеческого равенства, братства!

II

Если окинуть одним взглядом всю внешне разнообразную деятельность монархического режима в области «внутренней политики», то смысл этой деятельности явится пред нами в форме всемерного стремления бюрократии задержать количественное и качественное развитие мыслящего вещества.

Старая власть была бездарна, но инстинкт самосохранения правильно подсказывал ей, что самым опасным врагом ее является человеческий мозг, и вот, всеми доступными ей средствами, она старалась затруднить или исказить рост интеллектуальных сил страны. В этой преступной деятельности ей успешно помогала церковь, порабощенная чиновничеством, и не менее успешно — общество, психически расшатанное и, последние годы, относившееся к насилию над ним совершенно пассивно.

Результаты длительного угашения духа обнаружила с ужасающей очевидностью война — Россия оказалась пред лицом культурного и прекрасно организованного врага немощной и безоружной. Люди, так хвастливо и противно кричавшие о том, что Русь поднялась «освободить Европу от оков ложной цивилизации духом истинной культуры», эти, вероятно, искренние и тем более несчастные люди быстро и сконфуженно замкнули слишком красноречивые уста. «Дух истинной культуры» оказался смрадом всяческого невежества, отвратительного эгоизма, гнилой лени и беззаботности.

В стране, щедро одаренной естественными богатствами и дарованиями, обнаружилась, как следствие ее духовной нищеты, полная анархия во всех областях культуры. Промышленность, техника — в зачаточном состоянии и вне прочной связи с наукой; наука — где-то на задворках, в темноте и под враждебным надзором чиновника; искусство, ограниченное, искаженное цензурой, оторвалось от общественности, погружено в поиски новых форм, утратив жизненное, волнующее и облагораживающее содержание.

Всюду, внутри и вне человека, опустошение, расшатанность, хаос и следы какого-то длительного Мамаева побоища. Наследство, оставленное революции монархией, — ужасно.

И как бы горячо ни хотелось сказать слово доброго утешения, — правда суровой действительности не позволяет утешать, и нужно сказать со всею откровенностью: монархическая власть в своем стремлении духовно обезглавить Русь добилась почти полного успеха.

Революция низвергла монархию, так! Но, может быть, это значит, что революция только вогнала накожную болезнь внутрь организма. Отнюдь не следует думать, что революция духовно излечила или обогатила Россию. Старая неглупая поговорка гласит: «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками», процесс интеллектуального обогащения страны — процесс крайне медленный. Тем более он необходим для нас, и революция, в лице ее руководящих сил, должна сейчас же, немедля, взять на себя обязанность создания таких условий, учреждений, организаций, которые упорно и безотлагательно занялись бы развитием интеллектуальных сил страны.

Интеллектуальная сила — это первейшая, по качеству, производительная сила, и забота о скорейшем росте ее должна быть пламенной заботой всех классов.

Мы должны дружно взяться за работу всестороннего развития культуры, — революция разрушила преграды на путях к свободному творчеству, и теперь в нашей воле показать самим

себе и миру наши дарования, таланты, наш гений. Наше спасение — в труде, да найдем мы и наслаждение в труде.

«Мир создан не словом, а деянием»,[15] — это прекрасно сказано, и это неоспоримая истина.

III

Светлые крылья юной нашей свободы обрызганы невинной кровью.

Я не знаю, кто стрелял в людей третьего дня на Невском,[16] но кто бы ни были эти люди, — это люди злые и глупые, люди, отравленные ядами гнилого старого режима.

Преступно и гнусно убивать друг друга теперь, когда все мы имеем прекрасное право честно спорить, честно не соглашаться друг с другом. Те, кто думает иначе, неспособны чувствовать и сознавать себя свободными людьми. Убийство и насилие — аргументы деспотизма, это подлые аргументы — и бессильные, ибо изнасиловать чужую волю, убить человека не значит, никогда не значит убить идею, доказать неправоту мысли, ошибочность мнения.

Великое счастье свободы не должно быть омрачаемо преступлениями против личности, иначе — мы убьем свободу своими же руками.

Надо же понять, пора понять, что самый страшный враг свободы и права — внутри нас; это наша глупость, наша жестокость и весь тот хаос темных, анархических чувств, который воспитан в душе нашей бесстыдным гнетом монархии, ее циничной жестокостью.

Способны ли мы понять это?

Если не способны, если не можем отказаться от грубейших насилий над человеком — у нас нет свободы. Это просто слово, которое мы не в силах насытить должным содержанием. Я говорю: наши коренные враги — глупость и жестокость.

Можем ли мы, пытаемся ли мы бороться с ними?

Это не риторический вопрос, это вопрос о глубине, о искренности нашего понимания новых условий политической жизни, новой оценки значения человека и его роли в мире.

Пора воспитывать в самих себе чувство брезгливости к убийству, чувство отвращения к нему.

Да, я не забываю, что, может быть, нам еще не однажды придется защищать свободу и право наше оружием, может быть!

Но 21 апреля револьверы в грозно вытянутых руках были смешны, и было в этом жесте нечто детское, к сожалению

разрешившееся преступлением.

Да, преступлением против свободного человека.

Неужели память о подлом прошлом нашем, память о том, как нас сотнями и тысячами расстреливали на улицах, привила и нам спокойное отношение палачей к насильственной смерти человека?

Я не нахожу достаточно резких слов порицания людям, которые пытаются доказать что-то пулей, штыком, ударом кулака по лицу.

Не против ли этих доводов протестовали мы, не этими ли приемами воздействия на нашу волю нас держали в постыдном рабстве?

И вот — освободясь от рабства внешне, — внутренне мы продолжаем жить чувствами рабов.

Еще раз — наш самый безжалостный враг — наше прошлое.

Граждане! Неужели мы не найдем в себе сил освободиться от его заразы, сбросить с себя его грязь, забыть о его кровавых бесстыдствах? Побольше зрелости, побольше вдумчивости и осторожности в отношении к самим себе — вот что необходимо нам!

Борьба не кончена. Надо беречь силы, соединять энергию воедино, а не разъединять ее, подчиняясь настроению момента.

IV

Мы добивались свободы слова затем, чтобы иметь возможность говорить и писать правду.

Но говорить правду — это искусство труднейшее из всех искусств, ибо в своем «чистом» виде, не связанная с интересами личностей, групп, классов, наций, — правда почти совершенно неудобна для пользования обывателя и неприемлема для него. Таково проклятое свойство «чистой» правды, но в то же время это самая лучшая и самая необходимая для нас правда.

Поставим себе задачу — сказать правду о немецких зверствах. Я надеюсь, что совершенно точно установимы факты зверского отношения немецких солдат к солдатам России, Франции, Англии, а также к мирному населению Бельгии, Сербии, Румынии, Польши. Я имею право надеяться, что эти факты — вне сомнений и так же неоспоримы, как факты русских зверств в Сморгони[17], в городах Галиции[18] и т. д. Я не отрицаю, что отвратительные приемы истребления людей, применяемые немцами, впервые допущены в деле человекоубийства. Не могу отрицать, что отношение немцев к

русским военнопленным — гнусно, ибо знаю, что отношение старой русской власти к немецким военнопленным было тоже гнусным.

Все это — правда, эту правду создала война. На войне необходимо как можно больше убивать людей — такова циническая логика войны. Зверство в драке неизбежно, вы видали, как жестоко дерутся дети на улицах?

«Чистая» правда говорит нам, что зверство есть нечто вообще свойственное людям, — свойство, не чуждое им даже и в мирное время, если таковое существует на земле. Вспомним, как добродушный русский человек вколачивал гвозди в черепа евреев Киева, Кишинева[19] и других городов, как садически мучили тюремщики арестантов, как черносотенцы разрывали девушек-революционерок, забивая им колья в половые органы; вспомним на минуту все кровавые бесстыдства 906—7—8-го годов[20].

Я не сравниваю немецких зверств с общечеловеческими и, в частности, русским зверством; я просто, пользуясь свободой слова, рассуждаю о правде сего, текущего дня, о правде, созданной войною, и о «чистой» правде, которая общезначима для всех времен и которая воистину «краше солнца», хотя она часто печальна и обидна для нас.

Осуждая человека — немца или русского, это все равно, — мы не должны забывать о «чистой» правде, потому что она — самое драгоценное достояние наше, самый яркий огонь нашего сознания; бытие этой правды свидетельствует о высоте моральных требований, предъявляемых человеком к самому себе.

V

Несколько десятков миллионов людей, здоровых и наиболее трудоспособных, оторваны от великого дела жизни — от развития производительных сил земли — и посланы убивать друг друга.

Зарывшись в землю, они живут под дождем и снегом, в грязи, в тесноте, изнуряемые болезнями, пожираемые паразитами, — живут как звери, подстерегая друг друга для того, чтобы убить.

Убивают на суше, на морях, истребляя ежедневно сотни и сотни самых культурных людей нашей планеты, — людей, которые создали драгоценнейшее земли — европейскую культуру.

Разрушаются тысячи деревень, десятки городов, уничтожен вековой труд множества поколений, сожжены и вырублены леса, испорчены дороги, взорваны мосты, в прахе и пепле сокровища земли, созданные упорным, мучительным трудом человека.

Плодоносный слой земли уничтожен взрывами фугасов, мин, снарядов, изрыт окопами, обнажена бесплодная подпочва, вся земля исковеркана, осквернена гниющим мясом невинно убитых. Насилуют женщин, убивают детей, — нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет преступления, которое не оправдывалось бы ею.

Третий год мы живем в кровавом кошмаре и — озверели, обезумели. Искусство возбуждает жажду крови, убийства, разрушения; наука, изнасилованная милитаризмом, покорно служит массовому уничтожению людей.

Эта война — самоубийство Европы!

Подумайте, — сколько здорового, прекрасно мыслящего мозга выплеснуто на грязную землю за время этой войны, сколько остановилось чутких сердец!

Это бессмысленное истребление человеком человека, уничтожение великих трудов людских не ограничивается только материальным ущербом — нет!

Десятки тысяч изуродованных солдат долго, до самой смерти не забудут о своих врагах. В рассказах о войне они передадут свою ненависть детям, воспитанным впечатлениями трехлетнего ежедневного ужаса. За эти годы много посеяно на земле вражды, пышные всходы дает этот посев!

А ведь так давно и красноречиво говорилось нам о братстве людей, о единстве интересов человечества! Кто же виноват в дьявольском обмане, в создании кровавого хаоса?

Не будем искать виновных в стороне от самих себя. Скажем горькую правду: все мы виноваты в этом преступлении, все и каждый.

Представьте себе на минуту, что в мире живут разумные люди, искренно озабоченные благоустройством жизни, уверенные в своих творческих силах, представьте, например, что нам, русским, нужно, в интересах развития нашей промышленности, прорыть Риго-Херсонский канал, чтобы соединить Балтийское море с Черным — дело, о котором мечтал еще Петр Великий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой миллионы людей, мы посылаем часть их на эту работу, нужную стране, всему ее народу. Я уверен, что люди, убитые за три года войны, сумели бы в это время осушить тысячеверстные болота нашей родины, оросить Голодную степь и другие пустыни, соединить реки Зауралья с Камой, проложить дорогу сквозь Кавказский хребет и совершить целый ряд великих подвигов труда для блага нашей родины.

Но мы истребляем миллионы жизней и огромные запасы трудовой энергии на убийство и разрушение. Изготовляются

массы страшно дорогих взрывчатых веществ; уничтожая сотни тысяч жизней, эти вещества бесследно тают в воздухе. От разорвавшегося снаряда все-таки остаются куски металла, из которых мы со временем хоть гвоздей накуем, а все эти мелиниты, лидиты, динитротолуолы — действительно «пускают по ветру» богатства страны. Речь идет не о миллиардах рублей, а о миллионах жизней, бессмысленно истребляемых чудовищем Жадности и Глупости.

Когда подумаешь об этом — холодное отчаяние сжимает сердце и хочется бешено крикнуть людям:

— Несчастные, пожалейте себя!

VI

Недавно один романист восплакал о том, что в русской революции нет романтизма, что она не создала Теруань де Мерикур[21], не выдвинула героев, ярких людей.

Положим, Теруань, вероятно, потому не явилась, что мы не осаждали Бастилию, но если б мы делали это, — я думаю, что из 50 тысяч петроградских «девушек для радости», наверное, нашлись бы героини. Но, вообще говоря, героев у нас всегда было маловато, если не считать тех, которых мы сами неудачно выдумывали — Сусанина[22], купца Иголкина[23], солдата — спасителя Петра Великого[24], Кузьмы Крючкова и прочих героев физического действия, так сказать.

Полемизируя, можно, разумеется, забыть о героях духа, о людях, которые великим и упорным подвигом всей жизни вывели, наконец, Россию из заколдованного царства бесправия и насилия.

Но я думаю, что романтизм все-таки не иссяк и романтики живы, — если именем романтика мы можем почтить — или обидеть — человека, страстно влюбленного в свою идею, свою мечту.

На днях именно такой романтик, — крестьянин Пермской губернии, — прислал мне письмо, в котором меня очень тронули вот эти строки:

«Да, правда не каждому под силу, порой она бывает настолько тяжела, что страшно оставаться с ней с глазу на глаз. Разве не страшно становится, когда видишь, как великое, святое знамя социализма захватывают грязные руки, карманные интересы?.. Крестьянство, жадное до собственности, получит землю и отвернется, изорвав на онучи знамя Желябова[25], Брешковской[26].

Партийный работник, студент с.-д., откровенно заявляет, что

он теперь не может работать в партии, так как на службе получает 350 р., а партия не заплатит ему и 250. Сто рублей он, пожалуй, уступил бы ради “прежнего” идеализма…

Солдаты охотно становятся под знамя “мир всего мира”, но они тянутся к миру не во имя идеи интернациональной демократии, а во имя своих шкурных интересов: сохранения жизни, ожидаемого личного благополучия.

Я отлично помню свое настроение, когда я семнадцатилетним юношей шел за сохой под жарким солнцем; если я видел идущего мимо писаря, священника, учителя, то непременно ставил себе вопрос: “Почему я работаю, а эти люди блаженствуют?” Ибо я признавал за труд только физический труд, и все мои стремления были направлены к освобождению себя от этого труда. Это же самое теперь я вижу у многих, охотно примыкающих к социалистическим партиям. Когда я вижу этих “социалистов”, мне хочется заплакать, ибо я хочу быть социалистом не на словах, а на деле.

Нужны вожди, которые не боятся говорить правду в глаза. И если бы социалистическая пресса обличала не только буржуазию, но и ведомых ею, она от этого выиграла бы в дальнейшем. Надо быть суровым и беспощадным не только с противником, но и с друзьями. В Библии сказано: “обличай премудра, и возлюбит тя”».

Вот голос несомненного романтика, голос человека, который чувствует организующую силу правды и любит ее очищающий душу огонь.

Я почтительно кланяюсь этому человеку. Людям его типа трудно живется, но их жизнь оставляет прекрасный след.

VII

На днях я получил письмо[27] такого содержания:

«Вчера я прочитал ваш «Кошмар», и душа моя — душа человека, тоже служившего в охранке, плачет от сознания безнадежности моего положения, которое этот рассказ пробудил во мне. Я не стану рассказывать вам, как попал в эту яму: это неинтересно. Скажу лишь, что голод и совет человека, близкого мне тогда, состоявшего под судом и думавшего, что я смогу облегчить его участь, толкнули меня на этот ужасный шаг.

Скажу, что презирал себя все время, служа там, презираю и сейчас. Но — знаете, что больно? То, что даже чуткий человек, как вы, не понял, очевидно, что надо было, наверное, каждому из нас, охранников, сжечь многое в душе своей. Что страдали мы не в то время, когда служили, а — раньше, тогда, когда не было уже

выхода. Что общество, которое сейчас бросает в нас грязью, не поддержало нас, не протянуло нам руки помощи и тогда. Ведь не все так сильны, что могут отдавать всё, не получая взамен ничего! *Если бы еще не было веры в социализм, в партию, — а то, знаете, в своей подлой голове я так рассуждал: слишком мал тот вред, который я мог причинить движению, слишком я верю в идею, чтобы не суметь работать так, что пользы будет больше, чем вреда.* Я не оправдываюсь, но мне хотелось бы, чтоб психология даже такого жалкого существа, как провокатор, все же была бы уяснена вами. Ведь нас — много! — всё лучшие партийные работники. *Это не единоличное уродливое явление, а, очевидно, какая-то более глубокая общая причина загнала нас в этот тупик.* Я прошу вас: преодолейте отвращение, подойдите ближе к душе предателя и скажите нам всем: какие именно мотивы руководили нами, когда мы, веря всей душой в партию, в социализм, во все святое и чистое, могли «честно» служить в охранке и, презирая себя, все же находили возможным жить?»

Тяжело жить на святой Руси!

Тяжело.

Грешат в ней — скверно, каются в грехах — того хуже. Изумительна логика подчеркнутых слов о вере в социализм. Мог ли бы человек, рассуждающий так странно и страшно, откусить ухо или палец любимой женщине на том основании, что он любит всю ее, все тело и душу, а палец, ухо — такие маленькие сравнительно с ней, целой. Вероятно — не мог бы. Но — веруя в дело социализма, любя партию, он отрывает один за другим ее живые члены и думает, что пользы делу от этого будет больше, чем вреда. Я повторяю вопрос: искренно ли думает он так? И боюсь, что да, искренно, что это соображение явилось не после факта, а родилось в одну минуту с фактом предательства. Оригинальнейшая черта русского человека — в каждый данный момент он искренен. Именно эта оригинальность и является, как я думаю, источником моральной сумятицы, среди которой мы привыкли жить. Вы посмотрите: ведь нигде не занимаются так много и упорно вопросами и спорами, заботами о личном «самосовершенствовании», как занимаются этим, очевидно бесплодным, делом у нас.

Мне всегда казалось, что именно этот род занятий создает особенно густую и удушливую атмосферу лицемерия, лжи, ханжества. Особенно тяжелой и подавляющей эта атмосфера была в кружках «толстовцев», людей, которые чрезвычайно яростно занимались «самоугрызением».

Морали как чувства органической брезгливости ко всему грязному и дурному, как инстинктивного тяготения к чистоте

душевной и красивому поступку, — такой морали нет в нашем обиходе. Ее место издавна занято холодными, «от ума», рассуждениями о правилах поведения, и рассуждения эти, не говоря о их отвратительной схоластике, создают ледяную атмосферу какого-то бесконечного, нудного и бесстыдного взаимоосуждения, подсиживания друг друга, заглядывания в душу вам косым и зорким взглядом врага. И — скверного врага; он не заставляет вас напрягать все ваши силы, изощрять весь разум, всю волю для борьбы с ним.

Он — словесник. Единственно, чего он добивается, — доказать вам, что он умнее, честнее, искреннее и вообще — всячески лучше вас. Позвольте ему доказать это — он обрадуется, на минуту, а затем опустеет, выдохнется, обмякнет, и станет ему скучно. Но ему не позволяют этого, к сожалению, а вступая с ним в спор, сами развращаются, растрачивая пафос на пустяки. И так словесник плодит словесников, так небогатые наши чувства размениваются на звенящую медь пустых слов.

Посмотрите, насколько ничтожно количество симпатии у каждого и вокруг каждого из вас, как слабо развито чувство дружбы, как горячи наши слова и чудовищно холодно отношение к человеку. Мы относимся к нему пламенно только тогда, когда он, нарушив установленные нами правила поведения, дает нам сладостную возможность судить его «судом неправедным». Крестьянские дети зимою, по вечерам, когда скучно, а спать еще не хочется, ловят тараканов и отрывают им ножки, одну за другой. Эта милая забава весьма напоминает общий смысл нашего отношения к ближнему, характер наших суждений о нем.

Автор письма, «товарищ-провокатор», говорит о таинственной «общей причине», загоняющей многих и загнавшей его «в тупик».

Я думаю, что такая «общая причина» существует и что это очень сложная причина. Вероятно, одной из ее составных частей служит и тот факт, что мы относимся друг к другу совершенно безразлично, это при условии, если мы настроены хорошо. Мы не умеем любить, не уважаем друг друга, у нас не развито внимание к человеку, о нас давно уже и совершенно правильно сказано, что мы:

К добру и злу постыдно равнодушны.

«Товарищ-провокатор» очень искренно написал письмо, но я думаю, что причина его несчастья — именно вот это равнодушие к добру и злу.

VIII

На всю жизнь останутся в памяти отвратительные картины безумия, охватившего Петроград днем 4 июля.[28]

Вот, ощетинясь винтовками и пулеметами, мчится, точно бешеная свинья, грузовик-автомобиль, тесно набитый разношерстными представителями «революционной армии». Среди них стоит встрепанный юноша и орет истерически:

— Социальная революция, товарищи!

Какие-то люди, еще не успевшие потерять разум, безоружные, но спокойные, останавливают гремящее чудовище и разоружают его, выдергивая щетину винтовок. Обезоруженные солдаты и матросы смешиваются с толпой, исчезают в ней; нелепая телега, опустев, грузно прыгает по избитой, грязной мостовой и тоже исчезает, точно кошмар.

И ясно, что этот устрашающий выезд к «социальной революции» затеян кем-то наспех, необдуманно и что глупость — имя силы, которая вытолкнула на улицу вооруженных до зубов людей.

Вдруг где-то щелкает выстрел, и сотни людей судорожно разлетаются во все стороны, гонимые страхом, как сухие листья вихрем, валятся на землю, сбивая с ног друг друга, визжат и кричат:

— Буржуи стреляют!

Стреляли, конечно, не «буржуи», стрелял не страх перед революцией, а страх за революцию. Слишком много у нас этого страха. Он чувствовался всюду — и в руках солдат, лежащих на рогатках пулеметов, и в дрожащих руках рабочих, державших заряженные винтовки и револьверы со взведенными предохранителями, и в напряженном взгляде вытаращенных глаз. Было ясно, что эти люди не верят в свою силу да едва ли и понимают, зачем они вышли на улицу с оружием.

Особенно характерна была картина паники на углу Невского и Литейного часа в четыре вечера. Роты две каких-то солдат и несколько сотен публики смиренно стояли около ресторана Палкина и дальше, к Знаменской площади, и вдруг, точно силою какого-то злого, иронического чародея, все эти вооруженные и безоружные люди превратились в оголтелое стадо баранов.

Я не смог уловить, что именно вызвало панику и заставило солдат стрелять в пятый дом от угла Литейного по Невскому, — они начали палить по окнам и колоннам дома не целясь, с лихорадочной торопливостью людей, которые боятся, что вот сейчас у них отнимут ружья. Стреляло человек десять, не более, а остальные, побросав винтовки и знамена на мостовую, начали вместе с публикой ломиться во все двери и окна, выбивая стекла, ломая двери, образуя на тротуаре кучи мяса, обезумевшего от

страха.

По мостовой, среди разбросанных винтовок, бегала девочка-подросток и кричала:

— Да это свои стреляют, свои же!

Я поставил ее за столб трамвая, она возмущенно сказала:

— Кричите, что свои…

Но все уже исчезли, убежав на Литейный, Владимирский, забившись в проломанные ими щели, а на мостовой валяются винтовки, шляпы, фуражки, и грязные торцы покрыты красными полотнищами знамен.

Я не впервые видел панику толпы, это всегда противно, но — никогда не испытывал я такого удручающего, убийственного впечатления.

Вот это и есть тот самый «свободный» русский народ, который за час перед тем, как испугаться самого себя, «отрекался от старого мира» и «отрясал его прах с ног своих». Эти солдаты революционной армии разбежались от своих же пуль, побросав винтовки и прижимаясь к тротуару.

Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, медленным огнем культуры.

Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели. И я уверен, что если б та часть интеллигенции, которая, убоясь ответственности, избегая опасностей, попряталась где-то и бездельничает, услаждаясь критикой происходящего, если б эта интеллигенция с первых же дней свободы попыталась ввести в хаос возбужденных инстинктов иные начала, попробовала возбудить чувства иного порядка, — мы все не пережили бы множества тех гадостей, которые переживаем. Если революция не способна тотчас же развить в стране напряженное культурное строительство, — тогда, с моей точки зрения, революция бесплодна, не имеет смысла, а мы — народ, неспособный к жизни.

Прочитав вышеизложенное, различные бесстыдники, конечно, не преминут радостно завопить:

— А о роли ленинцев в событиях 4 июля — ни слова не сказано, ага! Вот оно где, лицемерие!

Я — не сыщик и не знаю, кто из людей наиболее повинен в мерзостной драме. Я не намерен оправдывать авантюристов, мне ненавистны и противны люди, возбуждающие темные инстинкты масс, какие бы имена эти люди ни носили и как бы ни были солидны в прошлом их заслуги пред Россией. Я думаю, что германская провокация событий 4 июля — дело возможное, но я

должен сказать, что и злая радость, обнаруженная некоторыми людьми после событий 4-го, — тоже крайне подозрительна. Есть люди, которые так много говорят о свободе, о революции и о своей любви к ним, что речи их напоминают сладкие речи купцов, желающих продать товар возможно выгоднее.

Однако главнейшим возбудителем драмы я считаю не «ленинцев», не немцев, не провокаторов и контрреволюционеров, а — более злого, более сильного врага — тяжкую российскую глупость.

В драме 4 июля больше всех других сил, создавших драму, виновата именно наша глупость, назовите ее некультурностью, отсутствием исторического чутья, — как хотите.

IX

«Пролетариат — творец новой культуры», — в этих словах заключена прекрасная мечта о торжестве справедливости, разума, красоты, мечта о победе человека над зверем и скотом; в борьбе за осуществление этой мечты погибли тысячи людей всех классов.

Пролетариат — у власти, ныне он получил возможность свободного творчества. Уместно и своевременно спросить — в чем же выражается это творчество? Декреты «правительства народных комиссаров» — газетные фельетоны, не более того. Это — литература, которую пишут «на воде вилами», и хотя в этих декретах есть ценные идеи, — современная действительность не дает условий для реализации этих идей.

Что же нового дает революция, как изменяет она звериный русский быт, много ли света вносит она во тьму народной жизни?

За время революции насчитывается уже до 10 тысяч «самосудов». Вот как судит демократия своих грешников: около Александровского рынка поймали вора, толпа немедленно избила его и устроила голосование: какой смертью казнить вора: утопить или застрелить? Решили утопить и бросили человека в ледяную воду. Но он кое-как выплыл и вылез на берег, тогда один из толпы подошел к нему и застрелил его.

Средние века нашей истории были эпохой отвратительной жестокости, но и тогда, если преступник, приговоренный судом к смертной казни, срывался с виселицы — его оставляли жить.

Как влияют самосуды на подрастающее поколение?

Солдаты ведут топить в Мойке до полусмерти избитого вора, он весь облит кровью, его лицо совершенно разбито, один глаз вытек. Его сопровождает толпа детей; потом некоторые из них возвращаются с Мойки и, подпрыгивая на одной ноге, весело

кричат:

— Потопили, утопили!

Это — наши дети, будущие строители жизни. Дешева будет жизнь человека в их оценке, а ведь человек — не надо забывать об этом! — самое прекрасное и ценное создание природы, самое лучшее, что есть во вселенной. Война оценила человека дешевле маленького куска свинца, этой оценкой справедливо возмущались, упрекая за нее «империалистов» — кого же упрекнем теперь — за ежедневное, зверское избиение людей?

X

В силу целого ряда условий у нас почти совершенно прекращено книгопечатание и книгоиздательство и, в то же время, одна за другой уничтожаются ценнейшие библиотеки. Вот недавно разграблены мужиками имения Худекова, Оболенского и целый ряд других имений. Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах, а библиотеки — сожгли, рояли изрубили топорами, картины — изорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни, — можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской массы.

Книга — главнейший проводник культуры, и для того, чтобы народ получил в помощь себе умную, честную книгу, работникам книжного дела можно бы пойти на некоторые жертвы, — ведь они прежде всех и особенно заинтересованы в том, чтоб вокруг них создалась идеологическая среда, которая помогла бы развитию и осуществлению их идеалов.

Наши учителя, Радищевы, Чернышевские, Марксы, — духовные делатели книг, жертвовали и свободой и жизнью за свои книги. Чем облегчают сейчас физические делатели книг развитие книжного дела?

XI

Три года безжалостной, бессмысленной бойни, три года изо дня в день проливается кровь лучших племен земли, истребляется драгоценнейший мозг культурных наций Европы.

Обескровлена Франция, «вождь человечества», истощается Италия, «лучший дар Бога нашей печальной земле», напрягает все свои силы Англия, «спокойно поучающая мир чудесам труда», угрюмо задыхаются в железных тисках войны «трудолюбивые племена Германии».

Уничтожены Бельгия, Сербия, Румыния, Польша; разорена экономически, развращена войною духовно мечтательная, мягкотелая Русь, — страна, еще не жившая, не успевшая показать миру свои скрытые силы.

В XX веке, после того как девятнадцать веков Европа проповедовала человечность в церквах, которые она теперь разрушает пушками, в книгах, которые солдаты жгут, как дрова, — в XX веке гуманизм забыт, осмеян, а все, что создано бескорыстной работой науки, схвачено и направлено волею бесстыдных убийц на истребление людей.

Что, в сравнении с этой кошмарной трехлетней бойней, тридцатилетние и столетние войны прошлого? Где найдем мы оправдание этому небывалому преступлению против планетарной культуры?

Этому отвратительному самоистреблению нет оправдания. Сколько бы ни лгали лицемеры о «великих» целях войны, их ложь не скроет страшной и позорной правды: войну родил Барыш, единственный из богов, которому верят и молятся «реальные политики», убийцы, торгующие жизнью народа.

Людей, которые верят в торжество идеала всемирного братства, негодяи всех стран объявили вредными безумцами, бессердечными мечтателями, у которых нет любви к родине.

Забыто, что среди этих мечтателей Христос, Иоанн Дамаскин[29], Франциск Ассизский[30], Лев Толстой — десятки полубогов-полулюдей, которыми гордится человечество. Для тех, кто уничтожает миллионы жизней, чтобы захватить в свои руки несколько сотен верст чужой земли, — для них нет ни бога, ни дьявола. Народ для них — дешевле камня, любовь к родине — ряд привычек. Они любят жить так, как живут, и пусть вся земля разлетится прахом во вселенной, — они не хотят жить иначе, как привыкли.

Вот они уже три года живут по горло в крови, которую проливают по их воле десятки миллионов людей.

Но когда истощатся силы народных масс или когда единодушно вспыхнет их воля «к жизни чистой, человеческой» и прекратит кровавый кошмар, — люди, истребляющие народ Европы, трусливо закричат:

— Это не наша вина! Не мы изуродовали мир, не мы разрушили и разграбили Европу!

Но мы надеемся, что к той поре «глас народа» воистину будет строгим и справедливым «Гласом Божиим» и он заглушит вопли лжи.

Верующие в победу над бесстыдством и безумием должны стремиться к единению своих сил.

В конце концов — побеждает разум.

XII

Присяжный поверенный, один их тех, которые при старом режиме, спокойно рискуя личной свободой, не думая о карьере, мужественно выступали защитниками в политических процессах и нанесли самодержавию немало ударов, — человек, прекрасно знающий глубину бесправия и цинизма монархии, говорил мне на днях:

— Так же, как при Николае Романове, я выступаю защитником в наскоро сделанном политическом процессе; так же, как тогда, ко мне приходят плакать и жаловаться матери, жены, сестры заключенных; как прежде — аресты совершаются «по щучьему велению», арестованных держат в отвратительных условиях, чиновники «нового строя» относятся к подследственному так же бюрократически-бессердечно, как относились прежде. Мне кажется, что в моей области нет изменений к лучшему.

А я думаю, что в этой области следует ожидать всех возможных изменений к худшему. При монархии покорные слуги Романова иногда не отказывали себе в удовольствии полиберальничать, покритиковать режим, поныть на тему о гуманизме и вообще немножко порисоваться благодушием, показать невольному собеседнику, что и в сердце заядлого чиновника не все добрые начала истреблены усердной работой по охране гнилья и мусора.

Наиболее умные, вероятно, понимали, что «политик» — человек, в сущности, и для них не вредный, — работая над освобождением России, он работал и над освобождением чиновника от хамоватой «верховной власти».

Теперь самодержавия нет и можно показать всю «красоту души», освобожденной из плена строгих циркуляров.

Теперь чиновник старого режима, кадет или октябрист, встает пред арестованным демократом как его органический враг, либеральная маниловщина — никому не нужна и неуместна.

С точки зрения интересов партии и политической борьбы все это вполне естественно, а «по человечеству» — гнусно и будет еще гнусней по мере неизбежного обострения отношений между демократией и врагами ее.

XIII

В одной из грязненьких уличных газет некто напечатал свои впечатления от поездки в Царское Село. В малограмотной статейке, предназначенной на потеху улицы и рассказывающей о том, как Николай Романов пилит дрова, как его дочери работают в огороде, — есть такое место:

Матрос подвозит в качалке Александру Федоровну. Она похудевшая, осунувшаяся, во всем черном. Медленно с помощью дочерей выходит из качалки и идет, сильно прихрамывая на левую ногу…

— Вишь, заболела, — замечает кто-то из толпы: — Обезножела…

— Гришку бы ей сюда, — хихикает кто-то в толпе: — Живо бы поздоровела.

Звучит оглушительный хохот.

Хохотать над больным и несчастным человеком — кто бы он ни был — занятие хамское и подленькое. Хохочут русские люди, те самые, которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и трепетом, хотя и понимали — смутно — их роль в России.

Но — дело не в том, что веселые люди хохочут над несчастием женщины, а в том, что статейка подписана еврейским именем Иос. Хейсин.

Я считаю нужным напомнить г. Хейсину несколько строк из статьи профессора Бодуэна де Куртенэ[31] в сборнике «Щит»[32]:

«Утащили в вагоне чемодан. Вор оказался поляком. Но не сказали, что украл “поляк”, а только, что украл “вор”.

Другой раз похитителем оказался русский. И на этот раз обличили в краже не русского, а просто — “вора”.

Но если б чемодан оказался в руках еврея, — было бы сказано, что “украл еврей”, а не просто “вор”».

Полагаю, что мораль должна быть понятна Хейсину и подобным ему «бытописателям», — напр., Давиду Айзману[33] и т. д., — ведь по поводу их сочинений тоже могут сказать, что это пишут не просто до оглупения обозленные люди, а — «евреи».

Едва ли найдется человек, настолько бестолковый, чтоб по поводу сказанного заподозрить меня в антисемитизме.

Я считаю нужным, — по условиям времени, — указать, что нигде не требуется столько такта и морального чутья, как в отношении русского к еврею и еврея к явлениям русской жизни.

Отнюдь не значит, что на Руси есть факты, которых не должен критически касаться татарин или еврей, но — обязательно помнить, что даже невольная ошибка, — не говоря уже о сознательной гадости, хотя бы она была сделана из искреннего желания угодить инстинктам улицы, — может быть

истолкована во вред не только одному злому или глупому еврею, но — всему еврейству.

Не надо забывать этого, если живешь среди людей, которые могут хохотать над больным и несчастным человеком.

XIV

Вот уже почти две недели каждую ночь толпы людей грабят винные погреба[34], напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и, точно свиньи, валяются в грязи, в крови. За эти дни истреблено вина на несколько десятков миллионов рублей и, конечно, будет истреблено на сотни миллионов.

Если б этот ценный товар продать в Швецию — мы могли бы получить за него золотом или товарами, необходимыми стране, — мануфактурой, лекарствами, машинами.

Люди из Смольного, спохватясь несколько поздно, грозят за пьянство строгими карами, но пьяницы угроз не боятся и продолжают уничтожать товар, который давно бы следовало реквизировать, объявить собственностью обнищавшей нации и выгодно, с пользой для всех, продать.

Во время винных погромов людей пристреливают, как бешеных волков, постепенно приучая к спокойному истреблению ближнего.

В «Правде» пишут о пьяных погромах как о «провокации буржуев» — что, конечно, ложь, это «красное словцо», которое может усилить кровопролитие.

Развивается воровство, растут грабежи, бесстыдники упражняются во взяточничестве так же ловко, как делали это чиновники царской власти; темные люди, собравшиеся вокруг Смольного, пытаются шантажировать запуганного обывателя. Грубость представителей «правительства народных комиссаров» вызывает общие нарекания, и они — справедливые. Разная мелкая сошка, наслаждаясь властью, относится к гражданину как к побежденному, т. е. так же, как относилась к нему полиция царя. Орут на всех, орут, как будочники в Конотопе или Чухломе. Все это творится от имени «пролетариата» и во имя «социальной революции», и все это является торжеством звериного быта, развитием той азиатчины, которая гноит нас.

А где же и в чем выражается «идеализм русского рабочего», о котором так лестно писал Карл Каутский[35]?

Где же и как воплощается в жизнь мораль социализма — «новая» мораль?

Ожидаю, что кто-нибудь из «реальных политиков» воскликнет с пренебрежением ко всему указанному:

— Чего вы хотите? Это — социальная революция!

Нет, — в этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии.

XV

Революция углубляется…

Бесшабашная демагогия людей, «углубляющих» революцию, дает свои плоды, явно гибельные для наиболее сознательных и культурных представителей социальных интересов рабочего класса. Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными; чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и т. д. суть «буржуи».

Революция все углубляется во славу людей, производящих опыт над живым телом рабочего народа.

А рабочие, сознающие трагизм момента, испытывают величайшую тревогу за судьбу революции.

«Боюсь, — пишет мне один из них, — что недалек уже тот день, когда массы, не удовлетворившись большевизмом, навсегда разочаруются в лучшем будущем, навсегда потеряют веру в социализм и повернут все взоры опять к прошлому, к черному монархизму, и тогда дело освобождения народов погибнет на сотни лет.

Я думаю, что это будет, ибо большевизм не осуществит всех чаяний некультурных масс, и вот я не знаю, что нам, находящимся среди этих масс, делать для того, чтоб не дать угаснуть вере в социализм и в лучшую жизнь на земле».

«Положение мало-мальски развитого рабочего в среде обалдевшей массы становится похоже на то, как бы ты стал чужой для своих же», — сообщает другой.

Эти жалобы слышатся все чаще, предвещая возможность глубокого раскола в недрах рабочего класса. А иные рабочие говорят и пишут мне:

«Вам бы, товарищ, радоваться, пролетариат победил!»

Радоваться мне нечему, пролетариат ничего и никого не победил. Как сам он не был побежден, когда полицейский режим держал его за глотку, так и теперь, когда он держит за глотку буржуазию, — буржуазия еще не побеждена. Идеи не побеждают

приемами физического насилия. Победители обычно — великодушны, — может быть, по причине усталости, — пролетариат не великодушен, как это видно по делу С. В. Паниной[36], Болдырева[37], Коновалова[38], Бернацкого[39], Карташева[40], Долгорукого[41] и других, заключенных в тюрьму неизвестно за что.

Кроме названных людей в тюрьмах голодают тысячи — да, тысячи! — рабочих и солдат.

Нет, пролетариат не великодушен и не справедлив, а ведь революция должна была утвердить в стране возможную справедливость.

Пролетариат не победил, по всей стране идет междоусобная бойня, убивают друг друга сотни и тысячи людей. В «Правде» сумасшедшие люди науськивают: бей буржуев, бей калединцев! Но буржуи и калединцы — ведь это все те же солдаты-мужики, солдаты-рабочие, это их истребляют, и это они расстреливают красную гвардию.

Если б междоусобная война заключалась в том, что Ленин вцепился в мелкобуржуазные волосы Милюкова[42], а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина.

— Пожалуйста! Деритесь, паны!

Но дерутся не паны, а холопы, и нет причин думать, что эта драка кончится скоро. И не возрадуешься, видя, как здоровые силы страны погибают, взаимно истребляя друг друга. А по улицам ходят тысячи людей и, как будто бы сами над собой издеваясь, кричат: «Да здравствует мир!»

Банки захватили? Это было бы хорошо, если б в банках лежал хлеб, которым можно досыта накормить детей. Но хлеба в банках нет, и дети изо дня в день недоедают, среди них растет истощение, растет смертность.

Междоусобная бойня окончательно разрушает железные дороги: если бы мужики дали хлеба, его не скоро подвезешь.

Но всего больше меня и поражает и пугает то, что революция не несет в себе признаков духовного возрождения человека, не делает людей честнее, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки их труда.

Есть, конечно, люди, которые ходят «гоголем», напоминая циркового борца, успешно положившего противника своего «на обе лопатки», — о этих людях не стоит говорить. Но в общем, в массе — не заметно, чтоб революция оживляла в человеке это социальное чувство. Человек оценивается так же дешево, как и раньше. Навыки старого быта не исчезают. «Новое начальство» столь же грубо, как старое, только еще менее внешне благовоспитанно. Орут и топают ногами в современных участках,

как и прежде орали. И взятки хапают, как прежние чинуши хапали, и людей стадами загоняют в тюрьмы. Все старенькое, скверненькое пока не исчезает.

Это плохой признак, он свидетельствует о том, что совершилось только перемещение физической силы, но это перемещение не ускоряет роста сил духовных.

А смысл жизни и оправдание всех мерзостей ее только в развитии всех духовных сил и способностей наших.

«Об этом — преждевременно говорить, сначала мы должны взять в свои руки власть».

Нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь боролись.

XVI

Стоит на берегу Фонтанки небольшая кучка обывателей и, глядя вдаль, на мост, запруженный черной толпою, рассуждает спокойно, равнодушно:

— Воров топят.

— Много поймали?

— Говорят — трех.

— Одного, молоденького, забили.

— До смерти?

— А то как же?

— Их обязательно надо до смерти бить, а то — житья не будет от них…

Солидный, седой человек, краснолицый и чем-то похожий на мясника, уверенно говорит:

— Теперь — суда нет, значит, должны мы сами себя судить…

Какой-то остроглазый, потертый человечек спрашивает:

— А не очень ли просто это — если сами себя?

Седой отвечает лениво и не взглянув на него:

— Проще — лучше. Скорей, главное.

— Чу, воет!

Толпа замолчала, вслушиваясь. Издали, с реки, доносится дикий, тоскливый крик.

Уничтожив именем пролетариата старые суды, г.г. народные комиссары этим самым укрепили в сознании «улицы» ее право на «самосуд» — звериное право. И раньше, до революции, наша улица любила бить, предаваясь этому мерзкому «спорту» с наслаждением. Нигде человека не бьют так часто, с таким

усердием и радостью, как у нас, на Руси. «Дать в морду», «под душу», «под микитки», «под девятое ребро», «намылить шею», «накостылять затылок», «пустить из носу юшку» — все это наши русские милые забавы. Этим — хвастаются. Люди слишком привыкли к тому, что их «сызмала походя бьют», — бьют родители, хозяева, била полиция.

И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются своим «правом» с явным сладострастием, с невероятной жестокостью. Уличные «самосуды» стали ежедневным «бытовым явлением», и надо помнить, что каждый из них все более и более расширяет, углубляет тупую, болезненную жестокость толпы.

Рабочий Костин пытался защитить избиваемых, — его тоже убили. Нет сомнения, что изобьют всякого, кто решится протестовать против «самосуда» улицы.

Нужно ли говорить о том, что «самосуды» никого не устрашают, что уличные грабежи и воровство становятся все нахальнее?

Но самое страшное и подлое — в том, что растет жестокость улицы, и вина за это будет возложена на голову рабочего класса: ведь неизбежно скажут, что «правительство рабочих распустило звериные инстинкты темной уличной массы». Никто не упомянет о том, как страшно болит сердце честного и сознательного рабочего от всех этих «самосудов», от всего хаоса расхлябавшейся жизни.

Я не знаю, что можно предпринять для борьбы с отвратительным явлением уличных кровавых расправ, но народные комиссары должны немедля предпринять что-то очень решительное. Ведь не могут же они не сознавать, что ответственность за кровь, проливаемую озверевшей улицей, падает и на них, и на класс, интересы которого они пытаются осуществить. Эта кровь грязнит знамена пролетариата, она пачкает его честь, убивает его социальный идеализм.

Больше, чем кто-либо, рабочий понимает, что воровство, грабеж, корыстное убийство — все это глубокие язвы социального строя, он понимает, что люди не родятся убийцами и ворами, а — делаются ими. И — как это само собой разумеется — сознательный рабочий должен с особенной силой бороться против «самосуда» улицы над людьми, которых нужда гонит к преступлению против «священного института собственности».

XVII

Приехал ко мне из провинции человек — один из тех неукротимых оптимистов, которые, «хоть им кол на голове теши», не унывают, не охают и которых, к сожалению, мало у нас на Руси. Спрашиваю его:

— Ну, что у вас нового, интересного?

— Немало, государь мой, немало; а самое интересное и значительное — буржуй растет! Удивляетесь, смеетесь? Я тоже сначала удивлялся, но не смеясь, а печально, ибо — как же это? Социалистическое отечество, и вдруг — буржуй растет! И такой, знаете, урожай на него, как на белый гриб сырым летом. Мелкий такой буржуй, но — крепкий, ядреный. Присмотрелся внимательнее и решил: что ж поделаешь? Игра судьбы, которую на кривой не объедешь, рожон истории, против которого не попрешь.

— Но — позвольте! Откуда же буржуй?

— Отовсюду: из мужика, который за время войны нажил немножко деньжат, немножко — тысячи три, пяток, а кто и двадцать! Помещика пограбил — тоже доход не безгрешен, а — хорош. И все это неверно говорится и пишется у вас, что мужик будто стал пьяницей, картежником, — пьют те, которые похуже, кому не жить; пьет сор деревенский, пустой народишко, издавна отравленный водкой, — ему все равно при всяком режиме вырождение суждено и смерть! Он, действительно, пьет разные мерзости, отчего и умирает весьма быстро, тем самым освобождая деревню от хулиганства и всякой дряни. Тут действует один суровенький закончик: как холера является экзаменом на обладание хорошим желудком, так алкоголизм — экзамен общей стойкости организма. Нет, дрянцо человечье вымирает; конечно — жаль, но все-таки — утешительно! А что в карты играют жестоко — это верно! Денег очень много у всех, ну и — балуются. Но примите во внимание, что выигрывает всегда наиболее хладнокровный и расчетливый игрок, так и в этом нет беды. Идет законный подбор: сильный одолевает слабого.

Пришел солдат, он тоже принес немало деньжонок и довольно успешно увеличивает их, пуская в оборот. Солдаты образовали свои секции, и это им очень выгодно: у нас содержание волостного комитета стоило 1500 р., а солдаты взимают теперь 52 тысячи. И вообще, если говорить просто, — грабеж идет в деревне невероятный, но, как увидите, это не очень страшно… Прибавьте сюда бабу — она стала невероятно ловкой и умной стяжательницей.

Явился матрос, тоже человек денежный, я видел двух, которые, не скрывая, говорят, что у них «накоплено» по 30 тысяч. Каким образом? А они, видите ли, после того, как армия ушла,

турецких армян перевозили на миноносцах в русские порты, за что взималось по тысяче рублей с каждой армянской головы.

— Но чего же стоят теперешние деньги?

— Не беспокойтесь, это учтено! Деньгами не дорожат, их не прячут: мелкие, разменные бумажки держат при себе, а крупные суммы обращают в имущество, покупают все, что имеет более или менее устойчивую цену. А посмотрели бы вы, как заботится новый мужик о приобретении и размножении скота! Особенно бабы! О, это удивительный народ по жадности своей к накоплению! Мало того — есть уже настолько проницательные люди, что уже начинают учитывать возможные потребности будущего. Так, например, в волости, соседней с моей, девять человек солдат, крестьян и какой-то матрос затеяли кирпичный завод. Губерния у нас не очень лесная, но все-таки и не безлесная, — к чему бы им завод, вдали от железной дороги? «А, видите ли, товарищ, мы так рассчитываем, что, когда все утихомирится, народ станет кирпичные дома строить, потому что теперь у многих имущества дорогого довольно накоплено, так изба-то уж не годится!» У нас в городе вахмистр случный пункт для лошадей устроил, трех жеребцов завел, думает расширить дело до настоящего конского завода. И таких начинаний немало, о них слышишь повсюду.

— Ну да, конечно, до социализма отсюда далеко, но ведь было бы наивно рассчитывать на деревенский социализм у нас, на Руси. Рассчитывали? Что же — ошиблись, а «ошибка в фальшь не ставится». А суть в том, что деревня родит буржуя, очень крепкого и знающего себе цену. Это, государь мой, будет, видимо, настоящий хозяин своей земли, человек с «отечеством». Попробуйте-ка у этого господина отнять то, что он считает своим! Он вам покажет, он ведь теперь вооруженный человек. И если он первое время, может быть, набросится на дешевый немецкий товар, так это ненадолго: пройдет лет десять, он поймет настоящую культурную ценность своего дешевого товара и не постеснится снова вступить с немцем в драку.

— Да, вот как вышло: социализм родил буржуя! Конечно — много разбито и ограблено, однако награбленное пока еще не ушло из России, а только распределилось среди большего количества ее жителей. «Буржуя» стало больше на земле нашей, и я говорю вам, что хотя это и мелкий, но очень крепкий буржуй, — он себя покажет!

— А рабочий класс?

— И рабочему классу он покажет себя, если рабочий не пойдет по пути крестьянской политики, не захочет понять всей важности деревенских интересов.

…Все это звучит несколько иронически и карикатурно,

однако мне кажется, что в этом рассказе есть весьма значительная доля правды, а всякая правда должна быть сказана вслух на поучение наше.

XVIII

Мы плохо знаем, как живет современная деревня, лишь изредка и случайно доносятся «из глубины России» голоса ее живых людей — вот почему я нахожу нужным опубликовать нижеприводимое письмо, полученное мною на днях.

«Глубокоуважаемый друг и товарищ!» Затем следует несколько строк дружеских излияний, а суть письма — вот какова:

«Нового у нас в селе за последнее время очень много, в особенности за прошлую неделю. 3 и 4 апреля пришлось пережить нам всем, басьцам, весьма тяжелое время в нашей жизни, а именно: 3 апреля к нам, в село Баську, приезжали красногвардейцы, около 300 человек, которые ограбили всех состоятельных домохозяев, т. е. взяли контрибуцию, с кого тысячу, с кого две и до шести тысяч рублей, всего с нашего села собрали 85350 руб., которые и увезли с собой; а сколько кроме того ограбили разного добра у наших граждан, хлебом, мукою, одеждой и проч., то тем и подсчета вести нет возможности, а у Сергея Тимофеевича взяли жеребца, но только не пришлось им воспользоваться: только доехали до села Толстовки, он и пал, около церкви. А сколько пороли нагайками людей, трудно и описать, и так сильно пороли, что от одного воспоминания волосы дыбом становятся, это прямо ужасно! Эти два дня провели наши басьцы в таком страхе, что всех ужасов описать не хватит сил. Всем казалось, что легче пережить муки ада, нежели истязания этих разбойников.

Больше особых новостей в нашем селе нет, а в Барановке, Болдасьеве и Славкине, после отъезда красной гвардии, по примеру этих разбойников, сами, беднейший класс, начали грабить состоятельных граждан своего села, даже делают набеги на другие села в ночное время. Словом, здесь жизнь становится невыносимой. Затем до свиданья, ждем вас в гости, а пока — будьте здоровы».

Эпическая простота рассказа как нельзя убедительнее свидетельствует о правдивости автора, изобличая в нем настоящего русского человека из тех, которые издавна ко всему притерпелись и если говорят о «муках ада», так это больше для красного словца, чем из чувства возмущения грабежом и побоями.

Это человек, который видел, как «беднейший крестьянин», послужив в солдатах, возвратился в деревню крестьянином «богатейшим»; теперь он наблюдает, как этого «богатейшего» снова превращают в «беднейшего», он знает, что когда красногвардейцы, обеднив «богатейших», встанут на их место, то и красногвардейцев можно будет пограбить.

Он считает эту чехарду «невыносимой», однако не настолько, чтобы отказаться видеть своего приятеля в гостях у себя. Чехарда возмущает его ум, но, кажется, не очень глубоко задевает чувство справедливости, и весьма возможно, что он с уверенностью ждет своей очереди превращать богатейших в беднейших. Все это похоже на карикатуру, на фарс, но — к сожалению, это «правда жизни», вызванная из недр деревенской зоологии лозунгом «Грабь награбленное!»

Вот и грабят усердно «эти бедные селенья», с которых можно собирать по 85 тысяч рублей, грабят, ибо очень твердо запомнили неглупую поговорку, созданную цинизмом хищников и тупым отчаянием неудачников: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Каторжный мужицкий труд, целиком зависимый от благорасположения стихии и руководимый древними навыками, а не новейшими успехами знания, не способен развить вкус к «праведному», упорному и честному труду, а ход истории экономического развития России даже и кретина способен убедить в том, что поистине «собственность — есть кража».

И вот — грабят, воруют, поощряемые свыше премудрой властью, возгласившей городу и миру якобы новейший лозунг социального благоустройства:

— Сарынь на кичку! — что в переводе на языке текущего дня и значит:

— Грабь награбленное!

Вспоминаются стихи из фарса Шумахера[43]:

> Винить ли мужика за то, что он мужик?
> От колыбели он быть таковым привык.

Винить следует не мужика — он только послушно идет по пути, предуказанному его темной воле людьми мудрыми, людьми разума.

XIX

У нас, на Руси, о культуре следует говорить бесконечно — и

еще столько же.

Пришел ко мне поэт-самоучка, такой здоровый, гладкий молодец лет 20-ти, с добрыми — не без хитрецы — глазами, прочитал мне полсажени довольно немудрых стихов, и вдруг в ушах моих звучит следующее двустишие:

Лукавый тевтон, под искусною маской,
Задумал в Россию культуру ввести!

Спрашиваю поэта:

— Не объясните ли вы мне — что такое, по-вашему, культура?

Он придал недоделанному лицу своему выражение снисходительное и объяснил:

— Я понимаю культуру как всякое стеснение человека, примерно: организации, партии и вообще все, что против свободы личности.

— Вы анархист?

— Нет, я с ними поссорился, они тоже — партия и заставляют книги читать.

— А вы не любите читать?

— Романы и стихи читаю, только не очень, это мне мешает свои стихи сочинять, начитаешься, а у самого ничего уж и не выходит. Поэт должен беречь себя, никому не поддаваться, а черпать вдохновение из своей души.

— Какие же вы стихи читали?

— Северянина, потом еще некоторых… много! Только согласен с одним — не помню имя, — который говорит:

Не учись по этим книгам,
Что лежат перед тобой,
Лицемеры их писали,
Вознесенные толпой…

Это очень верно сказано — вы согласны?

— Разные книги есть…

Он живо перебил меня:

— Нет, для поэта всякое чужое — вредно, он должен жить только своим. Да и все вообще русские должны жить своим, мы народ особенный, вот — никто не может отказаться воевать, а мы отказались!

— Ну, где же отказались? Друг друга-то бьем, и прежестоко!

— Это наше внутреннее дело. А немецкой или французской

культуры все-таки не примем — вон, они дерутся, как звери, все одно! Срам!

— Вы — крестьянин?

— Да. Только я не считаю себя никем, я не люблю деревню и мужиков тоже, это люди чужие мне, понять меня они не могут.

Круглое полудетское лицо его стало грустно, светлые глаза обиженно прищурились, он погладил чистенько вымытой рукой волосы, завитые на концах в колечки, и тяжело вздохнул. Совсем — страдалец. Непонятая душа.

Когда я сказал ему, что, на мой взгляд, он не умеет писать стихов и что ему нужно учиться, он не поверил мне, но, кажется, не очень обиделся.

— Учиться, — сказал он, задумчиво хмурясь, — значит — быть, как все? Не гожусь я для этого, я хочу жить сам по себе. Гимназисты, студенты — все одинаковы. Нет, уж я как-нибудь сам добьюсь…

Он ушел огорченный, и я знаю, что года два-три, а может, и пять он бесполезно для себя убьет, «добиваясь» неосуществимой для него возможности быть непохожим на других.

А через пять лет он приткнется к какому-нибудь сытному делу и будет делать его неглупо, не очень охотно, будет жить с великой обидой на людей вообще и с презрением ко всем, кто — так или иначе — будет зависим от него.

Г-жа З.Г.[44] пишет мне:

«Я могу представить себе десятки, даже сотни мужиков, способных принять культуру, но когда я подумаю, что все мужики и бабы научатся чистить ногти или сморкаться в платки — это кажется мне смешной утопией».

Ветеринар А.Н. рассуждает о культуре так:

«В самом слове «культура» ясно виден ее смысл — культ, религия. Культура может развиваться только на религиозной почве, и это будет истинная культура, а все остальное — культура вещей, внешнее и от лукавого. В эти дни, когда человек озверел, спасти его может только возвращение к Богу, ко Храму, к наивной вере: «Будьте, как дети», — вот, что надо сказать людям, вот, чему надо их учить, а вы учите — будьте, как звери. Это — влияние

германское, влияние поганых книг Ницше, Маркса, Конта и других иезуитов, придумавших все эти идеи специально только для нас, русских, ибо немец знает, что мы падки на идеи, как жерех на навозных червей».

«Противно и гадко говорить о культуре, когда мужики сыты, а интеллигенция голодает», — пишет учительница, а «группа молодежи» убеждена:

«Это к лучшему, что с людей сходит все внешнее, возложенное ими на себя по долгу, по учению святых отцов литературы, философии и науки, — слиняет, сойдет все это, и человек действительно будет свободен. Может быть, он снова примет то же самое, что отверг, но на время ему необходимо пожить без идеи, принципов и всяких традиций — довольно уж литературы, культуры, социализма и всего этого».

Можно привести еще десяток столь же самобытных мнений о культуре, мнений, свидетельствующих о развитии мысли в родных тамбовско-калуцких школах философии, но и цитированные с достаточной убедительностью свидетельствуют о том, что ощущение жизни у нас становится острее, а понимание ее смысла и целей — тупеет. Ну, а те правила общественного поведения, те навыки взаимоотношений, которые могут быть построены на остром зоологическом ощущении жизни, не обещают нам радостей, они еще более усугубят всеобщее одичание, которому, не сопротивляясь, подчиняется не только деревня, но и город, не только народ, но и так называемые «полуинтеллигенты».

Отсюда еще раз с полной очевидностью вытекает необходимость культурно-просветительной работы — немедленной, планомерной, всесторонней и упорной.

XX

Наблюдая работу революционеров наших дней, ясно различаешь два типа: один — так сказать, вечный революционер, другой — революционер на время, на сей день.

Первый, воплощая в себе революционное Прометеево начало, является духовным наследником всей массы идей, двигающих человечество к совершенству, и эти идеи воплощены не только в разуме его, но и в чувствах, даже в области подсознательного. Он — живое, трепетное звено бесконечной цепи динамических идей, и при любом социальном строе он, всей совокупностью своих чувств и мнений, принужден на всю жизнь остаться неудовлетворенным, ибо знает и верит, что человечество имеет силу бесконечно создавать из хорошего — лучшее.

Он жарко любит вечно юную истину, но не настолько чувственно и физически, чтобы вбивать ее кулаком в сердце и головы людей, которые порабощены мертвой правдой прошлого или неизлечимо влюблены в отжившее. Вообще же люди для него — неисчерпаемая живая, нервная сила, вечно творящая новые ощущения, мысли, идеи, вещи, формы быта. Он хотел бы оживить, одухотворить весь мозг мира, сколько его имеется в черепах всех людей земли, но, преследуя эту его единственную и действительно революционную цель, он не способен прибегать к тем или иным приемам насилия над человеком иначе, как в случаях неустранимой необходимости и с чувством органического отвращения ко всякому акту насилия.

Он твердо знает, что, по верному слову одного из замечательных русских мыслителей, «ужас истории и величайшее ее несчастье заключается в том, что человек жестоко оскорблен», — оскорблен природой, которая, создав его, бросила в пустыню мира зверем среди зверей, предоставив ему для развития и совершенствования те же условия, как и всякому другому зверю; оскорблен богами, которых он, в страхе и радости пред силами природы, создал слишком поспешно, неумело и слишком «по образу и подобию своему»; бесконечно оскорблен хитрым или сильным ближним и — всего горше — самим собою, своими колебаниями между древним зверем и новым человеком.

Но у революционера вечного нет чувства личной обиды на людей, он всегда умеет встать выше личного и побороть в себе мелкое, злое желание мести людям за пытки и муки, нанесенные ему.

Его идеал — человек физически сильный, красивый зверь, но эта красота физическая — в полной гармонии с духовной мощью и красотой. Человеческое — это духовное, то, что создано разумом, из разума — наука, искусство и смутно ощущаемое все большим количеством людей сознание единства их целей, интересов. Вечный революционер стремится всеми силами духа своего углубить и расширить это сознание, чтобы оно охватило все человечество и, расширив и разрушив все, дробящее людей на

расы, нации и классы, создало в мире единую семью работников-хозяев, создающих все сокровища и радости жизни для себя.

Изменения социальных условий бытия к лучшему для вечного революционера — только ступень бесконечной лестницы, возводящей человечество на должную высоту, и он не забывает, что именно в этом — смысл исторического процесса, в котором он лично является одною из бесчисленных необходимостей.

Вечный революционер — это дрожжа, непрерывно раздражающая мозги и нервы человечества, это — или гений, который, разрушая истины, созданные до него, творит новые, или — скромный человек, спокойно уверенный в своей силе, сгорающий тихим, иногда почти невидимым огнем, освещая пути к будущему.

Революционер на время, для сего дня, — человек, с болезненной остротой чувствующий социальные обиды и оскорбления — страдания, наносимые людьми. Принимая в разум внушаемые временем революционные идеи, он, по всему строю чувствований своих, остается консерватором, являя собою печальное, часто трагикомическое зрелище существа, пришедшего в люди, как бы нарочно для того, чтобы исказить, опорочить, низвести до смешного, пошлого и нелепого культурное, гуманитарное, общечеловеческое содержание революционных идей.

Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбляли, даже за то, что некогда он сидел в тюрьме, был в ссылке, влачил тягостное существование эмигранта. Он весь насыщен, как губка, чувством мести и хочет заплатить сторицею обидевшим его. Идеи, принятые им только в разум, но не вросшие в душу его, находятся в прямом и непримиримом противоречии с его деяниями, его приемы борьбы с врагом те же самые, что применялись врагами к нему, иных приемов он не вмещает в себе.

Взбунтовавшийся на время раб карающего, мстительного бога, он не чувствует красоты бога милосердия, всепрощения и радости. Не ощущая своей органической связи с прошлым мира, он считает себя совершенно освобожденным, но внутренне скован тяжелым консерватизмом зоологических инстинктов, опутан густой сетью мелких, обидных впечатлений, подняться над которыми у него нет сил. Навыки его мысли понуждают его искать в жизни и в человеке прежде всего явления и черты отрицательные; в глубине души он исполнен презрения к человеку, ради которого однажды или стократно пострадал, но который сам слишком много страдает для того, чтобы заметить или оценить мучения другого. Стремясь изменить внешние

формы социального бытия, революционер сего дня не в состоянии наполнить новые формы новым содержанием и вносит в них те же чувства, против которых боролся. Если бы — чудом или насилием — ему удалось создать новый быт, он первый почувствовал бы себя чуждым и одиноким в атмосфере этого быта, ибо, в сущности своей, он не социалист, даже не пресоциалист, а — индивидуалист.

Он относится к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов, с тою, однако, разницей, что и бездарный ученый, мучая животных бесполезно, делает это ради интересов человека, тогда как революционер сего дня далеко не постоянно искренен в своих опытах над людьми.

Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен. Если же степень личного и социального самосознания человека возвышается до протеста против чисто внешней, формальной революционности, революционер сего дня, не стесняясь, угрожает протестантам карами, как это делали и делают многие представители очерченного типа.

Это — холодный фанатик, аскет, он оскопляет творческую силу революционной идеи, и, конечно, не он может быть назван творцом новой истории, не он будет ее идеальным героем.

Может быть, его заслуга в том, что, разбудив в человеческой массе древнего жестокого зверя, он этим приблизил смерть звериного начала?

Жестокость утомляет и может, наконец, внушить органическое отвращение к ней, а в этом отвращении — ее гибель.

Мы, кажется, начинаем воспитывать в себе именно физиологическое отвращение ко всему кровавому, жестокому, грязному — нужно, чтобы это отвращение росло, чтобы оно стало идиосинкразией большинства.

XXI

Новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души.

Разумеется, — в два месяца не переродишься, однако чем скорее мы позаботимся очистить себя от пыли и грязи прошлого, тем крепче будет наше духовное здоровье, тем продуктивнее работа по созданию новых форм социального бытия.

Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает рядом с хорошими чувствами

весьма темные инстинкты. Это — естественно, но это не может не грозить некоторым искривлением психики, искусственным развитием ее в одну сторону. Политика — почва, на которой быстро и обильно разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважения к личности, — перечислите все дурное, что есть в человеке, — все это особенно ярко и богато разрастается именно на почве политической борьбы.

Для того, чтобы не быть задушенным чувствами одного порядка, следует не забывать о чувстве порядка иного.

Вражда между людьми не есть явление нормальное — лучшие наши чувства, величайшие наши идеи направлены именно к уничтожению в мире социальной вражды. Эти лучшие чувства и мысли я бы назвал «социальным идеализмом», — именно его сила позволит нам преодолевать мерзости жизни и неустанно, упрямо стремиться к справедливости, красоте жизни, к свободе. На этом пути мы создали героев, великомучеников ради свободы, красивейших людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано этим стремлением. Наиболее успешно и могуче будит в нашей душе ее добрые начала сила искусства. Как наука является разумом мира, так искусство — сердце его. Политика и религия разъединяют людей на отдельные группы, искусство, открывая в человеке общечеловеческое, соединяет нас. Ничто не выпрямляет душу человека так мягко и быстро, как влияние искусства, науки.

Право пролетариата на вражду с другими классами всесторонне и глубоко обосновано. Но в то же время именно пролетариат вносит в жизнь великую и благостную идею новой культуры — идею всемирного братства. А потому именно пролетариат первый должен отбросить, как негодное для него, старые навыки отношения к человеку, именно он должен особенно настойчиво стремиться к расширению и углублению души — вместилища впечатлений бытия. Для пролетария дары искусства и науки должны иметь высшую ценность, для него это — не праздная забава, а пути углубления в тайны жизни. Мне странно видеть, что пролетариат в лице своего мыслящего и действующего органа — Совета рабочих и солдатских депутатов относится так равнодушно и безразлично к отсылке на фронт, на бойню солдат — музыкантов, художников, артистов драмы и других нужных его душе людей. Ведь посылая на убой свои

таланты, страна истощает сердце свое, народ отрывает от плоти своей лучшие куски. И — для чего? Быть может, только для того, чтоб русский талантливый человек убил талантливого художника-немца.

Подумайте, какая это нелепость, какая страшная насмешка над народом! Подумайте и над тем, какую массу энергии затрачивает народ для того, чтобы создать талантливого выразителя своих чувств, мыслей своей души.

Неужели эта проклятая бойня должна превратить и людей искусства, дорогих нам, в убийц и трупы?

XXII

В первые же дни революции какие-то бесстыдники выбросили на улицу кучи грязных брошюр, отвратительных рассказов на темы «из придворной жизни». В этих брошюрах речь идет о «самодержавной Алисе», о «Распутном Гришке», о Вырубовой[45] и других фигурах мрачного прошлого.

Я не стану излагать содержания этих брошюр — оно невероятно грязно, глупо и распутно. Но этой ядовитой грязью питается юношество, брошюрки имеют хороший сбыт и на Невском и на окраинах города. С этой отравой нужно бороться, я не знаю — как именно, но — нужно бороться, тем более что рядом с этой пакостной «литературой» болезненных и садических измышлений, на книжном рынке слишком мало изданий, требуемых моментом.

Грязная «литература» особенно вредна, особенно прилипчива именно теперь, когда в людях возбуждены все темные инстинкты и еще не изжиты чувства негодования, обиды, — чувства, возбуждающие месть. Нам следует помнить, что мы переживаем не только экономическую разруху, но и социальное разложение, всегда и неизбежно возникающее на почве экономического развала.

Бесспорно, часть вины за то, что мы бессильны и бездарны, мы имеем право возложить на те силы, которые всегда стремились держать нас далеко в стороне от живого дела общественного строительства. Бесспорно, что Русь воспитывали и воспитывают педагоги, политически еще более бездарные, чем наш рядовой обыватель. Неоспоримо, что всякая наша попытка к самодеятельности встречала уродливое сопротивление власти, болезненно самолюбивой и занятой исключительно охраной своего положения в стране. Все это — бесспорно, однако следует, не боясь правды, сказать, что и нас похвалить не за что. Где, когда

и в чем за последние годы неистовых издевательств над русским обществом в его целом, — над его разумом, волей, совестью, — в чем и как обнаружило общество свое сопротивление злым и темным силам жизни? Как сказалось его гражданское самосознание, хулигански отрицаемое всеми, кому была дана власть на это отрицание? И в чем, кроме красноречия да эпиграмм, выразилось наше оскорбленное чувство собственного достоинства?

Нет, надо знать правду: мы сами расшатаны морально не менее, чем силы, враждебные нам.

Мы живем во дни грозных событий, глубина которых, очевидно, не может быть правильно понята нами, и трагизм дней — не чувствуется: менее всего в эту пору следовало бы обращать внимание на авантюры уголовного характера, как бы они ни были внешне занятны. Очень вероятно, что нам следует быть готовыми принять и еще не одну такую же авантюру, но нельзя забывать, что не столько важен факт преступления сам по себе, как важна его воспитательная, социально-педагогическая сила.

История воспитывает людей духовно здоровых и уничтожает больных. Скандал может развратить первых и еще более искажает миропонимание вторых. Людей духовно нездоровых среди нас слишком много — события угрожают еще увеличить количество таковых. Нож, револьвер и все прочее этого порядка — только бутафория из мелодрамы, не этим творится нормальная жизнь, и пора понять, что между историей и скандалом, — как бы он ни был громок, — нет ничего общего.

Самые страшные люди — это люди, которые не знают, чего они хотят, а потому необходимо употребить всю нашу волю на дело выработки вполне ясных желаний. Мы стоим пред необходимостью совершить некий исторический подвиг, а всякий подвиг требует концентрации воли.

Можно ли увлекаться грязными бульварными романами, когда вокруг нас во всем мире грозно совершается трагедия! Все мощные силы мировой истории ныне приведены в движение, все человекозвери сорвались с цепей культуры, разорвали ее тонкие ризы и пакостно обнажились, — это явление, равное катастрофе, сотрясает устои социальных отношений до основания. И нужно призвать к действительной жизни весь лучший разум, всю волю, для того чтобы исправить последствия нашей трагической небрежности в отношении к самим себе — небрежности, которая создала страшную ошибку.

Человечество века работало над созданием сносных условий бытия не для того, чтоб в XX веке нашей эры разрушить созданное.

Мы должны извлечь из безумных событий разумные уроки, памятуя, что все, что называется Роком, Судьбою, есть не что иное, как результат нашего недомыслия, нашего недоверия к себе самим: мы должны знать, что все, творимое на земле, творится единственным Хозяином и Работником ее — Человеком.

XXIII

Не дождавшись решения Совета солдатских депутатов по вопросу об отправке на фронт артистов, художников, музыкантов, Батальонный комитет Измайловского полка отправляет в окопы 43 человека артистов, среди которых есть чрезвычайно талантливые, культурно ценные люди.

Все эти люди не знают воинской службы, не обучались строевому делу. Они не умеют стрелять — только сегодня впервые их ведут на стрельбище, а в среду они должны уже уехать. Таким образом, эти ценные люди пойдут на бойню, не умея защищаться.

Я не знаю, из кого состоит Батальонный комитет Измайловского полка, но я уверен, что эти люди «не ведают, что творят».

Потому что посылать на войну талантливых художников — такая же расточительность и глупость, как золотые подковы для ломовой лошади. А посылать их, не обучив воинскому делу, это уж — смертный приговор невинным людям. За такое отношение к человеку мы проклинаем царскую власть, именно за это мы ее свергли.

Демагоги и лакеи толпы, наверное, закричат мне:

— А равенство?

Конечно, я помню об этом. Я тоже немало затратил сил на доказательство необходимости для людей политического и экономического равенства, я знаю, что только при наличии этих равенств человек получит возможность быть честнее, добрее, человечнее. Революция сделана для того, чтобы человеку лучше жилось и чтоб сам он стал лучше.

Но я должен сказать, что для меня писатель Лев Толстой или музыкант Сергей Рахманинов, а равно и каждый талантливый человек, не равен Батальонному комитету измайловцев.

Если Толстой сам почувствовал бы желание всадить пулю в лоб человеку или штык в живот ему, — тогда, разумеется, дьявол будет хохотать, идиоты возликуют вместе с дьяволом, а люди, для которых талант — чудеснейший дар природы, основа культуры и гордость страны, — эти люди еще раз заплачут кровью.

Нет, я всей душой протестую против того, чтоб из талантливых людей делали скверных солдат.

Обращаясь к Совету солдатских депутатов, я спрашиваю его: считает ли он правильным постановление Батальонного комитета Измайловского полка? Согласен ли он с тем, что Россия должна бросать в ненасытную пасть войны лучшие куски своего сердца — своих художников, своих талантливых людей?

И — с чем мы будем жить, израсходовав свой лучший мозг?

XXIV

На словах — все согласны, что российское государство трещит по всем швам и разваливается, как старая баржа в половодье.

Никто как будто не спорит против необходимости культурного строительства. И, вероятно, никто не станет возражать против того, что для всех нас обязательно крайне осторожное отношение к человеку, очень внимательное к факту. Мы никогда еще не нуждались столь жестоко в точных и мужественно-правдивых оценках явлений жизни, возмущенной до последней глубины, — явлениях, которые грозят всем нам в стране нашей бесконечной китайской разрухой.

Но никогда еще наши оценки, умозаключения, прожекты не отличались столь печальной поспешностью, как в эти трагические дни.

Я, конечно, вполне согласен с ироническими словами Вл. Каренина, автора превосходнейшей книги о Жорж Занд[46]: «Политики — консерваторы или либералы — люди, убежденные в своем знании истины и в праве преследования других за заблуждения…»; я прибавил бы только — в интересах справедливости — к либералам и консерваторам радикалов-революционеров и прозелитов социализма.

«Борьба за власть» — неизбежна, однако над чем же будут «властвовать» победители, когда вокруг них останутся только гнилушки и головни?

Увлечение политикой как бы совершенно исключает здравый интерес к делу культуры — едва ли это полезно для больной страны и ее жителей, в головах большинства которых «черт палкой помешал». Я позволю себе указать на такой факт: «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук»[47] вызывает в демократических массах чрезвычайно внимательное отношение к ее задачам.

Вот, напр., «обозные солдаты» Нижегородского драгунского

полка, посылая свою лепту в фонд «Научного института», пишут, что «Ассоциация — великое национальное дело». Союз служащих Полтавы называет Институт «всенародным делом» и т. д. Можно привести десятки отзывов солдат, рабочих, крестьян, и все эти отзывы свидетельствуют о жажде просвещения, о глубоком понимании немедленности культурного строительства.

Иначе относится к этому делу столичная пресса: когда Ассоциация послала воззвания о целях и нуждах своих в главнейшие газеты Петрограда, — ни одна из этих газет, кроме «Новой жизни», не напечатала воззвания. Организуется «Дом-музей памяти борцов за свободу»[48], нечто подобное институту социальных наук и гражданского воспитания, — только одна «Речь» посвятила этому делу несколько сочувственных строк.

Устраивается «Лига социального воспитания»[49], в задачи ее входит и забота о дошкольном воспитании детей улицы, — и это лучший способ борьбы с хулиганством, это даст возможность посеять в душе ребенка зерна гражданственности.

«Свободное слово» столичной прессы молчит по этому поводу. Молчит оно и о «Внепартийном Союзе молодежи», объединяющем уже тысячи подростков и юношей, в возрасте от 13 до 20 лет. В провинции развивается культурное строительство, — не преувеличивая, можно сказать, что в десятках сел и уездных городов организуются «Народные дома»[50], наблюдается живейшее стремление к науке, знанию.

Столичная печать молчит об этом спасительном явлении, она занимается тем, что с какой-то странной, бесстрастной яростью пугает обывателя анархией — и тем усиливает ее.

Газеты Петрограда вызывают впечатление бестолкового «страшного суда», в котором все участвующие — судьи и, в то же время, все они — беспощадно обвиняемые.

Если верить влиятельным газетам нашим, то необходимо признать, что на «святой Руси» совершенно нет честных и умных людей. Если согласиться с показаниями журналистов, то революция — величайшее несчастие наше, она и развратила всех нас, и свела с ума. Это было бы страшно, если б не было глупо, не вызывалось «запальчивостью и раздражением». Говорят: на улице установилось отвратительно грубое отношение к человеку. Нет, это неверно!

На ночных митингах улицы пламенно обсуждаются самые острые вопросы момента, но почти не слышно личных оскорблений, резких слов, ругательств.

В газетах — хуже.

«Подлецы», — пишет «Биржевка» по адресу каких-то людей, несогласных с нею. Слова «вор», «мошенник», «дурак» стали

вполне цензурными словами; слово «предатель» раздается столь же часто, как в трактирах старого времени раздавался возглас «человек!»

Эта разнузданность, это языкоблудие внушает грустное и тревожное сомнение в искренности газетных воплей о гибели культуры, о необходимости спасать ее. Это не крики сердца, а возгласы тактики. Но, между тем, культура действительно в опасности, и эту опасность надо искренно почувствовать, с нею необходимо мужественно бороться.

Способны ли мы на это?

Кстати: вот одна из иллюстраций отношения прессы к фактам. В один и тот же день в двух газетах рассказали.

Одна:

«В воскресенье вечером на Богословском кладбище казачий хорунжий Федоров шашкой изрубил на могиле анархиста Ленина футляр с венком и несколько знамен. Находившиеся на кладбище милиционеры 3-го Выборгского подрайона задержали хорунжего и препроводили в комиссариат, где и был составлен протокол о нарушении Федоровым порядка в общественном месте. Спустя час в комиссариат явилась группа анархистов в количестве человек 15, которая и предъявила требование выдать им задержанного. Комиссар отказал анархистам в выдаче и препроводил Федорова к военному коменданту Полюстровского подрайона, откуда под охраной казачьего разъезда хорунжий был доставлен домой».

Другая:

«Как сообщают, при похоронах убитого на даче Дурново «анархиста» Ленина произошел инцидент, едва не разрешившийся кровавым столкновением.

Анархисты почему-то выбрали местом погребения Ленина православное Богословское кладбище и водрузили на могиле крест.

Находившиеся случайно на кладбище казаки заявили протест против похорон Ленина на Богословском кладбище, а затем сняли с могилы крест.

Анархисты намеревались было защищать могилу, но казаки, обнажив шашки, остановили их».

Это — разные факты?

Нет, это только различное освещение одного и того же факта.

Если вторую заметку прочитает человек, привыкший думать,

он, конечно, усомнится кое в чем — напр., в водружении анархистами креста. Верующего человека оскорбит факт снятия креста с могилы. Обыватель еще раз вздрогнет, читая про «обнаженные шашки».

А сопоставляя заметки, естественно спросить: где же здесь правда?

И еще более естественно усомниться в педагогическом значении «свободного слова» — «чуда средь Божьих чудес».

А не захлебнемся ли мы в грязи, которую так усердно разводим?

XXV

Да, мы переживаем тревожное, опасное время, — об этом с мрачной убедительностью говорят погромы в Самаре, в Минске, Юрьеве, дикие выходки солдат на станциях железных дорог и целый ряд других фактов распущенности, обалдения, хамства.

Конечно, не следует забывать, что крики «Отечество в опасности!» могут быть вызваны не только чувством искренней тревоги, но и внушениями партийной тактики.

Однако было бы ошибочно думать, что анархию создает политическая свобода, — нет, на мой взгляд, свобода только превратила внутреннюю болезнь — болезнь духа — в накожную. Анархия привита нам монархическим строем, это от него унаследовали мы заразу.

И не надо забывать, что погромы в Юрьеве, Минске, Самаре, при всем их безобразии, не сопровождались убийствами, тогда как погромы царских времен, вплоть до «немецкого» погрома в Москве, были зверски кровавыми. Вспомните Кишинев, Одессу, Киев, Белосток, Баку, Тифлис и бесчисленное количество отвратительных убийств в десятках мелких городов.

Я никого не утешаю, а всего менее — самого себя, но я все-таки не могу не обратить внимания читателя на то, что хоть в малой степени смягчает подлые и грязные преступления людей.

Не забудем также, что те люди, которые всех громче кричат: «Отечество в опасности!» — имели все основания крикнуть эти тревожные слова еще три года тому назад — в июле 914-го года.

По соображениям партийной и классовой эгоистической тактики они этого не сделали, и на протяжении трех лет русский народ был свидетелем гнуснейшей анархии, развиваемой сверху.

Нисходя еще глубже в прошлое, мы встречаем у руля русской государственности и Столыпина, несомненного анархиста, — его поддерживали аплодисментами как раз те самые благомыслящие

республиканцы, которые ныне громко вопят об анархии и необходимости борьбы с нею.

Конечно, «кто ничего не делает — не ошибается», но у нас ужасно много людей, которые что ни сделают — ошибаются.

Да, да, — с анархией всегда надобно бороться, но иногда надо уметь побеждать и свой собственный страх пред народом.

Отечество чувствовало бы себя в меньшей опасности, если б в отечестве было больше культуры.

К сожалению, по вопросу о необходимости культуры и о типе ее, потребном для нас, мы, кажется, все еще не договорились до определенных решений, — по крайней мере в начале войны, когда московские философы остроумно и вполне искренно сравнивали Канта с Круппом, — эти решения были неясны для нас.

Можно думать, что проповедь «самобытной» культуры именно потому возникает у нас обязательно в эпохи наиболее крутой реакции, что мы — люди, издревле приученные думать и действовать «по линии наименьшего сопротивления».

Как бы там ни было, но всего меньше мы заботились именно о развитии культуры европейской — опытной науки, свободного искусства, технически мощной промышленности. И вполне естественно, что нашей народной массе не понятно значение этих трех оснований культуры.

Одной из первых задач момента должно бы явиться возбуждение в народе — рядом с возбужденными в нем эмоциями политическими — эмоций этических и эстетических. Наши художники должны бы немедля вторгнуться всею силой своих талантов в хаос настроений улицы, и я уверен, что победоносное вторжение красоты в душу несколько ошалевшего россиянина умиротворило бы его тревоги, усмирило буйство некоторых не очень похвальных чувств — вроде, например, жадности — и вообще помогло бы ему сделаться человечнее.

Но — ему дали множество — извините! — плохих газет по весьма дорогой цене и — больше ничего, пока.

Науки — и гуманитарные, и положительные — могли бы сыграть великую роль в деле облагорожения инстинктов, но участие людей науки в жизни данного момента заметно еще менее, чем прежде.

Я не знаю в популярной литературе ни одной толково и убедительно написанной книжки, которая рассказала бы, как велика положительная роль промышленности в процессе развития культуры. А такая книжка для русского народа давно необходима.

Можно и еще много сказать на тему о необходимости

немедленной и упорной культурной работы в нашей стране.

Мне кажется, что возглас «Отечество в опасности!» не так страшен, как возглас: «Граждане! Культура в опасности!»

— Анархия, анархия! — кричат «здравомыслящие» люди, усиливая и распространяя панику в те дни, когда всем маломальски трудоспособным людям необходимо взяться за черную, будничную работу строительства новой жизни, когда для каждого обязательно встать на защиту великих ценностей старой культуры.

«Анархия!» И снова, как после 5-го года, на русскую демократию, на весь русский народ изливаются потоки чернильного гнева, трусливой злости, бьют гейзеры грязных обвинений.

Неловко и не хочется говорить о себе, но — когда, года полтора тому назад, я напечатал «Две души»[51], — статью, в которой говорил, что русский народ органически склонен к анархизму; что он пассивен, но — жесток, когда в его руки попадает власть; что прославленная доброта его души — карамазовский сентиментализм, что он ужасающе невосприимчив к внушениям гуманизма и культуры, — за эти мысли — не новые, не мои, а только резко выраженные мною, — за эти мысли меня обвинили во всех прегрешениях против народа.

Даже недавно, совсем на днях, кто-то в «Речи» — газете прежде всего грамотной — заявил, что мое «пораженчество» как нельзя лучше объясняется моим отношением к народу.

Кстати, — в «пораженчестве» я совершенно неповинен и никогда оному не сочувствовал. Порицать кулачную расправу, дуэль, войну как мерзости, позорнейшие для всех людей, как действия, неспособные разрешить спор и углубляющие вражду, — порицать все это еще не значит быть «пораженцем» и «непротивленцем». Особенно несвойственно это мне — человеку, который проповедует активное отношение к жизни. Может быть, я — в некоторых случаях — не стану защищать себя, но на защиту любимого мною у меня хватит сил.

И сейчас я вспомнил об отношении к мыслям, изложенным мною в статье «Две души», вовсе не в целях самозащиты, самооправдания. Я понимаю, что в злой словесной драке, которую мы для приличия именуем «полемикой», драчунам нет дела до правды, они взаимно ищут друг у друга словесных ошибок, обмолвок, слабых мест и бьют друг друга, не столько для

доказательства истинности верований своих, сколько для публичной демонстрации своей ловкости.

Нет, я вспомнил о «Двух душах» для того, чтоб спросить бумажных врагов моих: когда они были более искренни, — когда ругали меня за мое нелестное мнение о русском народе или теперь, когда они ругают русский народ моими же словами?

Я никогда не был демагогом и не буду таковым. Порицая наш народ за его склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за всяческую его дикость и невежество, я помню: иным он не мог быть. Условия, среди которых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав гражданина, ни чувства справедливости — это были условия полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшей лжи и зверской жестокости. И надо удивляться, что при всех этих условиях народ все-таки сохранил в себе немало человеческих чувств и некоторое количество здорового разума.

Вы жалуетесь: народ разрушает промышленность!

А кто же и когда внушал ему, что промышленность есть основа культуры, фундамент социального и государственного благополучия?

В его глазах промышленность — хитрый механизм, ловко приспособленный для того, чтоб сдирать с потребителя семь шкур. Он не прав?

Но ведь три, пять месяцев тому назад вы же сами изо дня в день, во всех газетах и журналах разоблачали пред ним бесстыдный и фантастический рост доходов русской промышленности, и взгляд народа — это ваш взгляд.

Разумеется, вы должны были «разоблачать» — таков долг каждого глашатая истины, мужественного защитника справедливости. Но — полемика обязывает к односторонности, поэтому, говоря о грабеже, забывали о культурной, о творческой роли промышленности, о ее государственном значении.

Источник наживы для одних, промышленность для других только источник физического и духовного угнетения — вот взгляд, принятый у нас без оговорок огромным большинством даже и грамотных людей. Этот взгляд сложился давно и крепко, — вспомните, как была принята в России книга Г. В. Плеханова «Наши разногласия» и какую бурю поднял «Иоанн Креститель всех наших возрождений» П. Б. Струве[52] «Критическими заметками».

Кричать об анархии так же бесполезно, как бесполезно и постыдно кричать «Пожар!», видя, что огонь истребляет дом, но не принимая никакого, — кроме словесного, — участия в борьбе с огнем.

Полемика — премилое занятие для любителей схоластических упражнений в словесности и для тех людей, которые долгом своим почитают всегда и во всем доказывать свою правоту, точность мысли своей и прочие превосходные качества, коих эти люди являются беспомощными обладателями.

Но — будет значительно полезнее, если мы — предоставив суд над нами истории — немедля же начнем культурную работу, в самом широком смысле слова, если мы отдадим таланты, умы и сердца наши российскому народу для воодушевления его к разумному творчеству новых форм жизни.

XXVI

Весьма вероятно, что мои мысли «наивны», я уже говорил, что считаю себя плохим публицистом, но все-таки с упрямством, достойным, быть может, лучшего применения, «я буду продолжать свою линию», не смущаясь тем, что «глас» мой остается «гласом вопиющего в пустыне», увы! — не безлюдной.

С книжного рынка почти совершенно исчезла хорошая, честная книга — лучшее орудие просвещения. Почему исчезла — об этом в другой раз. Нет толковой, объективно-поучающей книги, и расплодилось множество газет, которые изо дня в день поучают людей вражде и ненависти друг к другу, клевещут, возятся в подлейшей грязи, ревут и скрежещут зубами, якобы работая над решением вопроса о том — кто виноват в разрухе России?

Разумеется, каждый из спорщиков искреннейше убежден, что виноваты все его противники, а прав только он, им поймана, в его руках трепещет та чудесная птица, которую зовут истиной.

Сцепившись друг с другом, газеты катаются по улицам клубком ядовитых змей, отравляя и пугая обывателя злобным шипением своим, обучая его «свободе слова» — точнее говоря, свободе искажения правды, свободе клеветы.

«Свободное слово» постепенно становится неприличным словом. Конечно — «в борьбе каждый имеет право бить чем попало и куда попало»; конечно, «политика — дело бесстыдное» и «наилучший политик — наиболее бессовестный человек», — но, признавая гнусную правду этой зулусской морали, какую все-таки чувствуешь тоску, как мучительна тревога за молодую Русь, только что причастившуюся даров свободы!

Какая отрава течет и брызжет со страниц той скверной бумаги, на которой печатают газеты!

Долго молился русский человек Богу своему: «Отверзи уста

моя!» Отверзлись уста и безудержно изрыгают глаголы ненависти, лжи, лицемерия, глаголы зависти и жадности. Хоть бы страсть кипела в этом — страсть и любовь! Но — не чувствуется ни любви, ни страсти. Чувствуется только одно — упорное и — надо сказать — успешное стремление цензовых классов изолировать демократию, свалить на ее голову все ошибки прошлого, все грехи, поставить ее в условия, которые неизбежно заставили бы демократию еще более увеличить ошибки и грехи.

Это ловко задумано и неплохо выполняется. Уже вполне ясно, что когда пишут «большевик», то подразумевают — «демократ», и не менее ясно то, если сегодня травят большевиков за их теоретический максимализм, завтра будут травить меньшевиков, потому что они социалисты, а послезавтра начнут грызть «Единство»[53] за то, что оно все-таки недостаточно «лояльно» относится к священным интересам «здравомыслящих людей». Демократия не является святыней неприкосновенной, — право критики, право порицания должно быть распространяемо и на нее, это — вне спора. Но, хотя критика и клевета начинаются с одной буквы, — между этими двумя понятиями есть существенное различие, — как странно, что это различие для многих грамотных людей совершенно неуловимо! О, конечно, некоторые вожди демократии «бухают в колокол, не посмотрев в святцы», но не забудем, что вожди цензовых классов отвечают на эти ошибки пагубной для страны «итальянской» забастовкой бездействия и запугиванием обывателя — запугиванием, которое уже дает такие результаты, как, например, следующее «Письмо к Временному правительству», полученное мною:

«Революция погубила Россию, потому что всем волю дали; у нас везде анархия. Радуются евреи, которые получили равноправие; они погубили и погубят русский народ. Надо для спасения страны самодержавие».

Не первое письмо такого тона получаю я, и надо ожидать, что количество людей, обезумевших со страха, будет расти все быстрей, — пресса усердно заботится об этом.

Но именно теперь, в эти трагически запутанные дни, ей следовало бы помнить о том, как слабо развито в русском народе чувство личной ответственности и как привыкли мы карать за свои грехи наших соседей.

Свободное слово! Казалось, что именно оно-то и послужит развитию у нас, на Руси, чувства уважения к личности ближнего, к его человеческим правам. Но, переживая эпидемию политического импрессионизма, подчиняясь впечатлениям «злобы дня», мы употребляем «свободное слово» только в бешеном споре на тему о том, кто виноват в разрухе России. А тут

и спора нет, ибо — все виноваты.

И все — более или менее лицемерно — обвиняют друг друга, и никто ничего не делает, чтоб противопоставить буре эмоций силу разума, силу доброй воли.

XXVII

«Довлеет дневи злоба его»[54], — это естественно, это законно; однако у текущего дня две злобы: борьба партий за власть и культурное строительство. Я знаю, что политическая борьба — необходимое дело, но принимаю это дело как неизбежное зло. Ибо не могу не видеть, что в условиях данного момента и при наличии некоторых особенностей русской психики, — политическая борьба делает строительство культуры почти совершенно невозможным.

Задача культуры — развитие и укрепление в человеке социальной совести, социальной морали, разработка и организация всех способностей, всех талантов личности, — выполнима ли эта задача во дни всеобщего озверения?

Подумайте, что творится вокруг нас: каждая газета, имея свой район влияния, ежедневно вводит в души читателей самые позорные чувства — злость, ложь, лицемерие, цинизм и все прочее этого порядка.

У одних возбуждают страх пред человеком и ненависть к нему, у других — презрение и месть, утомляя третьих однообразием клеветы, заражая их равнодушием отчаяния. Эта деятельность людей, которые заболели воспалением темных инстинктов, не только не имеет ничего общего с проповедью культуры, но резко враждебна ее целям.

А ведь революция совершена в интересах культуры и вызвал ее к жизни именно рост культурных сил, культурных запросов.

Русский человек, видя свой старый быт до основания потрясенным войною и революцией, орет на все голоса о культурной помощи ему, орет, обращаясь именно «в газету» и требуя от нее решений по самым разнообразным вопросам.

Вот, например, группа солдат «Кавказской армии» пишет:

«Учащаются случаи зверской расправы солдат с изменившими им женами. Хлопочите, пожалуйста, чтоб сознательные люди и социальная печать выступили на борьбу с эпидемическим явлением и разъяснили, что бабы не виноваты. Мы, пишущие, знаем, кто виноват, и женщин не обвиняем, потому что всякий человек обязан своей природе и хочет предназначенного природой ему».

Вот еще сообщение на эту тему:

«Пишу в поезде, выслушав рассказ солдата, который со злобными слезами поведал, что он дезертир с фронта и убежал для устройства двух детишек, брошенных стервой женой. Клянется, что расправится с ней. Из-за женщин дезертиров сотни и тысячи. Как тут быть?

В Ростове-на-Дону солдаты водили по улицам голую распутницу с распущенными волосами, с выкриками о ее похабстве и били за ней по разбитому ведру. Организаторы безобразия — муж ее и ее же любовник, фельдфебель. Позвольте заметить, что страх перед позором не укротит инстинкта, а, между тем, эти гадости лицезреют дети. Что же молчит пресса?»

А вот письмо, переносящее «женский вопрос» уже в другую плоскость:

«Прошу сообщить заказным письмом или подробно в газете, как надо понимать объявленное равноправие с нами для женщин и что она теперь будет делать.

Нижеподписанные крестьяне встревожены законом, от которого может усилиться беззаконие, а теперь деревня держится бабой. Семья отменяется из-за этого, и пойдет разрушение хозяйства».

Далее: «Объявляю тебе, друг людей, что по деревням происходит чепуха, потому что солдаткам наделяют землю, что похуже и негодно, и они ревмя ревут. Воротятся с войны мужья их, так из этого будет драка, сделайте одолжение. Надобно разъяснить мужикам, чтобы делали по правде».

И снова: «Пришлите книжку о правах женских».

Не все письма на эту тему использованы мною. Но есть тема, еще более часто повторяемая в письмах, — это требование книг по разным вопросам.

Пишут об отношении к попам, спрашивают, «будут ли изменены переселенческие законы», просят рассказать «об американском государстве», о том, как надо лечить сифилис и нет ли закона «о свозке увечных в одно место», присылают «прошения» о том, чтобы солдатам в окопы отправлять лук, — он «очень хорош против цинги».

Все эти «прошения», «сообщения», «запросы» не находят места на страницах газет, занятых желчной и злобной грызней. Руководители газет как будто забывают, что за кругом их влияния остаются десятки миллионов людей, у которых инстинкт борьбы за власть еще дремлет, но уже проснулось стремление к строительству новых форм быта.

И, видя, каким целям служит «свободное слово», эти миллионы легко могут почувствовать пагубное презрение к нему,

а это будет ошибка роковая и надолго не поправимая.

Нельзя ли уделять поменьше места языкоблудию и побольше живым интересам демократии? Не заинтересованы ли все мы в том, чтоб люди почувствовали объективную ценность культуры и обаятельную прелесть ее?

XXVIII

Некий почтенный гражданин пишет мне:

«Ужас охватывает душу, когда слышишь на уличных митингах, как солдаты, ревностно защищая крайние лозунги ленинцев, в то же время легко поддаются погромной агитации людей, которые нашептывают им о засилии евреев в Совете рабочих и солдатских депутатов. Однажды я спросил солдата: как совмещается в его уме “социальная революция” с враждебным отношением к национальностям? Он ответил:

— Мы народ необразованный, не наше солдатское дело разбираться в таких мудреных вопросах».

Другая корреспондентка сообщает:

«Когда я сказала кондуктору трамвая, что социалисты борются за равенство всех народов, он возразил:

— Плевать нам на социалистов, социализм — это господская выдумка, а мы, рабочие, — большевики».

У цирка «Модерн» группа солдат и рабочих ведет беседу с молоденьким нервным студентом.

— Если мы будем только спорить друг с другом вот так враждебно, как вы спорите, а учиться не станем, — кричит студент, надрываясь.

— Чему учиться? — сурово спрашивает солдат. — Чему ты меня можешь научить? Знаем мы вас — студенты всегда бунтовали. Теперь — наше время, а вас пора долой всех, буржуазию!

Часть публики смеется, но какой-то щеголь, похожий на парикмахера, горячо говорит:

— Это верно, товарищи! Довольно командовала нами интеллигенция. Теперь, при свободе прав, мы и без нее обойдемся.

Великие и грозные опасности скрыты в этом возбужденном невежестве!

Не однажды приходилось мне на ночных митингах Петроградской стороны слышать и противопоставления большевизма социализму, и нападки на интеллигенцию, и много других столь же нелепых и вредных мнений. Это — в центре

революции, где идеи заостряются до последней возможности, откуда они текут по всей темной, малограмотной стране.

Развивается ли в стране процесс единения разумных революционных сил, растет ли в ней энергия, необходимая строительству культуры?

Есть признаки, как будто подсказывающие отрицательный ответ.

Один из этих признаков — все более заметное уклонение интеллигенции от работы в массах и возникающие среди нее — то тут, то там — попытки создать самостоятельные, чисто интеллигентские организации.

Очевидно, что есть причины, которые отталкивают интеллигента от массы, и очень вероятно, что одной из этих причин является то скептическое, а часто и враждебное отношение темных людей к интеллигенту, которое изо дня в день внушается массе различными демагогами.

Этот раскол может быть очень полезен трудовой интеллигенции — она объединится в организацию весьма внушительную и способную совершить много культурной работы.

Но, отходя постепенно от массы, увлекаясь собственными интересами, задачами и настроениями, она еще более углубит и расширит разрыв между инстинктом и интеллектом, а этот разрыв — наше несчастие, в нем источник нашей неработоспособности, наших неудач в творчестве новых условий жизни.

Оставаясь без руководителей, в атмосфере буйной демагогии, масса еще более нелепо начнет искать различия между рабочими и социализмом и общности между «буржуазией» и трудовой интеллигенцией.

А среди последней раздаются призывы, диктуемые, несомненно, благими намерениями и порывами, но отводящие интеллектуальную энергию в сторону от интересов массы, от запросов текущего дня.

В «Известиях Юга», органе Харьковского и областного комитетов Советов рабочих и солдатских депутатов, некто Иван Станков пишет:

«Есть огромной важности задание всего социализма: это — поднятие уровня культуры, сознание личности, повышение личности и повышение всенародной интеллигентности. Есть лозунг: широко и сразу открыть двери Солнца, Красоты и Знания для всего народа, дабы не было неинтеллигентных, дабы наше деление на интеллигентных и неинтеллигентных возможно скорее стало диким пережитком старого строя, старых школ и систем.

Пропаганда и ближайшее осуществление идеи «всенародной интеллигентности» и есть, по моему убеждению, одна из тех неразрывных, неотложных и важнейших задач социализма, которую честная объединенная интеллигенция, сознавая это как долг перед народом, обязана поставить исходным основанием своих домоганий и провести их в строительстве новом, наряду и совместно с общей платформой социалистических требований всех партий. Только интеллигентность, очищенная от язв буржуазного строя, станет солнечной народной правдой. Станет солнцем Разума и Красоты».

Слова хорошие. Еще лучше написано воззвание Исполнительного комитета Харьковского Совета депутатов трудовой интеллигенции[55].

«К вам, интеллигентные труженики Харьковской губернии, обращается настоящий призыв!

По злой иронии судьбы, российская интеллигенция, усеявшая костьми своих мучеников крестный путь народного освобождения и на всем протяжении своей истории выполнявшая великую просветительную и организационную работу, оказалась в настоящий момент, когда организовано все, неорганизованной сама. Организуя других, интеллигенция, как класс, забыла или не успела организовать себя. При ее непосредственном участии организовались рабочие, солдаты и крестьянство, справа от нее усиленно организуется буржуазия, и лишь она одна, трудовая интеллигенция, богатая знанием, опытом и общественными навыками, остается необъединенной и рассыпанной в пыль.

Класс, лучше всех вооруженный для общественной работы и борьбы, класс активных традиций и светлых социальных идеалов вынужден плестись в самом хвосте событий, бессильный их направлять.

Не место выяснять причины, но несомненный факт, что класс интеллигентного труда, как класс в его целом, в настоящий момент не входит и не может войти ни в одну из существующих общественных группировок.

Отсюда необходимость его самостоятельного строительства.

Но все данные для такого строительства налицо. Великий экономический признак, признак наемного труда, признак возмездного отчуждения своей интеллигентской работы капиталу во всех его разновидностях — вот та база, на которой зиждется класс трудовой интеллигенции в огромном его большинстве, вот та железная цепь, которая призвана сковать его в одно неразрывное целое. В этом смысле трудовая интеллигенция есть один из отрядов великого класса современного пролетариата, один из членов великой рабочей семьи.

Но определив трудовую интеллигенцию как отряд рабочего класса, мы тем самым определили и ее социальную сущность.

Класс трудовой интеллигенции, сознавший самого себя, может быть только социалистическим.

Великая российская революция не закончилась, она продолжается. Огромные общественные задачи — завершение войны, государственное устроение, решение земельной проблемы и организация народного хозяйства, переживающего тягчайший кризис, стоят перед страной во всем своем грозном величии и властно требуют разрешения.

Товарищи, интеллигентные работники г. Харькова и Харьковской губернии! По примеру сердца России, Москвы, где интеллигентный пролетариат организовался в мощный Совет депутатов трудовой интеллигенции, по образцу других демократических Советов депутатов рабочих, крестьянских и солдатских, объединяйтесь в свой Харьковский Совет депутатов трудовой интеллигенции.

Только в единении — сила, только в солидарности — мощь».

Стремление трудовой интеллигенции к созданию самостоятельных организаций возникает не только в Москве и Харькове. Может быть, это стремление необходимо и всячески оправдано, но не осталась бы народная масса без головы.

Но все-таки встает тревожный вопрос: что это — процесс единения сил или распада их?

XXIX

Все чаще разные люди пишут мне: «Мы не верим в народ»; «Я потерял веру в народ»; «Я не могу верить в народ, не верю партиям и вождям».

Все это искренние вопли людей, ошеломленных тяжкими ударами фантастической и мрачной русской жизни, это крики сердца людей, которые хотят любить и верить.

Но — да простят мне уважаемые корреспонденты! — их голоса не кажутся мне голосами людей, желающих знать и работать. Это вздыхает тот самый русский народ, в способность которого к духовному возрождению, к творческой работе отказываются верить мои корреспонденты. Уважаемые мои корреспонденты должны признать, что они плоть того самого народа, который всегда, а ныне особенно убедительно, обнаруживал — и обнаруживает — полное отсутствие веры в самого себя. Это народ, вся жизнь которого строилась на «авось» и на мечтах о помощи откуда-то извне, со стороны — от Бога и Николая Угодника, от «иностранных королей и государей», от какого-то «барина», который откуда-то «приедет» и «нас рассудит». Даже теперь, когда народ является физическим «хозяином жизни», он все-таки продолжает надеяться на «барина»; для одной части его этот барин — «европейский пролетариат», для другой — немец, устроитель железного порядка; некоторым кажется, что их спасет Япония, и ни у кого нет веры в свои собственные силы.

Вера — это всегда хорошо для удобств души, для спокойствия ее, она несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий жизни, — естественно, что все мы стремимся поскорее уверовать во что-нибудь, в какого-нибудь «барина», способного «рассудить» и устроить добрый порядок внутри и вне нас. Мы очень легко веруем: народники расписали нам деревенского мужика, точно пряник, и мы охотно поверили — хорош у нас мужик, настоящий китаец, куда до него европейскому мужику.

Было очень удобно верить в исключительные качества души наших Каратаевых — не просто мужики, а всечеловеки! Глеб Успенский «Властью земли» нанес этой вере серьезный удар, но верующие не заметили его. Чехов, столь нежно любимый нами, показал нам «Мужиков» в освещении еще более мрачном, — его поругали за неверие в народ. Иван Бунин мужественно сгустил темные краски — Бунину сказали, что он помещик и ослеплен

классовой враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Ив. Вольный[56], Семен Подъячев[57] и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина и даже мрачнее таких уже явных и действительных врагов народа, как, например, Родионов[58], автор нашумевшей книги «Наше преступление».

У нас верят не потому, что знают и любят, а именно — для спокойствия души, — это вера созерцателей, бесплодная и бессильная, она — «мертва есть». Верой, единственно способной горы сдвигать, мы не обладаем. Теперь, когда наш народ свободно развернул пред миром все богатства своей психики, воспитанной веками дикой тьмы, отвратительного рабства, звериной жестокости, мы начинаем кричать:

— Не верим в народ!

Уместно спросить неверов:

— А во что же и почему вы раньше верили? Ведь все то, что теперь отталкивает вас от народа, было в нем и при Степане Разине, и Емельяне Пугачеве, в годы картофельных бунтов и холерных, в годы еврейских погромов и во время реакции 907—8 годов. Во что верили вы?

Хороший честный мастер, прежде чем сделать ту или иную вещь, изучает, знает материал, с которым он хочет работать.

Наши социальных дел мастера затеяли построение храма новой жизни, имея, может быть, довольно точное представление о материальных условиях бытия народа, но совершенно не обладая знанием духовной среды, духовных свойств материала.

Нам необходимо учиться и особенно нужно выучиться любви к труду, пониманию его спасительности.

Вера — это очень приятно, но необходимо знание. Политика — неизбежна, как дурная погода, но, чтобы облагородить политику, необходима культурная работа, и давно пора внести в область злых политических эмоций — эмоции доброты и добра. Верить нужно в самого себя, в свою способность к творческой работе, остальное приложится.

«Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться»[59], чтобы спорить с мерзостями жизни и преодолеть их.

Верить — это удобно, но гораздо лучше иметь хорошо развитое чувство собственного достоинства и не стонать по поводу того, в чем все мы одинаково виноваты.

XXX

Наиболее культурные группы рабочего класса начинают

сознавать необходимость для рабочего научно-технических знаний. Интеллигентные рабочие чувствуют, что промышленность — это их дело, что она — основа культуры, залог благосостояния страны и что для ее возрождения и развития промышленности необходим рабочему солидный запас научного опыта. Об этой новой для нас оценке знания и труда говорят такие факты, каковы составляемые рабочими, членами профессиональных союзов, докладные записки, в которых утверждается необходимость организации в стране музеев и институтов по разным отраслям производств, например по стеклянному, керамическому, фарфоровому.

Очень характерно, что прежде всего рабочие указывают на необходимость скорейшего развития промышленности художественной, — можно думать, что здесь сказывается эмоциональная талантливость народа и его природная «смекалка», — люди как будто понимают, что немец, готовый завалить Россию дрянным и дешевым товаром, будет не в состоянии конкурировать с ней на почве промышленности художественной.

«Дисциплинированный до совершенства механического аппарата, послушный инструмент в руках силы, управляющей им, немец может чудесно подделать все, от философии до каучука, но он плохо понимает поэзию труда», — сказано о немце, и в этом есть немало правды.

Мы, Русь, — анархисты по натуре, мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь — ядовитое наследие татарского и крепостного ига, — что тоже правда. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека, — кровью плачешь, а ругаешь, ибо он, несчастный, дал и дает право лаять на него тоскливым собачьим лаем, воем собаки, любовь которой недоступна, непонятна ее дикому хозяину, тоже зверю.

Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и, в то же время, непонятно добродушный, — в конце всего — это талантливый народ.

Теперь, когда вскрылся гнилостный нарыв полицейско-чиновничьего строя и ядовитый, веками накопленный гной растекся по всей стране, — теперь мы все должны пережить мучительное и суровое возмездие за грехи прошлого — за нашу азиатскую косность, за эту пассивность, с которой мы терпели насилия над нами.

Но этот взрыв душевной гадости, эта гнойная буря — не надолго, ибо это процесс очищения и оздоровления больного организма — «болезнь вышла наружу», явилась во всем ее

безобразии.

Но — отказываешься верить, что это смертельная болезнь и что мы погибнем от нее. Нет, не погибнем, если дружно и упорно начнем лечиться. Русская интеллигенция снова должна взять на себя великий труд духовного врачевания народа. Теперь она может и работать в условиях большей свободы, и нет сомнения, что труд духовного возрождения страны разделит вместе с нею и рабочая, пролетарская интеллигенция, та наиболее культурная часть ее, которая ныне тонет и задыхается среди темной массы.

Задача демократической и пролетарской интеллигенции — объединение всех интеллектуальных сил страны на почве культурной работы. Но для успеха этой работы следует отказаться от партийного сектантства, следует понять, что одной политикой не воспитаешь «нового человека», что путем превращения методов в догматы мы служим не истине, а только увеличиваем количество пагубных заблуждений, раздробляющих наши силы.

Сил у нас немного, их нужно беречь, нужно экономить трату энергии, координировать разрозненные затеи и усилия отдельных лиц, групп, организаций и создать единую организацию, которая встала бы во главе всей культурно-просветительной работы, имеющей целью духовное оздоровление и возрождение страны.

Кажется, что та часть интеллигенции, которая настроена наименее сектантски и еще не насмерть изуродована партийной и фракционной «политикой», — кажется, что эта часть интеллигенции начинает чувствовать необходимость широкой культурной работы, повелительно диктуемой трагическими условиями действительности.

Об этом говорит попытка представителей различных политических взглядов организовать внепартийное общество под девизом «Культура и Свобода»[60], и нет сомнения, что если это общество поймет задачу момента достаточно глубоко, — оно может исполнить трудную роль организатора всех лиц и групп наиболее дееспособных, искренно желающих работать на благо страны.

Но и здесь, как первое условие успешной работы, должно осуществить издание информационного журнала, который давал бы более или менее точную картину всего хода культурно-просветительных начинаний. Необходим подсчет сил, необходимо знать, кто, что и где делает или намерен делать, — у нас часто случается, что люди, трудящиеся на одной и той же почве, ничего не знают друг о друге.

Если страна будет иметь два органа, из которых один поставит себе целью подробно оповещать обо всем, что творится в

области чистой и прикладной науки, а другой возьмет на себя обязанность рассказывать о работе культурно-просветительной, эти органы окажут огромную пользу делу воспитания мысли и чувства. Надо работать, почтенные граждане, надо работать — только в этом наше спасение, и ни в чем ином.

Садическое наслаждение, с которым мы грызем глотки друг другу, находясь на краю гибели, — подленькое наслаждение, хотя оно и утешает нас в бесконечных горестях наших.

Но, право же, не стоит особенно усердно предаваться делу взаимного истязания и истребления, — надо помнить, что есть достаточно людей, которые и желают и, пожалуй, могут истребить нас.

Будем же работать спасения нашего ради, да не погибнем «яко обри, их же несть ни племени, ни рода»[61].

XXXI

Отрицательные явления всегда неизмеримо обильнее тех фактов, творя которые, человек воплощает свои лучшие чувства, свои возвышенные мечты, — истина столь же очевидная, сколь печальная. Чем более осуществимыми кажутся нам наши стремления к торжеству свободы, справедливости, красоты, — тем более отвратительным является пред нами все то скотски подлое, что стоит на путях к победе человечески прекрасного. Грязь и хлам всегда заметнее в солнечный день, но часто бывает, что мы, слишком напряженно останавливая свое внимание на фактах, непримиримо враждебных жажде лучшего, уже перестаем видеть лучи солнца и как бы не чувствуем его живительной силы.

О том, что Русь стоит на краю гибели, мы начали кричать — с тоскою, страхом и гневом — три года тому назад, но — уже задолго до этого мы говорили о неизбежной гибели родины шепотом, вполголоса, языком, искаженным пытками монархической цензуры. Три года мы непрерывно переживаем катастрофу, все громче звучат крики о гибели России, все грознее слагаются для нее внешние условия ее государственного бытия, все более — как будто — очевиден ее внутренний развал, и, казалось бы, ей давно уже пора рухнуть в пропасть политического уничтожения. Однако до сего дня она все еще не рухнула, — не умрет и завтра, если мы не захотим этого. Надо только помнить, что все отвратительное, как и все прекрасное, творится нами, надо зажечь в себе все еще незнакомое нам сознание личной ответственности за судьбу страны.

Что мы живем скверно, позорно, — об этом излишне

говорить, это известно всем — мы давно живем так; а все-таки при монархии мы жили еще сквернее и позорнее. Мы тогда мечтали о свободе, не ощущая в себе живой, творческой силы ее, ныне весь народ, наконец, ощущает эту силу. Он пользуется ею эгоистически и скотски, глупо и уродливо, — все это так, однако — пора понять и оценить тот огромного значения факт, что народ, воспитанный в жесточайшем рабстве, освобожден из тяжких, уродующих цепей. Внутренно мы еще не изжили наследия рабства, еще не уверены в том, что свободны, не умеем достойно пользоваться дарами свободы, и от этого — главным образом, от неуверенности — мы так противно грубы, болезненно жестоки, так смешно и глупо боимся и пугаем друг друга.

А все-таки вся Русь — до самого дна, до последнего из ее дикарей — не только внешне свободна, но и внутренно поколеблена в своих основах и основе всех основ ее — азиатской косности, восточном пассивизме.

Те муки, те страдания, от которых зверем воет и мечется русский народ, — не могут не изменить его психических навыков, его предрассудков и предубеждений, его духовной сущности. Он скоро должен понять, что, как ни силен и жаден внешний враг, страшнее для русского народа враг внутренний — он сам, своим отношением к себе, человеку, ценить и уважать которого его не учили, к родине, которую он не чувствовал, к разуму и знанию, силы которых он не знал и не ценил, считая их барской выдумкой, вредной мужику.

Он жил древней азиатской хитростью, не думая о завтрашнем дне, руководясь глупой поговоркой: «День прошел и — слава Богу!» Теперь враг внешний показал ему, что хитрость травленого зверя — ничто пред спокойной железной силой организованного разума. Теперь он должен будет посвятить шестимесячные зимы мыслям и трудам, а не полусонному, полуголодному безделию. Он принужден понять, что родина его не ограничивается пределами губернии, уезда, а — огромная страна, полная неисчерпаемых богатств, способных вознаградить его честный и умный труд сказочными дарами. Он поймет, что

Лень есть глупость тела,
Глупость — лень ума,

и захочет учиться, чтобы оздоровить и ум и тело.

Революция — судорога, за которою должно следовать медленное и планомерное движение к цели, поставленной актом революции. Великая революция Франции сотрясала и мучила героический народ ее десять лет, прежде чем весь этот народ

почувствовал всю Францию своей родиной, и мы знаем, как мужественно он отстоял ее свободу против всех сил европейской реакции. Народ Италии на протяжении сорока лет совершил десяток революций, прежде чем создал единую Италию.

Там, где народ не принимал сознательного участия в творчестве своей истории, он не может иметь чувства родины и не может сознавать своей ответственности за несчастия родины. Теперь русский народ весь участвует в созидании своей истории — это событие огромной важности, и отсюда нужно исходить в оценке всего дурного и хорошего, что мучает и радует нас.

Да, народ полуголоден, измучен, да, он совершает множество преступлений, и не только по отношению к области искусства его можно назвать «бегемотом в посудной лавке». Это неуклюжая, не организованная разумом сила — сила огромная, потенциально талантливая, воистину способна к всестороннему развитию. Те, кто так яростно и без оглядки порицают, травят революционную демократию, стремясь вырвать у нее власть и снова, хотя бы на время, поработить ее узкоэгоистическим интересам цензовых классов, забывают простую, невыгодную им истину: «Чем больше количество свободно и разумно трудящихся людей — тем выше качество труда, тем быстрее совершается процесс создания новых, высших форм социального бытия. Если мы заставим энергично работать всю массу мозга каждой данной страны — мы создадим страну чудес!»

Не привыкшие жить всеми силами сердца и ума, мы устали от революций — усталость преждевременная и опасная для всех нас. Я лично не верю в эту смертельную усталость, и я думаю, что она исчезнет, если в стране раздастся бодрый, воскресающий голос — он должен прозвучать!

В одной из битв на Западе француз-капитан вел свою роту в атаку на позиции врага. Он с отчаянием видел, как падают один за другим его солдаты, убиваемые свинцом, а того больше — страхом, неверием в свои силы, отчаянием пред задачей, которая казалась им невыполнимой. Тогда капитан, как и следует французу, человеку, воспитанному героической историей, крикнул:

— Встаньте, мертвые!

Убитые страхом воскресли, и враг был побежден.

Страстно верю, что близок день, когда нам тоже кто-то, очень любящий нас, кто умеет все понять и простить, крикнет:

— Встаньте, мертвые!

И мы встанем. И враги наши будут побеждены.

Верю.

Естественно, что внимание мыслящих людей приковано к политике, — к области насилия и деспотизма, злобы и лжи, где различные партии, группы и лица, сойдясь якобы на «последний и решительный бой», цинически попирают идеи свободы, постепенно утрачивая облик человечий в борьбе за физическую власть над людьми. Это внимание естественно, однако оно односторонне, а потому уродливо и вредно. Содержание процесса социального роста не исчерпывается только одним явлением классовой, политической борьбы, в основе которой лежит грубый эгоизм инстинкта, — рядом с этой неизбежной борьбой все мощнее развивается иная, высшая форма борьбы за существование — борьба человека с природой, и только в этой борьбе человек разовьет до совершенства силы своего духа, только здесь он найдет возвышающее сознание своего значения, здесь завоюет ту свободу, которая уничтожит в нем зоологические начала и позволит ему стать умным, добрым, честным — поистине свободным.

Мне хочется сказать всем, кто истерзан жестокими пытками действительности и чей дух угнетен, — мне хочется сказать им, что даже в эти дни, дни, грозящие России гибелью, интеллектуальная жизнь страны не иссякла, даже не замерла, а напротив, энергично и широко развивается.

Напряженно работает высшее ученое учреждение страны — Академия наук, непрерывно идет руководимое ею исследование производительных сил России, подготовляется к печати и печатается ряд ценнейших докладов и трудов, скоро выйдет обзор успехов русской науки — книга, которая даст нам возможность гордиться великими трудами и достижениями русского таланта.

Университет предполагает осуществить свободные научные курсы в духе Сорбонны, работают многочисленные ученые общества, невзирая на грубые помехи, которые ставят им невежество политики и политика невежд.

Скромные подвижники чистого знания, не упуская из виду ничего, что может быть полезно разоренной, измученной родине, составляют проекты организации различных институтов, необходимых для возрождения и развития русской промышленности. В Москве принимается за работу «Научный институт», основанный на средства г. Марк и руководимый профессором Лазаревым[62], в Петрограде организует исследовательские институты по химии, биологии и т. д. «Свободная ассоциация[63] для развития и распространения положительных наук».

Размеры газетной статьи не дают возможности перечислить все начинания, которые возникли среди наших ученых за время революции, — но, не преувеличивая значения этих начинаний, можно с уверенностью сказать, что научные силы России развивают энергичную деятельность, и эта чистая, великая работа лучшего мозга страны — залог и начало нашего духовного возрождения.

Если б люди, считающие себя политическими вождями России, правильно поняли нужды народа, интересы государства, если бы они нашли достаточно такта для того, чтоб не мешать великому делу научного творчества, и нашли немного ума, чтоб помочь трудам ученых!

XXXIII

Но, к сожалению, процесс творчества в области чистой и прикладной науки остается почти неизвестным широким слоям демократической интеллигенции, а для нее необходимо следить за развитием этого процесса, — знание вполне способно оздоровить изболевшие души, утешить замученных людей и поднять их рабочую энергию.

Академия наук сделала бы прекрасное и полезное дело, предприняв издание небольшого журнала, который осведомлял бы грамотных людей обо всем, что творится в области русской науки. Такой информационный журнал несомненно имел бы глубокое социальное и национально-воспитательное значение; я не обмолвился, сказав «национальное» значение, ибо нахожу, что нам, народу, силы которого так ловко и широко использовали наши «друзья» для борьбы с их врагами, — нам пора понять, что у нас нет иных друзей, кроме самих себя.

Наконец, для нас, людей глубоко некультурных, пора также понять и то, что мы давно живем в условиях, созданных наукой, без участия которой не сделаешь ни хорошего кирпича, ни пуговицы и ничего, что облегчает нашу жизнь, украшает ее, стремится сохранить нашу энергию от бесполезной траты и преобороть начала, разрушающие жизнь; нам пора понять, что научное знание — сила, без которой невозможно возрождение страны.

«Мы ленивы и нелюбопытны»[64], но надо же надеяться, что жестокий, кровавый урок, данный нам историей, стряхнет нашу лень и заставит нас серьезно подумать о том, почему же, почему мы, Русь, — несчастнее других? Повторяю — Академия наук, взяв на себя издание информационного журнала, который в кратких

очерках и сообщениях давал бы сведения обо всем, что совершается в таинственной, скрытой от непосвященных области науки, — предприняв это издание, Академия совершила бы национально важное и необходимое дело образумления, очеловечения страны, теряющей веру в свои силы, озверевшей от цинических пыток глупости — самого страшного врага людей.

XXXIV

Я знаю, что сейчас на Руси уже немало людей, которые страстно рвутся из плена грязной и оскорбительной действительности «под культуру» — к истинной свободе, к свету.

Но мне кажется, что подобные люди, мучительно тоскующие о лучшей жизни, представляют себе не совсем ясно, недостаточно широко содержание понятия «культура», «культурность».

От них как-то ускользает гуманитарное, глубоко идеалистическое содержание этих понятий; о чем, собственно, думают они, какие формы чувства и мыслей представляют себе, мечтая о новой культуре?

Вот — вокруг нас мы видим немало так называемых «культурных людей», это люди очень грамотные политически, очень насыщенные различными знаниями, но их житейский опыт, их знания не мешают им быть антисемитами, антидемократами и даже искренними защитниками государственного строя, основанного на угнетении народных масс, на угнетении свободы личности. Эти люди, персонально порядочные и даже, иногда, очень чуткие в частных отношениях, в борьбе за торжество своих идей, в общественной деятельности нимало не брезгают прибегать к приемам нечестным, ко лжи и клевете на врага, к подленьким иезуитским хитростям, даже к жестокости — защите смертной казни, к оправданию расстрелов и т. д. И все это не мешает им считать себя «культурными» людьми. Или возьмем германскую социал-демократическую партию, она считалась очень культурной, и действительно, ее организации немало послужили делу развития внешней культуры Германии.

Но — вот уже четыре года сотни тысяч социал-демократов Германии, вооруженные мерзейшими орудиями истребления, убивают себе подобных на земле, на воде, в воздухе, под водою, убивают мирное население, женщин и детей, уничтожают города, виноградники, плодовые сады, огороды, пашни, храмы и пароходы, фабрики, уничтожают великий, священный, веками накопленный труд Бельгии, Франции и т. д.

Я потому говорю о немцах, что их отвратительная

деятельность все время войны протекает на чужих землях, но, само собою разумеется, что в этой подлой войне невинных — нет. В ней повинны все, и мы не менее других, только на нашу долю выпало страдать от нее более других, потому что мы оказались всех слабее в отношении внутренней и внешней культуры.

В чем же дело и как должно быть воспринято истинное содержание понятия «культура», дабы невозможны стали такие позорные противоречия, каковы указанные?

Очевидно, что мы только тогда получим возможность уничтожить эти позорные противоречия, когда сумеем культивировать свои чувства и волю.

Нужно помнить, что всё — в нас, всё — от нас, это мы творим все факты, все явления. Можем ли мы воспитать в самих себе органическое отвращение к звериной половине нашего существа, к тем зоологическим началам в нашей психике, которые позволяют нам быть грубыми и жестокими друг к другу? Можем ли мы внушить сами себе и друг другу отвращение к страданию, преступлению, ко лжи, жестокости и всей той подлой пыли, которой так много в душе каждого из нас, кто бы он ни был, сколь бы «высоко культурным» ни считался?

Истинная суть и смысл культуры — в органическом отвращении ко всему, что грязно, подло, лживо, грубо, что унижает человека и заставляет его страдать. Нужно научиться ненавидеть страдание, только тогда мы уничтожим его. Нужно научиться хоть немножко любить человека, такого, каков он есть, и нужно страстно любить человека, каким он будет.

Сейчас человек измотался, замучился, на тысячу кусков разрывается сердце его от тоски, злости, разочарований, отчаяния; замучился человек и сам себе жалок, неприятен, противен. Некоторые, скрывая свою боль из ложного стыда, все еще форсят, орут, скандалят, притворяясь сильными людьми, но они глубоко несчастны, смертельно устали.

Что же излечит нас, что воскресит наши силы, что может изнутри обновить нас?

Только вера в самих себя, и ничто иное. Нам необходимо кое-что вспомнить, мы слишком много забыли в драке за власть и кусок хлеба.

Надо вспомнить, что социализм — научная истина, что нас к нему ведет вся история развития человечества, что он является совершенно естественной стадией политико-экономической эволюции человеческого общества, надо быть уверенными в его осуществлении, уверенность успокоит нас.

Рабочий не должен забывать идеалистическое начало социализма, — он только тогда уверенно почувствует себя и

апостолом новой истины, и мощным бойцом за торжество ее, когда вспомнит, что социализм необходим и спасителен не для одних трудящихся, но что он освобождает все классы, все человечество из ржавых цепей старой, больной, изолгавшейся, самое себя отрицающей культуры.

Цензовые классы не принимают социализма, не чувствуют в нем свободы, красоты, не представляют себе, как высоко он может поднять личность и ее творчество.

А многие рабочие понимают это? Для большинства их социализм — только экономическое учение, построенное на эгоизме рабочего класса, так же, как другие общественные учения строятся на эгоизме собственников.

В борьбе за классовое не следует отметать общечеловеческое стремление к лучшему.

Истинное чувствование культуры, истинное понимание ее возможно только при органическом отвращении ко всему жестокому, грубому, подлому как в себе самом, так и вне себя.

Вы пробуете воспитать в себе это отвращение?

Глебов, в ответ на мой план издания научно- и культурно-информационных журналов, восклицает:

«Неужели оттого у нас происходит все нехорошее, что страна не имеет еще двух органов?»

Это восклицание не гармонирует с умным началом его статьи, где он сокрушается об «анархо-бунтарской струе насмешливого отношения к книге».

То, что мы не понимаем или недооцениваем силы знания, является величайшей помехой на пути «под культуру». Без знания и самосознания мы никуда не уйдем из гнилого болота современности. Именно сейчас необходимы органы, которые давали бы нам более или менее точное представление о том, что у нас есть хорошего, именно — хорошего. Подсчет отрицательных свойств и фактов сделан и делается ежедневно, с удовольствием, и пора присмотреться — нет ли вокруг нас явлений и фактов положительных?

XXXV

Человек, недавно приехавший из-за границы, рассказывает:

«В Стокгольме открыто до шестидесяти антикварных магазинов, торгующих картинами, фарфором, бронзой, серебром, коврами и вообще предметами искусств, вывезенными из России. В Христиании[65] таких магазинов я насчитал двенадцать, их очень много в Гетеборге и других городах Швеции, Норвегии,

Дании. На некоторых магазинах надписи: “Антикварные и художественные вещи из России”, “Русские древности”. В газетах часто встречаются объявления: “Предлагают ковры и другие вещи из русских императорских дворцов”».

Нет сомнения, что этот рассказ — печальная истина, печальная в такой же степени, как и позорная для нас. Чтобы убедиться в этой истине, стоит только посвятить два-три дня на обзор того, что творится в галереях Александровского рынка, в антикварных лавках Петрограда и бесчисленных комиссионных конторах, открытых на всех улицах города. Всюду неутомимо ходят хорошо выбритые, но плохо говорящие по-русски люди американской складки и — без конца покупают, покупают все, что имеет хотя бы ничтожное художественное значение. Особенно усердно и успешно охотятся за восточными вещами — китайским и японским фарфором, бронзой, старинным лаком, вышивками по шелку, рисунками, финифтью[66], клуазоннэ[67] и т. д. Иностранцам хорошо известно, что Россия густо насыщена предметами восточного искусства — особенно после похода на Пекин, где наши воины вели себя весьма бесцеремонно по отношению к собственности китайцев и откуда наши воеводы возили ценные вещи вагонами. Маньчжурская авантюра еще значительнее усилила приток восточных вещей, немало вывезено их в Россию и за время японской войны. Но, разумеется, больше всего способствовало насыщению России восточным искусством наше непосредственное соседство с Китаем.

Знатоки дела, изучавшие историю восточного искусства, и коллекционеры утверждают, что у нас можно найти в чудесном изобилии такие редкие и древние вещи Востока, каких нет уже ни в Китае, ни в Японии. Очень многие иностранцы удивляются, что, несмотря на такое богатство художественными сокровищами Востока, несмотря на духовную связь русского искусства с восточным, у нас нет музея восточных древностей и восточного искусства.

Конечно — это удивление наивных людей, разуму которых совершенно недоступно понимание нашей русской оригинальности, нашей самобытности. Эти люди, видимо, не знают, что у нас — лучший в мире балет и — самая отвратительная постановка книгоиздательского дела, несмотря на то что Русь — обширнейший в мире книжный рынок. Им неизвестно, что газеты Сибири, изобилующей лесами, печатаются на бумаге, привозимой из Финляндии, и что мы возим хлопок из Туркестана в Москву для того, чтобы, обработав оный, отвезти обратно из Москвы в Туркестан.

Вообще иностранцы народ наивный и невежественный, и Русь

для них — загадка. Для некоторых русских она тоже является загадкой, и притом весьма глупой, но эти русские — просто люди, лишенные чувства любви к родине, патриотизма и прочего, это — еретики, а по мнению людей, обладающих волчьим патриотизмом, это — Хамы, не щадящие наготы отца своего, будто бы потому, что нагота отвратительна, когда она уродлива и грязна.

Но — шутки прочь. Дело в том, что Россию грабят не только сами русские, а иностранцы, что гораздо хуже, ибо русский грабитель остается на родине вместе с награбленным, а чужой — улепетывает к себе, где и пополняет, за счет русского ротозейства, свои музеи, свои коллекции, т. е. — увеличивает количество культурных сокровищ своей страны, сокровищ, ценность которых — неизмерима, так же, как неизмеримо их эстетическое и практическое значение. Они не только воспитывают вкус и любовь к изящному, не только возбуждают уважение к творческим силам человека, но служат возбудителями стремления к созданию новых вещей, новых форм красоты и, таким образом, влияют на развитие художественной промышленности. А вместе с неизбежным изменением социальных условий, вместе с приобщением демократии к культуре воспитательная роль художественной промышленности будет огромна и развитие ее быстро.

Мы и тут поплетемся сзади других, а мудрецы наши будут охать, высказывая запоздалые и бессмысленные сожаления:

«Ведь сколько было у нас, в России, прекрасных вещей величайшего значения, и художественного, и научного, а вот — все исчезло! Так жаль, что не догадались своевременно собрать их, устроить музей — как бы хорошо было это!»

Поохают и — успокоятся.

А, между тем, время еще не ушло и можно бы сохранить много ценного и необходимого для культуры России.

XXXVI

Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит «выступление большевиков» — иными словами: могут быть повторены отвратительные сцены 3–5 июля[68]. Значит — снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей — куда попало! Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут

чадить, отравляя злобой, ненавистью, местью, все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухою жизни, ложью и грязью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости.

На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции».

Одним словом — повторится та кровавая, бессмысленная бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране моральное значение революции, пошатнула ее культурный смысл.

Весьма вероятно, что на сей раз события примут еще более кровавый и погромный характер, нанесут еще более тяжкий удар революции.

Кому и для чего нужно все это? Центральный Комитет с.-д. большевиков, очевидно, не принимает участия в предполагаемой авантюре,[69] ибо до сего дня он ничем не подтвердил слухов о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их.

Уместно спросить: неужели есть авантюристы, которые, видя упадок революционной энергии сознательной части пролетариата, думают возбудить эту энергию путем обильного кровопускания? Или эти авантюристы желают ускорить удар контрреволюции и ради этой цели стремятся дезорганизовать с трудом организуемые силы?

Центральный комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении 20-го, он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков.

XXXVII

Министры-социалисты[70], выпущенные из Петропавловской крепости Лениным и Троцким, разъехались по домам, оставив своих товарищей М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова, М. И. Терещенко[71] и других во власти людей, не имеющих никакого представления о свободе личности, о правах человека.

Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия.

Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, вроде бойни под Петербургом[72], разгрома Москвы[73], уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов — все мерзости, которые делали Плеве[74] и Столыпин.

Конечно — Столыпин и Плеве шли против демократии, против всего живого и честного в России, а за Лениным идет довольно значительная — пока — часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его Нечаевско-Бакунинский анархизм.

Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет?

Конечно, он не верит в возможность победы пролетариата в России при данных условиях, но, может быть, он надеется на чудо.

Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция.

Вот куда ведет пролетариат его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата.

Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат.

Я спрашиваю:

Помнит ли русская демократия — за торжество каких идей она боролась с деспотизмом монархии?

Считает ли она себя способной и ныне продолжать эту борьбу?

Помнит ли она, что когда жандармы Романовых бросали в тюрьмы и в каторгу ее идейных вождей — она называла этот прием борьбы подлым?

Чем отличается отношение Ленина к свободе слова от такого же отношения Столыпиных, Плеве и прочих полулюдей?

Не так же ли Ленинская власть хватает и тащит в тюрьму всех несогласномыслящих, как это делала власть Романовых?

Почему Бернацкий, Коновалов и другие члены коалиционного правительства сидят в крепости — разве они в чем-то преступнее своих товарищей социалистов, освобожденных Лениным?

Единственным честным ответом на эти вопросы должно быть немедленное требование освободить министров и других безвинно арестованных, а также восстановить свободу слова во всей ее полноте.

Затем разумные элементы демократии должны сделать дальнейшие выводы — должны решить, по пути ли им с заговорщиками и анархистами Нечаевского типа?

XXXVIII

Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева — «на всех парах через болото»[75].

И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к погибели в трясине действительности, очевидно, убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно», и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей, вроде А. В. Карташева, М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова и других.

Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина — Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны.

«Послушание школьников и дурачков», идущих вместе за Лениным и Троцким, «достигло высшей черты», — ругая своих вождей заглазно, то уходя от них, то снова присоединяясь к ним, школьники и дурачки в конце концов покорно служат воле догматиков и все более возбуждают в наиболее темной массе солдат и рабочих несбыточные надежды на беспечальное житье.

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озерами крови.

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый,

он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс.

Ленин «вождь» и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.

Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его.

Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, неведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче — разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли — при всех данных условиях — отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому — невозможно; однако — отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся?

Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к гибели революцию. Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции.

XXXIX

Меня уже упрекают в том, что «после двадцатипятилетнего служения демократии» я «снял маску» и изменил уже своему народу.

Г.г. большевики имеют законное право определять мое поведение так, как им угодно, но я должен напомнить этим господам, что превосходные душевные качества русского народа никогда не ослепляли меня, я не преклонял колен перед демократией, и она не является для меня чем-то настолько священным, что совершенно недоступно критике и осуждению.

В 1911 году, в статье о «Писателях-самоучках» я говорил: «Мерзости надо обличать, и если наш мужик — зверь, надо сказать это, а если рабочий говорит:

«Я пролетарий!» — тем же отвратительным тоном человека касты, каким дворянин говорит:

«Я дворянин!» —

надо этого рабочего нещадно осмеять».

Теперь, когда известная часть рабочей массы, возбужденная обезумевшими владыками ее воли, проявляет дух и приемы касты, действуя насилием и террором — тем насилием, против которого так мужественно и длительно боролись ее лучшие вожди, ее сознательные товарищи, — теперь я, разумеется, не могу идти в рядах этой части рабочего класса.

Я нахожу, что заткнуть кулаком рот «Речи» и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии, — это позорно для демократии.

Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и — боится критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только лишь путем физического насилия?

Лишение свободы печати — физическое насилие, и это недостойно демократии.

Держать в тюрьме старика-революционера Бурцева[76], человека, который нанес монархии немало мощных ударов, держать его в тюрьме только за то, что он увлекается своей ролью ассенизатора политических партий, — это позор для демократии. Держать в тюрьме таких честных людей, как А. В. Карташев, таких талантливых работников, как М. В. Бернацкий, и культурных деятелей, каков А. И. Коновалов, немало сделавший доброго для своих рабочих, — это позорно для демократии.

Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России, — это позорно и преступно.

Все это не нужно и только усилит ненависть к рабочему классу. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей — тысячами жизней, потоками крови.

XL

Хотят арестовать Ираклия Церетели[77], талантливого политического деятеля, честнейшего человека.

За борьбу против монархии, за его защиту интересов рабочего класса, за пропаганду идей социализма старое правительство наградило Церетели каторгой и туберкулезом.

Ныне правительство, действующее якобы от имени и по воле всего пролетариата, хочет наградить Церетели тюрьмой — за что?

Не понимаю.

Я знаю, что Церетели опасно болен, но, — само собою разумеется, я не посмел бы оскорбить этого мужественного человека, взывая о сострадании к нему. Да — и к кому бы я взывал? Серьезные, разумные люди, не потерявшие головы, ныне чувствуют себя «в пустыне — увы! — не безлюдной». Они — бессильны в буре возбужденных страстей. Жизнью правят люди, находящиеся в непрерывном состоянии «запальчивости и раздражения». Это состояние признается законом одною из причин, дающих преступнику право на снисхождение к нему, но — это все-таки состояние «вменяемости».

«Гражданская война», т. е. взаимоистребление демократии к злорадному удовольствию ее врагов, затеяна и разжигается этими людьми. И теперь уже и для пролетариата, околдованного их демагогическим красноречием, ясно, что ими руководят не практические интересы рабочего класса, а теоретическое торжество анархо-синдикалистских идей.

Сектанты и фанатики, постепенно возбуждая несбыточные, неосуществимые в условиях действительности надежды и инстинкты темной массы, они изолируют пролетарскую, истинно социалистическую, сознательно революционную интеллигенцию, — они отрывают у рабочего класса голову.

И если они решаются играть судьбою целого класса, — что им до судьбы одного из старых, лучших товарищей своих, до жизни одного из честнейших рыцарей социализма?

Как для полоумного протопопа Аввакума, для них догмат выше человека.

Чем все это кончится для русской демократии, которую так упорно стараются обезличить?

XLI

Редакцией «Новой жизни» получено нижеследующее письмо:

«Пушечный Округ Путиловского завода.

Постановил вынести Вам, писателям из Новой Жизни, порицание, как Строеву[78], был когда-то писатель, а также Базарову[79], Гимер-Суханову[80], Горькому, и всем составителям Новой Жизни ваш Орган не соответствует настоящей жизни нашей общей, вы идете за оборонцами вслед. Но помните нашу рабочую Жизнь пролетариев не троньте, бывшей в Воскресенье демонстрацией, *не вами демонстрация проведена не вам и критиковать ее.* А и вообще наша партия Большинство и мы

поддерживаем своих политических вождей действительных социалистов освободителей народа от гнета Буржуазии и капиталистов, и Впредь если будут писатся такие контрреволюционные статьи то мы рабочие клянемся вот зарубите себе на лбу что закроем вашу газету, а если желательно осведомитесь у вашего Социалиста так называемого нейтралиста он был у нас на путиловском заводе со своими отсталыми речами спросите у него дали ему говорить да нет, да в скором времени вам воспретят и ваш орган он начинает равнятся с кадетским, и *если вы* горькие, отсталые писатели *будете продолжать свою полемику и с правительственным органом "Правда "* то знайте прекратим в нашем Нарвско-Петергофском районе торговлю. адрес

Путиловс завод Пушечн. Округ пишите отв. а то будут Репресии».

Свирепо написано!

С такой свирепостью рассуждают дети, начитавшись страшных книг Густава Эмара и воображая себя ужасными индейцами.

Конечно — детей следует учить. И в поучение автору — или авторам — сердитого письма я скажу:

— Нельзя так рассуждать, как рассуждаете вы:

«Демонстрация не вами проведена, не вам и критиковать ее».

Политическое и экономическое угнетение рабочего класса тоже «не нами проведено», но мы всегда критиковали и будем критиковать всякую систему угнетения человека, кем бы эта система не «проводилась».

Люди, имена которых названы в письме, боролись с самодержавием мошенников и подлецов не для того, чтобы оно заменилось самодержавием политических дикарей.

Нам угрожают, что если мы будем «продолжать полемику с правительственным органом «Правда», то…»

Да, мы будем продолжать полемику с правительством, которое губит рабочий класс; мы считаем эту полемику нашим долгом — долгом честных граждан и независимых социалистов.

XLII

Все, что заключает в себе жестокость или безрассудство, всегда найдет доступ к чувствам невежды и дикаря.

Недавно матрос Железняков[81], переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для

благополучия русского народа можно убить и миллион людей.

Я не считаю это заявление хвастовством и хотя решительно не признаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать массовые убийства, но — думаю — что миллион «свободных граждан» у нас могут убить. И больше могут. Почему не убивать?

Людей на Руси — много, убийц — тоже достаточно, а когда дело касается суда над ними — власть народных комиссаров встречает какие-то таинственные препятствия, как она, видимо, встретила их в деле по расследованию гнуснейшего убийства Шингарева[82] и Кокошкина[83]. Поголовное истребление несогласно мыслящих — старый, испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди — почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема?

Он и не отказывается, откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов.

Но я думаю, что в результате таких заявлений мы получим длительную и жесточайшую борьбу всей демократии и лучшей части рабочего класса против той зоологической анархии, которую так деятельно воспитывают вожди из Смольного.

Вот чем грозят России упрощенные переводы анархо-коммунистических лозунгов на язык родных осин.

Пр. — прапорщик или профессор? — Роман Петкевич пишет мне:

«Ваш спор с большевизмом — глубочайшая ошибка, вы боретесь против духа нации, стремящегося к возрождению. В большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность. Обратите же внимание: каждому свое! Каждая нация создает свои особенные, индивидуальные, только ей свойственные приемы и методы социальной борьбы. Французы, итальянцы — анархо-синдикалисты, англичане наиболее склонны к тред-юнионам, а казарменный социал-демократизм немцев как нельзя более соответствует их бездарности.

Мы же, по пророчеству великих наших учителей — например, Достоевского и Толстого — являемся народом-Мессией, на который возложено идти дальше всех и впереди всех. Именно наш дух освободит мир из цепей истории».

И т. д. в тоне московского неославянофильства, которое так громко визжало в начале войны.

До чего же бесприютен русский человек!

XLIII

Все подлое и скверное, что есть на земле, сделано и делается нами, и все прекрасное, разумное, к чему стремимся мы, — в нас живет.

Вчерашний раб сегодня видит своего владыку поверженным во прах, бессильным, испуганным, — зрелище величайшей радости для раба, пока еще не познавшего радость, более достойную человека, — радость быть свободным от чувства вражды к ближнему.

Но и эта радость будет познана, — не стоит жить, если невозможно верить в братство людей, жизнь бессмысленна, если нет уверенности в победе любви.

Да, да, — мы живем по горло в крови и грязи, густые тучи отвратительной пошлости окружают нас и ослепляют многих; да, порою кажется, что эта пошлость отравит, задушит все прекрасные мечты, рожденные нами в трудах и мучениях, все факелы, которые зажгли мы на пути к возрождению.

Но человек все-таки — человек, и, в конце концов, побеждает только человеческое, — в этом великий смысл жизни всего мира, иного смысла нет в ней.

Может быть, мы погибнем?

Лучше сгореть в огне революции, чем медленно гнить в помойной яме монархии, как мы гнили до февраля.

Мы, Русь, очевидно, пришли ко времени, когда все наши люди, возбужденные до глубины души, должны смыть, сбросить с себя веками накопленную грязь нашего быта, убить нашу славянскую лень, пересмотреть все навыки и привычки наши, все оценки явлений жизни, оценки идей, человека, мы должны возбудить в себе все силы и способности и, наконец, войти в общечеловеческую работу устроения планеты нашей — новыми, смелыми, талантливыми работниками.

Да, наше положение глубоко трагично, но всего выше человек — в трагедии.

Да, жить — трудно, слишком много всплыло на поверхность жизни мелкой злости, и нет священного озлобления против пошлости, озлобления, убийственного для нее.

Но, как сказал Синезий, епископ Птолемаиды:

«Для философа необходимо спокойствие души — искусного кормчего воспитывают только бури».

Будем верить, что те, кто не погибнет в хаосе и буре, — окрепнут и воспитают в себе непоколебимую силу сопротивления древним, зверским началам жизни.

Сегодня — день Рождения Христа, одного из двух величайших символов, созданных стремлением человека к справедливости и красоте.

Христос — бессмертная идея милосердия и человечности, и Прометей — враг богов, первый бунтовщик против Судьбы, — человечество не создало ничего величественнее этих двух воплощений желаний своих.

Настанет день, когда в душах людей символ гордости и милосердия, кротости и безумной отваги в достижении цели — оба символа скипятся в одно великое чувство и все люди сознают свою значительность, красоту своих стремлений и единокровную связь всех со всеми.

В эти страшные для многих дни мятежа, крови и вражды не надо забывать, что путем великих мук, невыносимых испытаний мы идем к возрождению человека, совершаем мирское дело раскрепощения жизни от тяжких ржавых цепей прошлого.

Будем же верить сами в себя, будем упрямо работать, — всё в нашей воле, и нет во вселенной иного законодателя, кроме нашей разумной воли.

Всем, кто чувствует себя одиноко среди бури событий, чье сердце точат злые сомнения, чей дух подавлен тяжелой скорбью, — душевный привет!

И душевный привет всем безвинно заключенным в тюрьмах.

XLIV

Сегодня Прощеное воскресенье.

По стародавнему обычаю в этот день люди просили друг у друга прощения во взаимных грехах против чести и достоинства человека. Это было тогда, когда на Руси существовала совесть; когда даже темный, уездный русский народ смутно чувствовал в душе своей тяготение к социальной справедливости, понимаемой, может быть, узко, но все-таки — понимаемой.

В наши кошмарные дни совесть издохла. Все помнят, как русская интеллигенция, вся, без различия партийных уродств, возмущалась бессовестным делом Бейлиса[84] и подлым расстрелом ленских рабочих[85], еврейскими погромами и клеветой, обвинявшей всех евреев поголовно в измене России. Памятно и возбуждение совести, вызванное процессом Половнева, Ларичкина и других убийц Иоллоса, Герценштейна[86].

Но вот убиты невинные и честные люди Шингарев, Кокошкин, а у наших властей не хватает ни сил, ни совести предать убийц суду.

Расстреляны шестеро юных студентов, ни в чем не повинных, — эго подлое дело не вызывает волнений совести в разрушенном обществе культурных людей.

Десятками избивают «буржуев» в Севастополе, в Евпатории, — и никто не решается спросить творцов «социальной» революции: не являются ли они моральными вдохновителями массовых убийств?

Издохла совесть. Чувство справедливости направлено на дело распределения материальных благ, — смысл этого «распределения» особенно понятен там, где нищий нищему продаст под видом хлеба еловое полено, запеченное в тонкий слой теста. Полуголодные нищие обманывают и грабят друг друга — этим наполнен текущий день. И за все это — за всю грязь, кровь, подлость и пошлость — притаившиеся враги рабочего класса возложат со временем вину именно на рабочий класс, на его интеллигенцию, бессильную одолеть моральный развал одичавшей массы. Где слишком много политики, там нет места культуре, а если политика насквозь пропитана страхом перед массой и лестью ей — как страдает этим политика советской власти — тут уже, пожалуй, совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении к человеку и обо всем другом, что политический цинизм именует «сентиментальностью», но без чего — нельзя жить.

XLV

Среди распоряжений и действий правительства, оглашенных на днях в некоторых газетах, я с величайшим изумлением прочитал громогласное заявление «Особого собрания моряков красного флота Республики» — в этом заявлении моряки оповещают:

«Мы, моряки, решили: если убийства наших лучших товарищей будут впредь продолжаться, то мы выступим с оружием в руках и за каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей, которые живут в светлых и роскошных дворцах, организовывая контрреволюционные банды против трудящихся масс, против тех рабочих, солдат и крестьян, которые в октябре вынесли на своих плечах революцию».

Это что же — крик возмущенной справедливости?

Но тогда я, как и всякий другой гражданин нашей республики, имею право спросить граждан моряков:

Какие у них данные утверждать, что Мясников и Забелло погибли от «предательской руки тиранов»? И — если таковые данные имеются — почему они не опубликованы?

Почему правительство нашло нужным включить в число своих «действий и распоряжений» грозный рев «красы и гордости»

русской революции?

Что же, правительство согласно с методом действий, обещанным моряками?

Или оно бессильно воспрепятствовать этому методу?

И — наконец — не само ли оно внушило морякам столь дикую идею физического возмездия?

Думаю, что на последний вопрос правительство, по совести, должно ответить признанием своей вины.

Вероятно, все помнят, что после того, как некий шалун или скучающий лентяй расковырял перочинным ножиком кузов автомобиля, в котором ездил Ленин, — «Правда», приняв порчу автомобильного кузова за покушение на жизнь Владимира Ильича[87], грозно заявила:

«За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии».

Видимо, эта арифметика безумия и трусости произвела должное влияние на моряков, — вот они уже требуют не сотню, а тысячи голов за голову.

Самооценка русского человека повышается. Правительство может поставить это в заслугу себе.

Но для меня, — как, вероятно, и для всех еще не окончательно обезумевших людей, — грозное заявление моряков является не криком справедливости, а диким ревом разнузданных и трусливых зверей.

Я обращаюсь непосредственно к морякам, авторам зловещего объявления.

Нет сомнения, господа, в том, что вы, люди вооруженные, можете безнаказанно перебить и перерезать столько «буржуев», сколько вам будет угодно. В этом не может быть сомнения — ваши товарищи уже пробовали устраивать массовые убийства буржуазной «интеллигенции», — перебив несколько сот грамотных людей в Севастополе, Евпатории, они объявили:

«Что сделано — то сделано, а суда над нами не может быть».

Эти слова звучат как полупокаяние-полуугроза, и в этих словах, господа моряки, целиком сохранен и торжествует дух кровавого деспотизма той самой монархии, внешние формы которой вы разрушили, но душу ее — не можете убить, и вот она живет в ваших грудях, заставляя вас рычать зверями, лишая образа человечьего.

Вам, господа, следовало бы крепко помнить, что вы воспитаны насилием и убийствами и что когда вы говорите: «Суда над нами — не может быть», — вы говорите это не потому, что сознали ваше право на власть, а только потому, что знаете: при монархии за массовые убийства никого не судили, не наказывали.

Никого не судили за убийство тысяч людей 9 января 1905 года, за расстрел ленских и Златоустовских рабочих, за избиение ваших товарищей очаковцев[88], за все те массовые убийства, которыми была так богата монархия.

Вот в этой атмосфере безнаказанных преступлений вы и воспитаны, эта кровавая отрыжка старины и звучит в вашем реве.

Точно так же, как монархическое правительство, избивая сотнями матросов, рабочих, крестьян, солдат, свидетельствовало о своем моральном бессилии, точно так же, грозным заявлением своим, моряки красного флота признаются, что, кроме штыка и пули, у них нет никаких средств для борьбы за социальную справедливость. Разумеется, убить проще, чем убедить, и это простое средство, как видно, очень понятно людям, воспитанным убийствами и обученным убийствам.

Я спрашиваю вас, господа моряки: где и в чем разница между звериной психологией монархии и вашей психологией? Монархисты были искренно убеждены, что счастие России возможно только при поголовном истреблении всех инакомыслящих, — вы думаете и действуете точно так же.

Повторяю: убить — проще и легче, чем убедить, но — разве не насилия над народом разрушили власть монархии? Из того, что вы разделите между собой материальные богатства России, она не станет ни богаче, ни счастливее, вы не будете лучше, человечнее. Новые формы жизни требуют нового духовного содержания — способны ли вы создать эту духовную новизну? Судя по вашим словам и действиям, вы еще не способны к этому, — вы, дикие русские люди, развращенные и замученные старой властью, вам она привила в плоть и кровь все свои страшные болезни и свой бессмысленный деспотизм.

Но, действуя так, как вы действуете, вы даете будущей реакции право ссылаться на вас, право сказать в лицо вам: при социалистическом правительстве, когда власть была в ваших руках, вы точно так же, как мы, до революции, массами убивали народ.

И этим вы дали нам право убивать вас.

Господа моряки! Надобно опомниться. Надо постараться быть людьми. Это — трудно, но — это необходимо.

XLVI

Моя статейка по поводу заявления группы матросов о их готовности к массовым убийствам безоружных и ни в чем не повинных людей вызвала со стороны единомышленников этой

группы несколько писем, в которых разные бесстыдники и безумцы пугают меня страшнейшими казнями.

Это — глупо, потому что угрозами нельзя заставить меня онеметь, и чем бы мне ни грозили, я всегда скажу, что скоты — суть скоты, а идиоты — суть идиоты и что путем убийств, насилий и тому подобных приемов нельзя добиться торжества социальной справедливости.

Но вот письмо, которое я считаю необходимым опубликовать как единственный человеческий отклик на мою статейку.

«Прочитавши Вашу статью «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь» № 51 (266), я хочу верить, что Вы далеко не всех носителей матросской шинели считаете разнузданными дикарями. Но позвольте спросить, что должен делать я при встрече с Вами или вообще с гражданином в штатском костюме, согласным с Вашим мнением и взглядом на моряков, и не только я, а сотни лиц, сейчас живущих в тесном кругу со мною, которых я отлично знаю, знаю, что в них, как и во мне, никогда даже не было мысли об убийстве и даже о малейшем озорстве. Как же мы будем смотреть в глаза — ведь мы носим матросские шинели.

Читая Вашу статью, я болел душою не только за себя, но и за тех моих товарищей, которые невинно пригвождены к позорному столбу общественного мнения. Я живу с ними, я знаю их, как самого себя, знаю как незаметных, но честных тружеников, чьи мысли не проникают на суд широкой публики, а потому я прошу Вас сказать о них Ваше громкое, задушевное слово, так как мои и их страдания — незаслуженные.

Матрос: подпись неразборчива.

Кронштадт, 27 марта с.г.»

Само собою разумеется, что я далек от желания обвинять в склонности к зверским убийствам всех матросов. Нет, я имел в виду только тех, которые заявили о себе убийствами в Севастополе и Евпатории, убийством Шингарева и Кокошкина, и ту группу, которая сочинила и подписала известное безумное заявление, опубликованное среди «Распоряжений и действий правительства».

XLVII

Я не стану отрицать, что на Руси, даже среди профессиональных воров и убийц, есть очень много «совестливых» людей — это всем известно; ограбит человек или убьет ближнего, а потом у него «душа скучает» — болит совесть. Очень многие добрые русские люди весьма утешаются этой «скукой души», — им кажется, что дрябленькая совестливость — признак духовного здоровья, тогда как, вероятнее всего, это просто признак болезненного безволия людей, которые, перед тем как убить, восхищаются скромной красотой полевого цветка и могут совмещать в себе искреннего революционера с не менее искренним провокатором, как это бывало у нас слишком часто.

Я думаю, что мы все — матросы и литераторы, «буржуа» и пролетарии — одинаково безвольны и трусливы, что отнюдь не мешает нам быть жесточайшими физическими и моральными истязателями друг друга. В доказательство этой печальной правды я предлагаю читателю сравнить психологию уличных самосудов с приемами газетной «полемики» — в обоих случаях — и в газетах и на улицах — он увидит одинаково слепых и бешеных людей, главная цель и высочайшее наслаждение которых в том, чтобы как можно больнее и жесточе нанести ближнему удар «в морду» или в душу.

Это — психика людей, которые все еще не могут забыть, что 56 лет тому назад они были рабами — и что каждый из них мог быть выпорот розгами, что они живут в стране, где безнаказанно возможны массовые погромы и убийства и где человек — ничего не стоит. Ничего.

Где нет уважения к человеку, там редко родятся и недолго живут люди, способные уважать самих себя.

А откуда оно явится, это уважение?

В «Правде» различные зверюшки науськивают пролетариат на интеллигенцию. В «Нашем веке» хитроумные мокрицы науськивают интеллигенцию на пролетариат. Это называется «классовой борьбой», несмотря на то что интеллигенция превосходно пролетаризирована и уже готова умирать голодной смертью вместе с пролетариатом. Не саботируй? Но моральное чувство интеллигента не может позволить ему работать с правительством, которое включает в число своих «действий и распоряжений» известную угрозу группы матросов и тому подобные гадости. Что бы и как бы красноречиво ни говорили мудрецы от большевизма о «саботаже» интеллигенции, — факт,

что русская революция погибает именно от недостатка интеллектуальных сил. В ней очень много болезненно-раздраженного чувства и не хватает культурно-воспитанного, грамотного разума.

Теперь большевики опомнились и зовут представителей интеллектуальной силы к совместной работе с ними. Это — поздно, а все-таки неплохо.

Но, — наверное, начнется некий ростовщичий торг, в котором одни будут много запрашивать, другие — понемножку уступать, а страна будет разрушаться все дальше, а народ станет развращаться все больше.

XLVIII

На днях какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на семнадцать лет общественных работ за то, что этот юноша откровенно и честно заявил: «Я не признаю советской власти!»

Не говоря о том, что людей, которые не признают авторитета власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов и что всех этих людей невозможно истребить, я нахожу полезным напомнить строгим, но неумным судьям о том, откуда явился этот честный юноша, столь нелепо — сурово осужденный ими.

Этот юноша — плоть от плоти тех прямодушных и бесстрашных людей, которые на протяжении десятилетий, живя в атмосфере полицейского надзора, шпионства и предательства, неустанно разрушали свинцовую тюрьму монархии, внося, с опасностью для свободы и жизни своей, в темные массы рабочих и крестьян идеи свободы, права, социализма. Этот юноша — духовный потомок людей, которые, будучи схвачены врагами и изнывая в тюрьмах, отказывались на допросах разговаривать с жандармами из презрения к победившему врагу.

Этот юноша воспитан высоким примером тех лучших русских людей, которые сотнями и тысячами погибали в ссылке, в тюрьмах, в каторге и на костях которых мы ныне собираемся строить новую Россию.

Это — романтик, идеалист, которому органически противна «реальная политика» насилия и обмана, политика фанатиков догмы, окруженных — по их же сознанию — жуликами и шарлатанами.

Чтобы воспитать мужественного и честного юношу в подлых условиях русской жизни, требовались огромная затрата духовных сил, почти целый век напряженной работы.

И вот теперь те люди, ради свободы которых совершалась эта работа, не понимая, что честный враг лучше подлого друга, осудили мужественного юношу за то, что он, — как это и следует, — не может и не хочет признавать власть, попирающую свободу. Есть очень умная басня о свинье под дубом вековым, — может быть, премудрые судьи найдут время прочитать ее? Им необходимо ознакомиться с моралью этой басни.

В Москве арестован И. Д. Сытин[89], человек, недавно отпраздновавший пятидесятилетний юбилей книгоиздательской деятельности. Он был министром народного просвещения гораздо более действительным и полезным для русской деревни, чем граф Дм. Толстой[90] и другие министры царя. Несомненно, что сотни миллионов сытинских календарей и листовок по крайней мере наполовину сокращали рецидивы безграмотности. Он всю жизнь стремился привлечь к своей работе лучшие силы русской интеллигенции, и не его вина, что он был плохо понят ею в своем искреннем желании «облагородить» сытинскую книгу. Все-таки он сумел привлечь к своему делу внимание и помощь таких людей, как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Н. А. Рубакин[91], Вахтеров[92], Клюжев[93], А. М. Калмыкова[94] и десятки других. Им основано книгоиздательство «Посредник», он дал Харьковскому Комитету грамотности мысль издать многотомную и полезную «Сельскохозяйственную энциклопедию». За пятьдесят лет Иван Сытин, самоучка, совершил огромную работу неоспоримого культурного значения. Во Франции, в Англии, странах «буржуазных», как это известно, Сытин был бы признан гениальным человеком и по смерти ему поставили бы памятник как другу и просветителю народа.

В «социалистической» России, «самой свободной стране мира», Сытина посадили в тюрьму, предварительно разрушив его огромное, превосходно налаженное технически дело и разорив старика. Конечно, было бы умнее и полезнее для советской власти привлечь Сытина как лучшего организатора книгоиздательской деятельности к работе по реставрации развалившегося книжного дела, но — об этом не догадались, а сочли нужным наградить редкого работника за труд его жизни — тюрьмой. Так матерая русская глупость заваливает затеями и нелепостями пути и тропы к возрождению страны, так советская власть расходует свою энергию на бессмысленное и пагубное и для нее самой, и для всей страны возбуждение злобы, ненависти и злорадства, с которым органические враги социализма отмечают каждый ложный шаг, каждую ошибку, все вольные и невольные грехи ее.

XLIX

Советская власть снова придушила несколько газет, враждебных ей.

Бесполезно говорить, что такой прием борьбы с врагами — нечестен, бесполезно напоминать, что при монархии порядочные люди единодушно считали закрытие газет делом подлым, бесполезно, ибо понятия о честности и нечестности, очевидно, вне компетенции и вне интересов власти, безумно уверенной, что она может создать новую государственность на основе старой — произволе и насилии.

Но вот какие — не новые, впрочем, — соображения вызывает новый акт государственной мудрости комиссаров.

Уничтожение неприятных органов гласности не может иметь практических последствий, желаемых властью, этим актом малодушия нельзя задержать рост настроений, враждебных г.г. комиссарам и революции.

Г.г. комиссары бьют с размаха, не разбирая, кто является противником только их безумств, кто — принципиальным врагом революции вообще. Хватая за горло первых, они ослабляют голос революционной демократии, голос чести и правды; зажимая рот вторым, они творят мучеников в среде врагов.

Украшая растущую реакцию ореолом мученичества, они насыщают ее притоком новой энергии и создают оправдание подлостям будущего, подлостям, которые обратятся не только против всей демократии, а главным образом против рабочего класса; он первый и всех дороже заплатит за глупости и ошибки своих вождей.

Итак, уничтожая свободу слова, г.г. комиссары не приобретут этим пользы для себя и наносят великий вред делу революции.

Чего они боятся, чего малодушничают? Реальные политики, способные, казалось бы, правильно учесть значение сил, творящих жизнь, неужели они думают, что сила слова может быть механически уничтожена ими? Люди, опытные в делах подпольных, они не могут не знать, что запрещенное слово приобретает особую убедительность.

И наконец, неужели они до такой степени потеряли веру в себя, что их страшит враг, говорящий открыто, полным голосом, и вот они пытаются заглушить его хоть немножко?

Гонимая идея, хотя бы и реакционная, приобретает некий оттенок благородства, возбуждает сочувствие.

Дайте свободу слову, как можно больше свободы, ибо, когда враги говорят много — они, в конце концов, говорят глупости, а это очень полезно.

L

Что даст нам Новый год? Все, что мы способны сделать.

Но для того, чтоб стать дееспособными людьми, необходимо верить, что эти бешеные, испачканные грязью и кровью дни — великие дни рождения Новой России.

Да, вот именно теперь, когда люди, оглушаемые проповедью равенства и братства, грабят на улицах ближнего своего, раздевая его догола, когда борьба против идола собственности не мешает людям зверски истязать и убивать мелких нарушителей закона о неприкосновенности собственности, когда «свободные граждане», занявшись торговлишкой, обирают друг друга безжалостно и бесстыдно, — в эти дни чудовищных противоречий рождается Новая Россия.

Тяжелые роды — в шуме разрушения старых форм жизни, среди гнилых обломков грязной казармы, в которой народ задыхался триста лет и которая воспитала его мелочно злобным и очень бесталанным.

В этом взрыве всей низости и пошлости, накопленной нами под свинцовым колпаком отвратительнейшей из монархий, в этом извержении грязного вулкана погибает старый русский человек, самовлюбленный лентяй и мечтатель, и на место его должен придти смелый и здоровый работник, строитель новой жизни.

Теперь русский человек не хорош, — не хорош больше, чем когда-либо. Не уверенный в прочности своих завоеваний, не испытывающий чувства радости о свободе, он ощетинился подленькой злостью и все еще пробует — действительно ли свободен он? Дорого стоят эти пробы и ему и объектам его опытов.

Но жизнь, суровая и безжалостная учительница наша, скоро захватит его цепью необходимостей, и они заставят его работать, заставят забыть в дружном труде все то мелочное, рабье и постыдное, что одолевает его сейчас.

Новые люди создаются новыми условиями бытия — новые условия создают новых людей.

В мир идет человек, не испытавший мучения рабства, не искаженный угнетением, — это будет человек, неспособный угнетать.

Будем верить, что этот человек почувствует культурное значение труда и полюбит его. Труд, совершаемый с любовью, — становится творчеством.

Только бы человек научился любить свою работу, — все остальное приложится.

LI

Известный русский исследователь племен Судана — Юнкер[95] говорил:

«Жалкие дикари с ужасом отворачиваются от человеческого мяса, тогда как народы, достигшие сравнительно значительного уровня культуры, впадают в людоедство».

Мы, русские, несомненно достигли «сравнительно значительного уровня культуры» — об этом лучше всего свидетельствует та жадность, с которой мы стремились и стремимся пожрать племена, политически враждебные нам.

Едва ли не с первых дней революции известная часть печати с яростью людоедов племени «ням-ням» набросилась на демократию и стала изо дня в день грызть головы солдат, крестьян, рабочих, свирепо обличая их в пристрастии к «семечкам», в отсутствии у них чувства любви к родине, сознания личной ответственности за судьбы России и во всех смертных грехах. Никто не станет отрицать, что лень, семечки, социальная тупость народа и все прочее, в чем упрекали его, — горькая правда, но — следовало «то же бы слово, да не так бы молвить». И следует помнить, что вообще народ не может быть лучше того, каков он есть, ибо о том, чтобы он был лучше — заботились мало.

Худосочное, истерическое раздражение, заменяющее у нас «священный гнев», пользовалось всем лексиконом оскорбительных слов и не считалось с последствиями, какие эти слова должны были неизбежно вызвать в сердцах судимых людей.

Казалось бы, что «культурные» руководители известных органов печати должны были понимать, какой превосходной помощью авантюристам служит яростное поношение демократии, как хорошо помогает это демагогам в их стремлении овладеть психологией масс.

Это простое соображение не пришло в головы мудрых политиков, и если ныне мы видим пред собою людей, совершенно утративших человеческий облик, — половину вины за это мрачное явление обязаны взять на себя те почтенные граждане, которые пытались привить людям культурные чувства и мысли путем словесных зуботычин и бичей.

Об этом поздно говорить? Нет, не поздно. Горло печати ненадолго зажато «новой» властью, которая так позорно пользуется старыми приемами удушения свободы слова. Скоро газеты снова заговорят, и, конечно, они должны будут сказать все, что необходимо знать всем нам в стыд и в поучение наше.

Но если мы, парадируя друг перед другом в плохоньких ризах бессильного гнева и злобненькой мести, снова будем продолжать

ядовитую работу возбуждения злых начал и темных чувств — мы должны заранее признать, что берем на себя ответственность за все, чем откликнется народ на оскорбления, бросаемые вслед ему.

Озлобление — неизбежно, однако — в нашей воле сделать его не столь отвратительным. Даже в кулачной драке есть свои законы приличия. Я знаю — смешно говорить на Святой Руси о рыцарском чувстве уважения к врагу, но я думаю, что будет очень полезно придать нашему худосочному гневу более приличные словесные формы.

Пусть каждый предоставит врагу своему право быть хуже его, и тогда наши словесные битвы приобретут больше силы, убедительности, даже красоты.

Откровенно говоря — я хотел бы сказать:

— Будьте человечнее в эти дни всеобщего озверения!

Но я знаю, что нет сердца, которое приняло бы эти слова. Ну, так будем хоть более тактичными и сдержанными, выражая свои мысли и ощущения, не надо забывать, что — в конце концов — народ учится у нас злости и ненависти…

LII

Известная часть нашей интеллигенции, изучая русское народное творчество по немецкой указке, тоже очень быстро дошла до славянофильства, панславизма, «мессианства», заразив вредной идеей русской самобытности другую часть мыслящих людей, которые, мысля по-европейски, чувствовали по-русски, и это привело их к сентиментальному полуобожанию «народа», воспитанного в рабстве, пьянстве, мрачных суевериях церкви и чуждого красивым мечтам интеллигенции.

Русский народ — в силу условий своего исторического развития — огромное дряблое тело, лишенное вкуса к государственному строительству и почти недоступное влиянию идей, способных облагородить волевые акты; русская интеллигенция — болезненно распухшая от обилия чужих мыслей голова, связанная с туловищем не крепким позвоночником единства желаний и целей, а какой-то еле различимой тоненькой нервной нитью.

Забитый до отупения жестокой действительностью, пьяненький, до отвращения терпеливый и по-своему хитренький, московский народ всегда был и остается — совершенно чужд психологически российскому интеллигенту, богатому книжными знаниями и нищему знанием русской действительности. Тело плотно лежит на земле, а голова выросла высоко в небеса —

издали же, как известно, все кажется лучше, чем вблизи.

Конечно, мы совершаем опыт социальной революции — занятие, весьма утешающее маньяков этой прекрасной идеи и очень полезное для жуликов. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг «Грабь награбленное!»

Грабят — изумительно, артистически; нет сомнения, что об этом процессе самоограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом.

Грабят и продают церкви, военные музеи, — продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, — грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать, в Феодосии солдаты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по 25 руб. за штуку. Это очень «самобытно», и мы можем гордиться — ничего подобного не было даже в эпоху Великой французской революции.

Честные люди, которых у нас всегда был недостаток, ныне почти совсем перевелись; недавно я слышал приглашение такого рода:

— Поезжайте к нам, товарищ, а то у нас, кроме трех рабочих, ни одного честного человека нет!

И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы.

Казалось бы, что эта курьезная и сентиментальная идея не должна путать трагическую игру народных комиссаров. Но «вожди народа» не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси.

Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира. Разве это не «мессианство» во сто лошадиных сил?

А западный мир суров и недоверчив, он совершенно лишен сентиментализма. В этом мире дело оценки человека стоит очень просто: вы любите, вы умеете работать? Если так — вы человек, необходимый миру, вы именно тот человек, силою которого творится все ценное и прекрасное. Вы не любите, не умеете работать? Тогда, при всех иных ваших качествах, как бы они ни были превосходны, вы — лишний человек в мастерской мира. Вот и все.

А так как россияне работать не любят и не умеют, и

западноевропейский мир это их свойство знает очень хорошо, то — нам будет очень худо, хуже, чем мы ожидаем…

Наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны. Мы видим, что среди служителей советской власти то и дело ловят взяточников, спекулянтов, жуликов, а честные, умеющие работать люди, чтоб не умереть от голода, торгуют на улицах газетами, занимаются физическим трудом, увеличивая массы безработных.

Это — кошмар, это чисто русская нелепость, и не грех сказать — это идиотизм!

Все условия действительности повелительно диктуют необходимость объединения демократии, для всякого разумного человека ясно, что только единство демократии позволит спасти революцию от полной гибели, поможет ей одолеть внутреннего врага и бороться с внешним. Но советская власть этого не понимает, будучи занята исключительно делом собственного спасения от гибели, неизбежной для нее.

Устремив взоры свои в даль грядущего, она забывает о том, что будущее создается из настоящего. В настоящем страна имеет дезорганизованный рабочий класс, истребляемый в междоусобной бойне, разрушенную до основания промышленность, ощипанное догола государство, отданное на поток и разграбление людям звериных инстинктов.

Власть бессильна в борьбе с этими людьми, бессильна, сколько бы она ни расстреливала «нечаянно» людей, ни в чем не повинных.

И она будет бессильна в этой борьбе до поры, пока не решится привлечь к делу строительства жизни все интеллектуальные силы русской демократии.

LIII

В десятках писем, отовсюду присылаемых мне, наиболее интересными являются письма женщин. Посвященные впечатлениям бурной деятельности, эти письма насыщены тоской, гневом, негодованием; но чувство беспомощности и апатии звучит в них реже, чем в письмах мужчин, каждое женское письмо — крик души, терзаемой многообразными пытками суровых дней.

Прочитав их, ощущаешь сердцем, что все они написаны как

бы единой женщиной — матерью жизни, той, из лона которой пришли в мир все племена и народы, той, которая родила и родит всех гениев, той, которая помогла мужчине переродить грубо зоологический позыв животного в нежный и возвышенный экстаз любви. Эти письма — гневный крик существа, которое вызвало к жизни поэзию, служило и служит возбудителем искусств и которое вечно страдает неутомимою жаждою красоты, любви, радости.

Женщина, в моем представлении, прежде всего — мать, хотя бы физически она была девушкой; она — мать не только по чувству к своим детям, но также — к мужу, любовнику и вообще к человеку, исшедшему в мир от нее и через нее. Существо, непрерывно пополняющее убыль, наносимую жизни смертью и разрушением, она должна и более глубоко и более остро, чем я, мужчина, чувствовать ненависть и отвращение ко всему, что усиливает работу смерти и разрушения. Такова, на мой взгляд, психофизиология женщины.

«Идеализм!»

Может быть. Но если это идеализм — он из круга тех верований, которые органически свойственны мне и тоже являются, очевидно, основою моей психофизиологии. Во всяком случае, эти мнения я не вчера выдумал, они со мною от юности, но — меня не смутило бы, если бы они явились у меня и вчера, ибо я нахожу, что социальный идеализм как нельзя более необходим именно в эпоху революции — я подразумеваю, конечно, тот здоровый, облагораживающий чувство идеализм, без которого революция потеряла бы свою силу делать человека более социально сознательным, чем он был до революции, потеряла бы свое моральное и эстетическое оправдание. Без участия этого идеализма революция — и вся жизнь — превращается в сухую, арифметическую задачу распределения материальных благ, задачу, решение которой требует слепой жестокости, потоков крови и, возбуждая звериные инстинкты, убивает насмерть социальный дух человека, как мы видим это в наши дни.

Письма, о которых я веду речь, переполнены воплями матери о гибели людей, о том, что среди них растет жестокость, о том, что люди становятся все более дикими, подлыми, бесчестными, о том, что нравы со страшной быстротою грубеют. Эти письма наполнены проклятиями большевикам, мужикам, рабочим — женщина призывает на головы их все козни, бичи и ужасы.

«Перевешать, перестрелять, уничтожить» — вот чего требует женщина, мать и нянька всех героев и святых, гениев и преступников, подлецов и честных людей, мать Христа, а также

Иуды, Ивана Грозного и бесстыдного Макиавелли[96], кроткого и милого святого Франциска из Ассизи, мрачного врага радостей Савонаролы[97], мать короля Филиппа II[98], который радостно смеялся только однажды в жизни, когда он получил известие об успехе Варфоломеевской ночи — о величайшем из преступлений Екатерины Медичи[99], которая тоже рождена женщиной, была матерью и по-своему искренно заботилась о благе множества людей.

Отрицая жестокость, органически ненавидя смерть и разрушение, женщина-мать, возбудитель лучших чувств мужчины, объект его восхищения, источник жизни и поэзии — кричит:

— Перебить, перевешать, расстрелять…

Тут есть страшное и мрачное противоречие, в корне способное уничтожить тот ореол, которым окружила женщину история. Может быть, основа его в том, что женщина не сознает своей великой культурной роли, что она не чувствует своих творческих сил и слишком поддается отчаянию, вызванному в ее душе матери хаосом революционных дней?

Я не стану рассматривать этот вопрос, но я позволю себе указать на следующее:

Вы, женщины, прекрасно знаете, что роды всегда сопровождаются муками, что новый человек рождается в крови — такова злая ирония слепой природы. Вы по-звериному кричите в момент родов и — счастливо, улыбкою Богоматери улыбаетесь, прижимая новорожденного к груди.

Я не могу упрекать вас за ваш звериный крик — мне понятны муки, вызвавшие этот вопль нестерпимой боли — я сам почти издыхаю от этой муки, хотя я не женщина.

И я всем сердцем, всей душой хочу, чтобы вы скорее улыбались улыбкою Богоматери, прижимая к груди своей новорожденного человека России!

Вы, женщины, можете ускорить тяжкий процесс родов, вы можете сократить ужас мук, переживаемых страною, для этого вам нужно вспомнить, что вы — матери и неисчерпаемая живая сила любви — в ваших сердцах. Не поддавайтесь злым внушениям жизни, станьте выше фактов. Это требует силы — вы найдете ее, теперь, в России, вы свободны более, чем где-либо в мире, — что мешает вам проявить ваше лучшее, ваше материнское?

Надо вспомнить, что революция не только ряд жестокостей и преступлений, но также ряд подвигов мужества, чести, самозабвения, бескорыстия. Вы не видите этого? Но, быть может, вы только потому не видите, что ослеплены ненавистью и враждой?

А если, присмотревшись внимательнее, вы все-таки не найдете ничего светлого и бодрого в хаосе и буре наших дней, — создайте сами светлое и доброе! Вы — свободны, вы сильны обаянием вашей любви, вы можете заставить нас, мужчин, быть более людьми, более детьми.

Сорокалетние гражданские войны XVII века вызвали во Франции отвратительное одичание нравов, развили хвастливую жестокость — вспомните, какое благодетельное, оздоровляющее значение имела тогда для всей страны Юлия Рекамье[100]. Таких примеров влияния женщины на развитие человеческих чувств и мнений вы можете вспомнить десятки. Вам, матери, надлежит быть неумеренными в любви к человеку и сдержанными в ненависти к нему.

Большевики? Представьте себе, — ведь это тоже люди, как все мы, они рождены женщинами, звериного в них не больше, чем в каждом из нас. Лучшие из них — превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история, а ваши дети, внуки будут и восхищаться их энергией. Их действия подлежат жесточайшей критике, даже злому осмеянию, — большевики награждены всем этим в степени, быть может, большей, чем они заслуживают. Их окружает атмосфера удушливой ненависти врагов, и еще хуже, еще пагубнее для них — лицемерная, подленькая дружба тех людей, которые, пробиваясь ко власти лисой, пользуются ею, как волки, и — будем надеяться! — издохнут, как собаки.

Я защищаю большевиков? Нет, я, по мере моего разумения, борюсь против них, но — я защищаю людей, искренность убеждений которых я знаю, личная честность которых мне известна точно так же, как известна искренность их желания добра народу. Я знаю, что они производят жесточайший научный опыт над живым телом России, я умею ненавидеть, но предпочитаю быть справедливым.

О, да, они наделали много грубейших, мрачных ошибок, — Бог тоже ошибся, сделав всех нас глупее, чем следовало, природа тоже во многом ошиблась — с точки зрения наших желаний, противных ее целям или бесцельности ее. Но, если вам угодно, то и о большевиках можно сказать нечто доброе, — я скажу, что, не зная, к каким результатам приведет нас, в конце концов, политическая деятельность их, психологически — большевики уже оказали русскому народу услугу, сдвинув всю его массу с мертвой точки и возбудив во всей массе активное отношение к действительности, отношение, без которого наша страна погибла бы.

Она не погибнет теперь, ибо народ — ожил, и в нем зреют

новые силы, для которых не страшны ни безумия политических новаторов, слишком фанатизированных, ни жадность иностранных грабителей, слишком уверенных в своей непобедимости.

Русь не погибнет, если вы, матери, жертвенно вольете все прекрасное и нежное ваших душ в кровавый и грязный хаос этих дней.

Перестаньте кричать, ненавидя и презирая, кричите любя, — вам ли, рождающим страдая, не понимать удивительной силы сострадания к человеку! У вас есть все, для того чтобы смягчать и очеловечивать — в сердцах матерей всегда больше солнечного тепла, чем в сердце мужчины. Вы только вспомните этих проклятых мужчин — большевиков и прочих, — одичавших, огрубевших в работе разрушения гнилой храмины старого строя, вспомните их, когда они были новорожденными младенцами, — как всем младенцам, им тоже нужно было вытирать носы, и беспомощны они были, как все младенцы. И — разве есть человек, который не был бы обязан вам лучшими днями своей жизни?

Вам, матери, надо вспомнить все то, что вносит в жизнь ваша любовь — это избавит вас от мучительного гнета ненависти, которая убивает величайшее из чувств — чувство матери.

Разве вы пробовали — пробуете — смягчать жестокость обостренной борьбы, разве вы пытались пересоздать нравы, облагородить отношения, пробуждающие ваш справедливый гнев? Вы увлекаетесь бесплодной ненавистью ко взрослым, но, может быть, полезнее, достойнее было бы предохранить юношество и детей от растлевающего влияния современности? Вы тратите ваше внимание и чувство на подбор фактов, которые, действительно, порочат человека, возбуждают отвращение к нему, но — не лучше ли будет, если вы поищете или попытаетесь своей силою создать явления, возвышающие человека в его и ваших глазах?

Физически матери людского мира, вы могли бы быть и духовными матерями его — ведь если вы порицаете, значит — вы стоите на высоте, позволяющей вам видеть больше, чем видят другие. Поднимайте же и других на эту высоту!

Россия судорожно бьется в страшных муках родов, — вы хотите, чтобы скорее родилось новое, прекрасное, доброе, красивое, человеческое?

Позвольте же сказать вам, матери, что злость и ненависть — плохие акушерки.

LIV

В «Правде» напечатано:

«Горький заговорил языком врагов рабочего класса».

Это — неправда. Обращаясь к наиболее сознательным представителям рабочего класса, я говорю:

Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе надежды, не осуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачную реакцию.

Далее в «Правде» напечатано:

«Всякая революция, в процессе своего поступательного развития, неизбежно включает и ряд отрицательных явлений, которые неизбежно связаны с ломкой старого, тысячелетнего государственного уклада. Молодой богатырь, творя новую жизнь, задевает своими мускулистыми руками чужое ветхое благополучие, и мещане, как раз те, о которых писал Горький, начинают вопить о гибели Русского государства и культуры».

Я не могу считать «неизбежными» такие факты, как расхищение национального имущества в Зимнем, Гатчинском и других дворцах. Я не понимаю — какую связь с «ломкой тысячелетнего государственного уклада» имеет разгром Малого театра в Москве и воровство в уборной знаменитой артистки нашей, М. Н. Ермоловой?

Не желая перечислять известные акты бессмысленных погромов и грабежей, я утверждаю, что ответственность за этот позор, творимый хулиганами, падает и на пролетариат, очевидно бессильный истребить хулиганство в своей среде.

Далее: «молодой богатырь, творя новую жизнь», делает все более невозможным книгопечатание, ибо есть типографии, где наборщики вырабатывают только 38 % детской нормы, установленной союзом печатников.

Пролетариат, являясь количественно слабосильным среди стомиллионного деревенского полуграмотного населения России, должен понимать, как важно для него возможное удешевление книги и расширение книгопечатания. Он этого не понимает на свою беду.

Он должен также понимать, что сидит на штыках, а это — как известно — не очень прочный трон.

И вообще — «отрицательных явлений» много, — а где же положительные? Они не заметны, если не считать «декретов» Ленина и Троцкого, но я сомневаюсь, чтоб пролетариат принимал сознательное участие в творчестве этих «декретов». Нет, если бы пролетариат вполне сознательно относился к этому бумажному творчеству, — оно было бы невозможным в том виде, в каком

дано.

Статья в «Правде» заключается нижеследующим лирическим вопросом:

«Когда на светлом празднике народов в одном братском порыве сольются прежние невольные враги, на этом пиршестве мира будет ли желанным гостем Горький, так поспешно ушедший из рядов подлинной революционной демократии?»

Разумеется, ни автор статьи, ни я не доживем до «светлого праздника» — далеко до него: пройдут десятилетия упорной, будничной, культурной работы для создания этого праздника.

А на празднике, где будет торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы и, как раньше, как всегда, — личность человека останется угнетенной, — мне на этом «празднике» делать нечего, и для меня это — не праздник.

В чьих бы руках ни была власть — за мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически.

И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти, — недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего.

LV

Затратив огромное количество энергии, рабочий класс создал свою интеллигенцию — маленьких Бебелей[101], которым принадлежит роль истинных вождей рабочего класса, искренних выразителей его материальных и духовных интересов.

Даже в тяжких условиях полицейского государства рабочая интеллигенция, не щадя себя, ежедневно рискуя своей свободой, умела с честью и успехом бороться за торжество своих идей, неуклонно внося в темную рабочую массу свет социального самосознания, указывая ей пути к свободе и культуре.

Когда-нибудь беспристрастный голос истории расскажет миру о том, как велика, героична и успешна была работа пролетарской интеллигенции за время с начала 90-х годов до начала войны.

Окаянная война истребила десятки тысяч лучших рабочих, заменив их у станков людьми, которые шли работать «на оборону» для того, чтоб избежать воинской повинности. Все это люди, чуждые пролетарской психологии, политически не развитые, бессознательные и лишенные естественного для пролетария тяготения к творчеству новой культуры, — они озабочены только мещанским желанием устроить свое личное

благополучие как можно скорей и во что бы то ни стало. Это люди, органически неспособные принять и воплощать в жизнь идеи чистого социализма.

И вот остаток рабочей интеллигенции, не истребленный войною и междоусобицей, очутился в тесном окружении массы, людей психологически чужих, людей, которые говорят на языке пролетария, но не умеют чувствовать по-пролетарски, людей, чьи настроения, желания и действия обрекают лучший, верхний слой рабочего класса на позор и уничтожение.

Раздраженные инстинкты этой темной массы нашли выразителей своего зоологического анархизма, и эти вожди взбунтовавшихся мещан ныне, как мы видим, проводят в жизнь нищенские идеи Прудона[102], но не Маркса, развивают пугачевщину, а не социализм и всячески пропагандируют всеобщее равнение на моральную и материальную бедность.

Говорить об этом — тяжело и больно, но необходимо говорить, потому что за все грехи и безобразия, творимые силой, чуждой сознательному пролетариату, — отвечать будет именно он.

Недавно представители одного из местных заводских комитетов сказали директору завода о своих же рабочих:

— Удивляемся, как вы могли ладить с этой безумной шайкой!

Есть заводы, на которых рабочие начинают растаскивать и продавать медные части машин, есть очень много фактов, которые свидетельствуют о самой дикой анархии среди рабочей массы. Я знаю, что есть явления и другого порядка: например, на одном заводе рабочие выкупили материал для работ, употребив на это свой заработок. Но факты этого рода считаются единицами, фактов противоположного характера — сотни.

«Новый» рабочий — человек, чуждый промышленности и не понимающий ее культурного значения в нашей мужицкой стороне. Я уверен, что сознательный рабочий не может сочувствовать фактам такого рода, как арест Софьи Владимировны Паниной. В ее «Народном доме» на Лиговке учились думать и чувствовать сотни пролетариев, точно так же, как и в нижегородском «Народном доме», построенном при ее помощи. Вся жизнь этого просвещенного человека была посвящена культурной деятельности среди рабочих. И вот она сидит в тюрьме. Еще Тургенев указал, что благодарность никогда не встречается с добрым делом, и не о благодарности я говорю, а о том, что надо уметь оценивать полезный труд.

Рабочая интеллигенция должна обладать этим уменьем.

Бывший министр А. И. Коновалов, человек безукоризненно честный, выстроил у себя на фабрике в Вичуге «Народный дом»,

который является образцовым зданием этого типа. Коновалов — в тюрьме. Ответственность за эти нелепые аресты со временем будет возложена на совесть рабочего класса.

В среду лиц, якобы «выражающих волю революционного пролетариата», введено множество разного рода мошенников, бывших холопов Охранного отделения и авантюристов; лирически настроенный, но бестолковый А. В. Луначарский навязывает пролетариату в качестве поэта Ясинского[103], писателя скверной репутации. Это значит — пачкать знамена рабочего класса, развращать пролетариат.

Кадет хотят вышвырнуть из Учредительного собрания. Не говоря о том, что значительная часть населения страны желает, чтобы именно кадеты выражали ее мнение и ее волю в Учредительном собрании, и потому изгнание кадет есть насилие над волей сотен тысяч людей, — не говоря уже об этом позоре, я укажу, что партия к.-д. объединяет наиболее культурных людей страны, наиболее умелых работников во всех областях умственного труда. В высшей степени полезно иметь пред собою умного и стойкого врага, — хороший враг воспитывает своего противника, делая его умней и сильней.

Рабочая интеллигенция должна понять это. И — еще раз — она должна помнить, что все, что творится теперь — творится от ее имени; к ней, к ее разуму и совести история предъявит свой суровый приговор. Не все же только политика, надобно сохранить немножко совести и других человеческих чувств.

LVI

Не так давно меня обвинили в том, что я «продался немцам» и «предаю Россию», теперь обвиняют в том, что «продался кадетам» и «изменяю делу рабочего класса».

Лично меня эти обвинения не задевают, не волнуют, но — наводят на невеселые и нелестные мысли о моральности чувств обвинителей, о их социальном самосознании.

Послушайте, господа, а не слишком ли легко вы бросаете в лица друг друга все эти дрянненькие обвинения в предательстве, измене, в нравственном шатании? Ведь если верить вам — вся Россия населена людьми, которые только тем и озабочены, чтобы распродать ее, только о том и думают, чтобы предать друг друга!

Я понимаю: обилие провокаторов и авантюристов в революционном движении должно было воспитать у вас естественное чувство недоверия друг к другу и вообще к человеку; я понимаю, что этот позорный факт должен был

отравить болью острого подозрения даже очень здоровых людей.

Но все же, бросая друг другу столь беззаботно обвинения в предательстве, измене, корыстолюбии, лицемерии, вы, очевидно, представляете себе всю Россию как страну, сплошь населенную бесчестными и подлыми людьми, а ведь вы тоже — русские.

Как видите — это весьма забавно, но еще более — это опасно, ибо постепенно и незаметно те, кто играет в эту грязную игру, могут внушить сами себе, что, действительно, вся Русь — страна людей бесчестных и продажных, а потому — «и мы не лыком шиты»!

Вы подумайте: революция у нас делается то на японские, то на германские деньги, контрреволюция — на деньги кадет и англичан, а где же русское бескорыстие, где наша прославленная совестливость, наш идеализм, наши героические легенды о честных борцах за свободу, наше донкихотство и все другие хорошие свойства русского народа, так громко прославленные и устной, и письменной русской литературой?

Все это — ложь?

Поймите, — обвиняя друг друга в подлостях, вы обвиняете самих себя, всю нацию.

Читаешь злое письмо обвинителя, и невольно вспоминаются слова одного орловского мужичка:

«У нас — всё пьяное село; один праведник, да и тот — дурачок».

И вспоминаешь то красивое, законное возмущение, которое я наблюдал у рабочих в то время, когда черносотенное «Русское знамя»[104] обвинило «Речь»[105] в каком-то прикосновении к деньгам финнов или эскимосов:

— «Нечего сказать негодяям, вот они и говорят самое гадкое, что могут выдумать».

Мне кажется, что я пишу достаточно просто, понятно и что смыслящие рабочие не должны обвинять меня в «измене делу пролетариата». Я считаю рабочий класс мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране, и я всей душой желаю русскому рабочему количественного и качественного развития. Я неоднократно говорил, что промышленность — одна из основ культуры, что развитие промышленности необходимо для спасения страны, для ее европеизации, что фабрично-заводской рабочий не только физическая, но и духовная сила, не только исполнитель чужой воли, но человек, воплощающий в жизнь свою волю, свой разум. Он не так зависит от стихийных сил природы, как зависит от них крестьянин, тяжкий труд которого невидим, не остается в веках. Все, что крестьянин вырабатывает, он продает и съедает, его энергия целиком поглощается землей, тогда как труд

рабочего остается на земле, украшая ее и способствуя дальнейшему подчинению сил природы интересам человека.

В этом различии трудовой деятельности коренится глубокое различие между душою крестьянина и рабочего, и я смотрю на сознательного рабочего как на аристократа демократии.

Именно: аристократия среди демократии — вот какова роль рабочего в нашей мужицкой стране, вот чем должен чувствовать себя рабочий. К сожалению, он этого не чувствует пока. Ясно, как высока моя оценка роли рабочего класса в развитии культуры России, и у меня нет основания изменять эту оценку. Кроме того, у меня есть любовь к рабочему человеку, есть ощущение кровной моей связи с ним, любовь и уважение к его великому труду. И наконец — я люблю Россию.

Народные комиссары презрительно усмехаются: о конечно! Но это меня не убивает. Да, я мучительно и тревожно люблю Россию, люблю русский народ.

Мы, русские, — народ, еще не работавший свободно, не успевший развить все свои силы, все способности, и когда я думаю, что революция даст нам возможность свободной работы, всестороннего творчества, — мое сердце наполняется великой надеждой и радостью даже в эти проклятые дни, залитые кровью и вином.

Отсюда начинается линия моего решительного и непримиримого расхождения с безумной деятельностью народных комиссаров.

Я считаю идейный максимализм очень полезным для расхлябанной русской души — он должен воспитать в ней великие и смелые запросы, вызвать давно необходимую дееспособность, активизм, развить в этой вялой душе инициативу и вообще — оформить и оживить ее.

Но практический максимализм анархо-коммунистов и фантазеров из Смольного — пагубен для России и прежде всего — для русского рабочего класса.

Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть.

Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции.

В современных условиях русской жизни нет места для

социальной революции, ибо нельзя же, по щучьему веленью, сделать социалистами 85 % крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов инородцев-кочевников.

От этого безумнейшего опыта прежде всего пострадает рабочий класс, ибо он — передовой отряд революции, и он первый будет истреблен в гражданской войне. А если будет разбит и уничтожен рабочий класс, значит, будут уничтожены лучшие силы и надежды страны.

Вот я и говорю, обращаясь к рабочим, сознающим свою культурную роль в стране: политически грамотный пролетарий должен вдумчиво проверить свое отношение к правительству народных комиссаров, должен очень осторожно отнестись к их социальному творчеству.

Мое же мнение таково: народные комиссары разрушают и губят рабочий класс России, они страшно и нелепо осложняют рабочее движение; направляя его за пределы разума, они создают неотразимо тяжкие условия для всей будущей работы пролетариата и для всего прогресса страны.

Мне безразлично, как меня назовут за это мое мнение о «правительстве» экспериментаторов и фантазеров, но судьбы рабочего класса и России — не безразличны для меня.

И пока я могу, я буду твердить русскому пролетарию:

— Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!

LVII

«Война, бесспорно, сыграла огромную роль в развитии нашей революции. Война материально дезорганизовала абсолютизм, внесла разложение в армию, привила дерзость массовому обывателю. Но, к счастью для нас, война не создала революции, к счастью, потому что революция, созданная войною, есть бессильная революция. Она возникает на почве исключительных условий, опирается на внешнюю силу — и, в конце концов, оказывается неспособной удержать захваченные позиции».

Эти умные и даже пророческие слова сказаны в 1905 году Троцким; я взял их из его книги «Наша революция», где они красуются на 5 странице. С той поры прошло немало времени, и теперь Троцкий, вероятно, думает иначе — во всяком случае, он уже, наверное, не решится сказать, что «революция, созданная войною, есть бессильная революция».

А между тем эти слова не потеряли своего смысла и правды — текущие события всею силою своею, всем своим ходом подтверждают правду этих слов.

Война — 14—17-го годов — дала власть в руки пролетариата, именно — дала, никто не скажет, что пролетариат сам, своею силою взял в руки власть — она попала в руки его потому, что защитник царя, солдат, замученный трехлетней войною, отказался от защиты интересов Романова, которые он так ревностно отстаивал в 1906 году, истребляя революционный пролетариат. Необходимо помнить, что революция начата солдатами Петроградского гарнизона и что, когда эти солдаты, сняв шинели, разойдутся по деревням, — пролетариат останется в одиночестве, не очень удобном для него.

Было бы наивно и смешно требовать от солдата, вновь преобразившегося в крестьянина, чтоб он принял как религию для себя идеализм пролетария и чтоб он внедрял в своем деревенском быту пролетарский социализм.

Мужик за время войны, а солдат в течение революции кое-что нажил, и оба они хорошо знают, что на Руси всего лучше обеспечивают свободу человека — деньги. Попробуйте разрушить это убеждение или хотя бы поколебать его.

Надо помнить, что в 905-м году пролетариат был и количественно и качественно сильнее, чем теперь, и что тогда промышленность не была разрушена до основания.

Революция, созданная войной, неизбежно окажется бессильной, если вместо того, чтобы посвятить всю свою энергию социальному творчеству, пролетариат, повинуясь своим вождям, станет с корнем уничтожать «буржуазные» технические организации, механикою которых он должен овладеть и работу которых ему надлежит контролировать.

Революция погибнет от внутреннего истощения, если пролетариат, подчиняясь фанатической непримиримости народных комиссаров, станет все более и более углублять свой разрыв с демократией. Идеология пролетариата не есть идеология классового эгоизма, лучшие учителя его, Маркс, Каутский и др., возлагают на его честную силу обязанность освободить всех людей от социального и экономического рабства.

Жизнью мира движет социальный идеализм — великая мечта о братстве всех со всеми — думает ли пролетариат, что он осуществляет именно эту мечту, насилуя своих идейных врагов? Социальная борьба не есть кровавый мордобой, как учат русского рабочего его испуганные вожди.

Революция — великое, честное дело, дело, необходимое для возрождения нашего, а не бессмысленные погромы, разрушающие

богатство нации. Революция окажется бессильною и погибнет, если мы не внесем в нее все лучшее, что есть в наших сердцах, и если не уничтожим или хотя бы не убавим жестокость, злобу, которые, опьяняя массы, порочат русского рабочего-революционера.

LVIII

Всякое правительство — как бы оно себя ни именовало — стремится не только «управлять» волею народных масс, но и воспитывать эту волю сообразно своим принципам и целям. Наиболее демагогические и ловкие правительства обычно прикрашивают свое стремление управлять народной волей и воспитывать ее словами: «Мы выражаем волю народа».

Это, разумеется, неискренние слова, ибо, в конце концов, интеллектуальная сила правительства одолевает инстинкты масс, если же это не удается правящим органам, они употребляют для подавления враждебной их целям народной воли физическую силу.

Резолюцией, заранее удуманной в кабинете, или штыком и пулей, но правительство всегда и неизбежно стремится овладеть волею масс, убедить народ в том, что оно ведет его по самому правильному пути к счастью.

Эта политика является неизбежной обязанностью всякого правительства: будучи уверенным, что оно разум народа, оно принуждается позицией своей внушать народу убеждение в том, что он обладает самым умным и честным правительством, искренно преданным интересам народа.

Народные комиссары стремятся именно к этой цели, не стесняясь — как не стесняется никакое правительство — расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага.

Но, воспитывая доверие к себе, народные комиссары, вообще плохо знающие «русскую стихию», совершенно не принимают в расчет ту страшную психическую атмосферу, которая создана бесплодными мучениями почти четырехлетней войны и благодаря которой «русская стихия» — психология русской массы — сделалась еще более темной, хлесткой и озлобленной.

Г.г. народные комиссары совершенно не понимают того факта, что когда они возглашают лозунги «социальной» революции — духовно и физически измученный народ переводит эти лозунги на свой язык несколькими краткими словами:

— Громи, грабь, разрушай…

И разрушает редкие гнезда сельскохозяйственной культуры в России, разрушает города Персии, ее виноградники, фруктовые сады, даже оросительную систему, разрушает все и всюду.

А когда народные комиссары слишком красноречиво и панически кричат о необходимости борьбы с «буржуем», темная масса понимает это как прямой призыв к убийствам, что она доказала.

Говоря, что народные комиссары «не понимают», какое эхо будят в народе их истерические вопли о назревающей контрреволюции, я сознательно делаю допущение, несколько объясняющее безумный образ их действий, но отнюдь не оправдываю их. Если они влезли в «правительство», они должны знать, кем и при каких условиях они управляют.

Народ изболел, исстрадался, измучен неописуемо, полон чувства мести, злобы, ненависти, и эти чувства всё растут, соответственно силе своей организуя волю народа.

Считают ли себя г.г. народные комиссары призванными выражать разрушительные стремления этой больной воли? Или они считают себя в состоянии оздоровить и организовать эту волю? Достаточно ли сильны и свободны они для выполнения второй, настоятельно необходимой работы?

Этот вопрос они должны бы поставить пред собою со всей прямотой и решительностью честных людей. Но нет никаких оснований думать, что они способны поставить на суд разума и совести своей этот вопрос.

Окруженные взволнованной русской стихией, они ослепли интеллектуально и морально и уже теперь являются бессильной жертвой в лапах измученного прошлым и возбужденного ими зверя.

LIX

Гражданин Мих. Надеждин спрашивает меня в «Красной газете»[106]:

«Скажите, — при крепостном праве, когда мужиков сотнями запарывали насмерть, — была ли жива тогда совесть?.. И чья?»

Да, в ту проклятую пору, вместе с тем, как расширялось физическое право насилия над человеком, вспыхнул и ярко осветил душный мрак русской жизни прекрасный пламень совести. Вероятно, Мих. Надеждину памятны имена Радищева и Пушкина, Герцена и Чернышевского, Белинского, Некрасова, огромного созвездия талантливейших русских людей, которые создали исключительную по оригинальности своей литературу,

исключительную потому, что вся она целиком и насквозь была посвящена вопросам совести, вопросам социальной справедливости. Именно эта литература воспитала революционную энергию нашей демократической интеллигенции, влиянию этой литературы русский рабочий обязан своим социальным идеализмом.

Так что «совесть вколачивалась» не только «палками и нагайками», как утверждает М. Надеждин, она была в душе народа, как утверждали это Толстые, Тургеневы, Григоровичи и целый ряд других людей, которым надо верить, — они знали народ и по-своему, любили его, даже несколько прикрашивая и преувеличивая его достоинства.

Гр. Надеждин тоже, очевидно, любит свой народ, той несколько сентиментальной и льстивой любовью, которая вообще свойственна российским народолюбцам. Ныне эта любовь у нас еще более испорчена бесшабашной и отвратительной демагогией.

Надеждин упрекает меня:

«Непростительно именно вам, Алексей Максимович, как учителю народа, вышедшему из народа, взваливать такие обвинения на своих же братьев».

Я имею право говорить обидную и горькую правду о народе, и я убежден, что будет лучше для народа, если эту правду о нем скажу я первый, а не те враги народа, которые теперь молчат да копят месть и злобу для того, чтобы в удобный для них момент плюнуть этой злостью в лицо народа, как они плевали после 905 и 6-го годов.

Нельзя полагать, что народ свят и праведен только потому, что он — мученик, даже в первые века христианства было много великомучеников по глупости. И не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда «народ» завоевал право физического насилия над человеком, — он стал мучителем не менее зверским и жестоким, чем его бывшие мучители.

Способ рассуждений Мих. Надеждина вводит его в безвыходный круг: так как народ мучили — он тоже имеет право мучить. Но ведь этим он дает право отметить ему за муки — мукой, за насилие — насилием. Как же выйти из этого круга?

Нет, лучше будем говорить правду — она целебна, и только она может вылечить нас.

Нехорош народ, который, видя, что его соседи по деревне голодают, не продает им хлеба, а варит из него кумышку и ханжу, потому что это выгоднее. Нельзя похвалить народ, который постановляет: всякий односельчанин, кто продает те или иные продукты не в своей деревне, а в соседней, — подлежит аресту на три месяца.

Нет, будем говорить просто и прямо: большевистская демагогия, раскаляя эгоистические инстинкты мужика, гасит зародыши его социальной совести.

Я понимаю, что «Красной газете», «Правде» и другим, иже с ними, неприятно слышать это, особенно неприятно теперь, когда большевизм постепенно кладет руль направо, стремясь опереться на «деревенскую бедноту» и забывая об интересах рабочего класса.

Напомню Мих. Надеждину несколько фраз московской речи Ленина: «Заключая мир, мы предаем эстляндских рабочих, украинский пролетариат и т. д. Но неужели же, если гибнут наши товарищи, то мы должны гибнуть вместе с ними? Если отряды наших товарищей окружены значительными силами врагов и не могут сопротивляться, то мы тоже должны бороться? Нет и нет!»

Наверное, Мих. Надеждин согласится, что это не политика рабочего класса, а древнерусская, удельная, истинно суздальская политика.

Ленин говорит:

«Мартов дрожащим, надрывающимся голосом звал нас к борьбе. Нет, он звал нас не к борьбе, он звал нас к смерти, он звал нас умирать за Россию и революцию. Большинство съезда — крестьянская масса — полторы тысячи человек (рабочих на съезде незначительное количество) — была совершенно равнодушна к призывам Мартова. Она не хотела умирать за Россию и революцию, она хотела жить, чтобы заключить мир».

В этих словах полное подчинение всего «народа» и — смертный приговор рабочему классу.

Вполне достойный конец отвратительной демагогии, развратившей «народ».

LX

Право критики налагает обязанность беспощадно критиковать не только действия врагов, но и недостатки друзей. И морально и тактически для развития в человеке чувства социальной справедливости гораздо лучше, если мы сами честно сознаемся в наших недостатках и ошибках раньше, чем успеет злорадно указать на них враг наш. Конечно, и в этом случае враг не преминет торжествующе воскликнуть:

— Ага!

Но злость торжества будет притуплена и яд злости бессилен.

Не следует забывать, что враги часто бывают правы, осуждая наших друзей, а правда усиливает удар врага, — сказать

печальную и обидную правду о друзьях раньше, чем скажет ее враг, значит обеспечить нападение врага.

Птенцы из большевиков почти ежедневно говорят мне, что я «откололся» от «народа». Я никогда не чувствовал себя «приколотым» к народу настолько, чтоб не замечать его недостатков, и так как я не лезу в начальство — у меня нет желания замалчивать эти недостатки и распевать темной массе русского народа демагогические акафисты.

Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожными — проще, легче, безответственней; — если я это вижу, я должен сказать это.

Если я вижу, что политика советской власти «глубоко национальна» — как это хронически признают и враги большевиков, — а национализм большевистской политики выражается именно «в равнении на бедность и ничтожество», — я обязан с горечью признать: враги — правы, большевизм — национальное несчастие, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов.

Мы все немножко побаиваемся критики, а самокритика — внушает нам почти отвращение.

Оправдывать у нас любят не меньше, чем осуждать, но в этой любви к оправданию гораздо больше заботы о себе, а не о ближнем, — в ней всегда заметно желание оправдать свой личный будущий грех; — очень предусмотрительно, однако — скверно.

Любимым героем русской жизни и литературы является несчастненький и жалкий неудачник, герои — не удаются у нас; народ любит арестантов, когда их гонят на каторгу, и очень охотно помогает сильному человеку своей среды надеть халат и кандалы преступника.

Сильного — не любят на Руси, и отчасти поэтому сильный человек не живуч у нас.

Не любит его жизнь, не любит литература, всячески исхищряясь запутать крепкую волю в противоречиях, загнать ее в темный угол неразрешимого, вообще — низвести пониже, в уровень с позорными условиями жизни, низвести и сломать. Ищут и любят не борца, не строителя новых форм жизни, а — праведника, который взял бы на себя гнусненькие грешки будничных людей.

Из этого материала — из деревенского темного и дряблого народа, — фантазеры и книжники хотят создать новое, социалистическое государство — новое не только по формам, но

и по существу, по духу. Ясно, что строители должны работать применительно к особенностям материала, а главнейшей и наиболее неустранимой особенностью деревенского люда является свирепый собственнический индивидуализм, который неизбежно должен будет объявить жестокую войну социалистическим стремлениям рабочего класса.

Парижскую коммуну зарезали крестьяне — вот что нужно помнить рабочему.

Вожди его забыли об этом.

LXI

На днях я получил нижеприведенное письмо — очень рекомендую его вниманию товарищей, убежденных, что они строят «социалистическое отечество»:

«В последней Вашей статье Вы пишите, что очень много денег привозят солдаты в деревню и Вы удивляетесь, откуда у них такой копитал. А вот Вам пример, мой брат солдат на войне не был, службу нес легкую в Петрограде, а потом устроился в охране на железной дороге, и там проходили поезда со спиртом, который он с другими должен был охранять. И вот прослужив там два месяца он привез домой 5 тысяч руб. А заработал он честно: когда поезд стоял они открывали вагон сверлили бочку (а может быть как-нибудь по-другому делали), только набирали в бутылки спирту (он был не один) опять запирали вагон, пломбировщик пломбировал вагон, и все было в порядке. Деньги делили по старшинству, и так было месяца 2–3. Вернулся он домой в неделе назад, положил деньги в банк, все были так довольны, все соседи наперерыв приглашали его к себе и сосватал он себе богатую невесту, ведь деньга деньгу любет. *Ни один человек не осудил его, только мне сестре его простой крестьянке стыдно и больно, что у меня брат — вор, казнокрад, а таких как он сотни тысяч.*

Крестьянка N губ., N-ro уезда, а деревни не пишу».

«Простая крестьянка» — честный человек, — деревню «не пишет». Очевидно, потому, что боится, как бы соседи не оторвали ей голову.

Товарищи строители социалистического рая на Руси! «Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, не жнут, но собирают в житницы своя», воззрите и скажите по совести — это ли птицы райские? Не черное ли это воронье, и не заклюет ли оно насмерть городской пролетариат?

Знаю, что письмо «простой крестьянки» не может поколебать каменную уверенность «немедленных социалистов» в их правоте.

Ее не поколеблют и такие свидетельства, как сценка Ив. Вольного, напечатанная в 12 № «Дела народа»[107].

Ив. Вольный — сам крестьянин, участник событий 5—6-го годов, человек битый, мученый, человек, которого конвоировали в тюрьму его школьные товарищи. Он много претерпел, но сохранил живую, страстно любящую душу и умел беззлобно, правдиво написать мрачную эпопею черносотенного движения в деревне после 906-го года. Это — честный, правдивый свидетель, и я знаю, как тяжело ему говорить горькую правду о своих людях, — сердце его горит искренней любовью к ним. Это — человек, которому и можно и должно верить.

А действительность, которая всегда правдивее и талантливее всех, даже и гениальных писателей, рисует русскую деревню наших дней — еще более жестоко.

Я особенно рекомендую эти источники для понимания современной жизни г. Горлову из «Правды», — он очень горячий человек и, будучи — вероятно — человеком честным, должен хорошо знать, о чем говорит, что защищает. Он не знает этого.

У него нет никакого права болтать ерунду о моих якобы «презрительных плевках в лицо народа». То, что ему угодно называть «презрительными плевками», есть мое убеждение, сложившееся десятками лет. Если г. Горлов грамотен, он обязан знать, что я никогда не восхищался русской деревней и не могу восхищаться «деревенской беднотой», органически враждебной психике, идеям и целям городского пролетариата.

Разумеется, вполне естественно, что, отталкивая все далее от себя рабочий класс, «немедленные социалисты» должны опереться на деревню, они первые и заревут от ее медвежьих объятий; заревут горькими слезами и многочисленные Горловы, которым необходимо учиться и слишком рано учить.

Г. Зиновьев[108] сделал мне «вызов» на словесный и публичный поединок. Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева — я не оратор, не люблю публичных выступлений, недостаточно ловок для того, чтоб состязаться в красноречии с профессиональными демагогами.

Да и зачем необходим этот поединок? Я — пишу, всякий грамотный человек имеет возможность читать мои статьи, так же, как имеет право не понимать их или делать вид, будто не понимает.

Г. Зиновьев утверждает, что, осуждая творимые народом факты жестокости, грубости и т. п., я тем самым «чешу пятки буржуазии».

Выходка грубая, неумная, но — ничего иного от г.г. Зиновьевых и нельзя ждать. Однако он напрасно умолчал перед

лицом рабочих, что, осуждая некоторые их действия, я постоянно говорю — что:

рабочих развращают демагоги, подобные Зиновьеву;

что бесшабашная демагогия большевизма, возбуждая темные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих людей в родной среде;

и что советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу.

Вот о чем должен бы рассказать г. Зиновьев рабочим.

LXII

Уже не раз ко мне обращались представители домашней прислуги с просьбами «похлопотать» о разрешении печатать в газетах объявления о спросе на труд и предложения труда.

Вот одна из таких просьб, изложенная в письме:

«Постарайтесь разъяснить теперешней власти, чтобы она избрала какую ей угодно газету и разрешила бы публикации, по которым мы могли бы найти себе занятие, как это было прежде. Прежде, бывало, возьмешь газету и можешь выбрать по своей специальности предложение, а теперь обобьешь пороги всех союзов и видишь подлые улыбки и грубые шутки, а работы нет. Пусть советская власть выбирает газету для публикаций о труде. Публикации принесут ей большие доходы, и это тем важно для нее, ведь у совета денег нет».

Не знаю, верно ли, что ищущие труда встречают в правлениях профессиональных союзов «подлые улыбки», но невольно, — ввиду единодушия жалоб, — приходится верить, что «грубые шутки» и вообще грубость уже вошли в привычку новой бюрократии. Об этом немало писали «буржуи», но буржуям не принято верить даже и тогда, когда они вполне искренно утверждают, что все брюнеты — черноволосы. Однако начинают жаловаться рабочие:

«Я, — пишет один из них, — имею перед революцией не меньше заслуг, чем те мальчики на Гороховой, которые лают на меня собаками. Я большевик с 904-го года, а не с октября, я два года семь месяцев торчал в тюрьмах, отбыл пять лет голодной ссылки. По должности председателя волостного комитета я прихожу к начальству с мужиками, на нас орут, и мне стыдно взглянуть в глаза товарищей-крестьян, вдруг они спросят меня: «Чего же это кричат, как будто при царе?» Действуйте на этих людей как-нибудь, чтобы они опамятовались!»

Рабочий, арестованный за то, что упрекнул пьяного

красногвардейца в грубости, был обвинен в «контрреволюционном настроении», и на допросе ему, по его словам, «совали в рыло револьвертом, приговаривая: отвечай! Я им ответил: товарищи мы али нет? А они — таких по зубам нужно бить товарищей. Позвольте заявить, что по зубам били достаточно в старину, а если и нынче так, то — не стоит овчинка выделки».

Такие обвинения раздаются все чаще, и я не вижу, чем могут оправдать себя люди, вызывающие столь постыдные обвинения и жалобы. При старом режиме презрение к человеку рабочего класса объяснялось психологией свиньи, пожравшей правду; после 905-го года свинья хрюкала особенно грубо и нагло: чувствуя себя победившей, она торжествовала.

Но в наши дни — победителей нет, хотя мы и деремся непрерывно, торжествовать некому и — над кем издеваться? Неужели мы издеваемся друг над другом только по привычке, потому, что над нами издевались в свое время?

«Я не отвечаю за армию!» — ответил один солдат на известные упреки штатской улицы.

Представители власти, юнцы, вчерашние политические блондины, сегодня интенсивно рыжие, не могут воспользоваться ответом солдата для своего оправдания. Ведь каждый из них, наверное, считает себя носителем новой, социально гуманной, справедливой власти, и каждый обязан отвечать и лично за себя, и за всю армию строителей новой жизни. Ведь таково их идеальное назначение, не правда ли? Ведь это именно они сменили старых сеятелей «разумного, доброго, вечного»? Что же именно нового, много ли разумного и доброго вносят они непосредственно в быт, в тяжкую жизнь голодных буден?

Если у них нет ума — то, может быть, найдется немножко совести, и она заставит их подумать над обвинениями, выдвинутыми против них со стороны представителей того класса, интересам которого они якобы служат.

С жадностью голодного — психологически очень понятной — «Петроградская правда» отмечает каждое доброе слово, сказанное по адресу «большевиков». Говорит ли о них Изгоев — с иронией иезуита — или Клара Цеткин, со множеством пояснений, уничтожающих хвалу, «Правда» немедленно перепечатывает на своих страницах эти сомнительные похвалы, очевидно, полагая, что они касаются и ее. Перепечатала она и несколько слов из моего ответа на письма женщин и сопроводила их таким вопросом: «Не согласится ли теперь Горький, что многие из «мыслей», высказывающихся им ранее, были действительно «несвоевременными»?»

Нет, не соглашусь. Все то, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевиков, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс, — все это и многое другое, сказанное мною о «большевизме», — остается в полной силе.

LXIII

Равноправие евреев — одно из прекрасных достижений нашей революции. Признав еврея равноправным русскому, мы сняли с нашей совести позорное, кровавое и грязное пятно.

В этом поступке нет ничего, что давало бы нам право гордиться им. Уж только потому, что еврейство боролось за политическую свободу России гораздо более честно и энергично, чем делали это многие русские люди, потому, что евреи давали гораздо меньше ренегатов и провокаторов, — мы не должны и не можем считаться «благодетелями евреев», как называют себя в письмах ко мне некоторые «добродушные» и «мягкосердечные» русские люди.

Кстати: изумительно бесстыдно лаются эти добродушные, мягкосердечные люди!

Освободив еврейство от «черты оседлости», из постыдного для нас «плена ограничений», мы дали нашей родине возможность использовать энергию людей, которые умеют работать лучше нас, а всем известно, что мы очень нуждаемся в людях, любящих труд.

Гордиться нам нечем, но — мы могли бы радоваться тому, что наконец догадались сделать дело хорошее и морально и практически.

Однако радости по этому поводу — не чувствуется; вероятно, потому, что нам некогда радоваться — все мы страшно заняты «высокой политикой», смысл которой всего лучше изложен в песенке каких-то антропофагов:

Тигры любят мармелад,
Люди ближнего едят.
Ах, какая благодать
Кости ближнего глодать!

Радости — не чувствуется, но антисемитизм жив и понемножку, осторожно снова поднимает свою гнусную голову, шипит, клевещет, брызжет ядовитой слюной ненависти.

В чем дело? А в том, видите ли, что среди анархически настроенных большевиков оказалось два еврея. Кажется, даже три. Некоторые насчитывают семерых и убеждены, что эти семеро Сампсонов[109] разрушат вдребезги 170-миллионную храмину России.

Это было бы очень смешно и глупо, если б не было подло.

Грозный еврейский Бог спасал целый город грешников[110] за то, что среди них оказался один праведник; люди, верующие в кроткого Христа, полагают, что за грехи двух или семерых большевиков должен страдать весь еврейский народ.

Рассуждая так, следует признать, что за Ленина, чистокровного русского грешника, должны отвечать все уроженцы Симбирской губернии, а также и смежных с нею.

Евреев значительно больше среди меньшевиков, но мои корреспонденты, притворяясь людьми невежественными, утверждают, что все евреи — анархисты.

Это очень дрянное обобщение. Я убежден, я знаю, что в массе своей евреи — к изумлению моему — обнаруживают более разумной любви к России, чем многие русские.

Этого не замечают, хотя это очень резко бросается в глаза, если взять статьи евреев-журналистов.

В «Речи», газете, которую можно не любить, но тем не менее очень почтенной газете, работает немало евреев. «Новое время», в числе сотрудников коего тоже есть евреи, еще не так давно называло «Речь» «еврейской газетой».

Сотрудники «Речи» совершенно лишены даже и тени симпатии к большевикам.

Есть еще тысячи доказательств в пользу того, что уравнение «еврей = большевик» — глупое уравнение, вызываемое зоологическими инстинктами раздраженных россиян.

Я, разумеется, не стану приводить эти доказательства — честным людям они не нужны, для бесчестных — неубедительны.

Идиотизм — болезнь, которую нельзя излечить внушением. Для больного этой неизлечимой болезнью ясно: так как среди евреев оказалось семь с половиной большевиков, значит — во всем виноват еврейский народ. А посему…

А посему честный и здоровый русский человек снова начинает чувствовать тревогу и мучительный стыд за Русь, за русского головотяпа, который в трудный день жизни непременно ищет врага своего где-то вне себя, а не в бездне своей глупости.

Надеюсь, что мои многочисленные корреспонденты удовлетворены этим ответом по «еврейскому вопросу».

И добавлю — для меня нет больше такого вопроса.

Я не верю в успех клеветнической пропаганды

антисемитизма. И я верю в разум русского народа, в его совесть, в искренность его стремления к свободе, исключающей всякое насилие над человеком. Верю, что «все минется, одна правда останется».

LXIV

Мне прислана пачка юдофобских прокламаций, одна из них — издана «Центральным Комитетом Союза христианских социалистов» в Москве 6 мая, другая — «Петроградским отделом» того же «Союза». Не знаю, существует ли такой «Союз», но если существует, то члены его уж, конечно, не христиане, не социалисты, а — обыкновенные русские люди, из тех одичавших бездельников и лентяев, которые, будучи сами виноваты во всех своих несчастиях, бесстыдно обвиняют за свое ничтожество и неумение жить всех, кого угодно — только не себя. Что они — не христиане и — тем более — не социалисты, об этом свидетельствует их подленькая прокламация.

Вот ее начальные фразы:

«Антисемиты всех стран, всех народов и всех партий, объединяйтесь! «Союз христианских социалистов» обращается ко всем русским гражданам с призывом очистить себя от той скверны иудейской, которой насквозь пропитана наша родина — от самых верхов и до народных низин. Особенно поражена этой скверной наша интеллигенция, наше так называемое образованное общество, воспитанное на иудейской прессе, проповедующей ложные принципы равенства и братства всех народов и племен. Но каждый разумный человек знает, что ни равенства, ни братства нет и не может быть, а следовательно, не может быть и одинакового отношения ко всем людям, ко всем национальностям».

Не правда ли — это истинные последователи любвеобильного Христа, для которого не было «ни эллина, ни иудея», который сам, вместе с первоапостолами, был иудеем, и страдал, и принял мучительную смерть за человека вообще, за людей всех рас и племен? И — не правда ли — хороши эти «социалисты», считающие принцип равенства — «ложным» и — «скверной иудейской»?

Глупые и жалкие люди, несчастные люди! Утверждая, что русские граждане «насквозь — от верхов до низин» — пропитаны «иудейской скверной», т. е. «принципами равенства и братства всех племен и народов» — священными принципами, которые проповедуются почти всеми религиями и величайшими

мыслителями всех веков и стран, — авторы прокламаций обнаруживают слишком лестное, но — увы! — совершенно неверное представление о русских гражданах. Пример — сами граждане — члены «Союза христианских социалистов», они не только не «пропитаны насквозь» высокими принципами равенства, но просто, как большинство граждан русских, не имеют никакого представления о планетарной, общекультурной ценности этих принципов.

Далее они пишут:

«Арийская раса — тип положительный как в физическом, так и в нравственном отношении, иудеи — тип отрицательный, стоящий на низшей ступени человеческого развития. Если наша интеллигенция, наша «соль земли русской», поймет это и уразумеет, то отбросит, как старую, негодную ветошь, затрепанные фразы о равенстве иудеев с нами и о необходимости одинакового отношения как к этим париям человечества, так и к остальным людям».

Вы подумайте — «и к остальным людям», кроме евреев, нельзя относиться одинаково! Кто же эти остальные люди? Может быть, германцы, представители «арийской расы», — «тип положительный в нравственном отношении», что не мешает этому «типу» расстреливать массами безоружных русских мужиков, а также и евреев? А может быть, кроткие славяне, те русские люди, которые ныне так бессмысленно и жестоко грабят и убивают друг друга?

Или эти «остальные люди» — вообще все люди, способные так или иначе помешать спокойному развитию волчьего патриотизма авторов прокламации? Ибо — нет сомнения, что прокламация исходит из кругов русских хищников, которые привыкли наживать сто на сто, сдирая со своего горячо любимого ими народа по семи шкур.

Конечно, «остальные люди» — невольная обмолвка, подсказанная «христианам-социалистам» их социальным одичанием, а также моральной и всяческой безграмотностью. Однако местами эта безграмотность очень подозрительна, а, пожалуй, и сугубо фальшива.

Петроградская прокламация адресована «рабочим, солдатам, крестьянам» и составлена в явном расчете на темноту ума и чувства адресатов.

Она спрашивает:

«Много ли вы знаете евреев — кузнецов, дворников, молотобойцев, хлебопашцев, прачек, кухарок, судомоек? Видели ли вы нищих евреев, выпрашивающих гроши на улицах городов? Нет».

Разумеется — нет, никто не видел в Петрограде и Москве евреев-дворников, ибо полицейская должность эта уже никоим образом не могла быть занимаема евреями, ясно — почему. В Одессе же большинство ломовых извозчиков — евреи; 92 проц. евреев, живущих в черте оседлости, — ремесленники и бедняки.

Совершенно верно, что вне черты оседлости евреев-нищих никто не видел. Это объясняется прекрасным развитием у еврейства общественной помощи, тем, что полиция не позволила бы еврею нищенствовать, и — думаю — тем еще, что православные и любвеобильные христиане, наверное, совали бы в руку нищего еврея не хлеб, а камень или змею. Как все это лживо, как отвратителен этот антисемитизм ленивой клячи!

Когда читаешь все эти глупые мерзости, подсказанные русским головотяпам бессильной и гаденькой злобой, становится так стыдно и страшно за Русь, страну Льва Толстого, создавшую самую гуманную, самую человечную литературу мира.

Третья прокламация является провокационной выдумкой еще более жульнической и глупой.

Она озаглавлена: «Секретно. Председателям отделов “Всемирного Израильского Союза”». И в ней «председателям» рекомендуется соблюдать всяческую «осторожность». «Мы твердо и неуклонно должны идти по пути разрушения чужих алтарей и тронов», «мы заставим Россию стать на колени», «мы делаем все, чтобы возвеличить великий еврейский народ», но — не торопясь, соблюдая «осторожность».

Кого хотят идиоты напугать этими выдумками? Хоть бы то сообразили, что ведь циркуляр такой исключительной важности, адресованный «Председателям Всемирного Израильского Союза», был бы напечатан на еврейском языке, а не по-русски. Или хоть бы догадались добавить — «перевод с еврейского».

Как все это бездарно и постыдно!

Остальные прокламации не остроумнее цитированных.

Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, — это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда, любовью «делать» и способностью любоваться делом. Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться. И в деле личной наживы, и на арене общественного служения еврей вносит больше страсти, чем многоглаголивый россиянин, и, в конце концов, какую бы чепуху ни пороли антисемиты, они не любят еврея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их.

Теперь, когда мы со страшною очевидностью убедились в

том, до какой степени монархия сгноила нас, обессилила, духовно оскопила, — мы должны особенно ценить умелых работников, людей инициативы, влюбленных в труд, а мы — дико орем: «Бей их — потому что они лучше нас!»

Только поэтому, господа антисемиты, только поэтому, что бы вы ни говорили!

Прокламации, конечно, уделяют немало внимания таким евреям, как Зиновьев, Володарский и др. — евреям, которые упрямо забывают, что их бестактности и глупости служат материалом для обвинительного акта против всех евреев вообще. Ну что же! «В семье не без урода», — но не вся же семья состоит из уродов, и, конечно, есть тысячи евреев, которые ненавидят Володарских ненавистью, вероятно, столь же яростной, как и русские антисемиты. Это, разумеется, не убедит антисемитов в том, что не все евреи одинаковы и что классовая вражда среди еврейства не менее остра, как и среди других наций; это не убедит их — ибо им необходимо быть убежденными в противном.

Но, может быть, тем, кого хотят натравить, как собак, на еврейство, может быть, им — пора уже возмутиться этой новой попыткой организации погромов? Может быть, они найдут необходимым и своевременным сказать авторам прокламаций, «Каморрам[111] Народной Расправы» и другим организациям темных авантюристов:

— Прочь! Хозяева страны — мы, мы завоевали ей свободу, не скрывая своих лиц, и мы не допустим каких-то темных людей управлять нашим разумом, нашей волей. Прочь!

ПРИМЕЧАНИЯ

В. И. Ленин
(Первая редакция)

Впервые в отрывках под заглавием «Горький о Ленине» напечатано в газете «Известия ВЦИК» (1924. № 84. 11 апреля). Затем с небольшими сокращениями под заглавием «Владимир Ленин» — в журнале «Русский современник» (1924. № 1 (май)). Первые отдельные издания: Максим Горький. Ленин: (Личные воспоминания). М., 1924; М. Горький. Владимир Ленин. Л., 1924. Сразу же очерк был переведен на иностранные языки и напечатан в Англии, Франции, США и Германии. Полностью первая редакция появилась под заглавием «В. И. Ленин» в книге: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин: Kniga, 1927, а также в 19-м томе Собрания сочинений Горького, вышедшем в том же издательстве. Без изменения первая редакция была перепечатана в 20-м томе Собрания сочинений Горького, выходившем в это же время в России в Государственном издательстве (ГИЗ).

В 1930 году в связи с подготовкой нового Собрания сочинений Горького к нему обратился с письмом заведующий ГИЗ А. Б. Халатов: «Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и проредактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно мы относимся к каждому слову о Ленине, и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с этой настоятельной просьбой».

С учетом этих замечаний, а также в результате знакомства с уже изданными к 1930 году воспоминаниями о Ленине других лиц, Горький и приступил к работе над второй редакцией очерка, вышедшей в 1931 году отдельным изданием в Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ). Этот текст впоследствии и стал каноническим.

Вторая редакция существенно шире первой. Образ вождя Октябрьской революции, насыщенный многими бытовыми подробностями, оказался человечнее и ближе пониманию простого читателя. В то же время исчезла угловатость, «графичность» первой редакции, написанной по недавним впечатлениям (Горький покинул Россию в 1921 году во многом из-за несогласия с политикой большевиков и лично Ленина).

Но вместе с тем во второй редакции нетрудно обнаружить стремление писателя приспособить образ вождя к духу нового

времени. Так, очевидно в угоду Сталину, вставлены слова Ленина о Троцком: «А все-таки он не наш! С нами, а — не наш…» С другой стороны, снятым оказалось сравнение Ленина с Петром I, заострявшее исторический вопрос о русской революции в первой редакции. Появились в новой редакции и покаянные нотки, говорившие о том, что Горький либо пересмотрел свои взгляды 1917–1918 годов, отчетливо выраженные в цикле «Несвоевременные мысли», либо в начале 1930-х счел их действительно «несвоевременными». Оставив во второй редакции место, где он писал о несогласии с политикой Ленина в отношении научной и художественной интеллигенции, этой «горсти соли», брошенной «в пресное болото» русской жизни, Горький тем не менее посчитал нужным покаяться: «Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть». Однако — не вычеркнул.

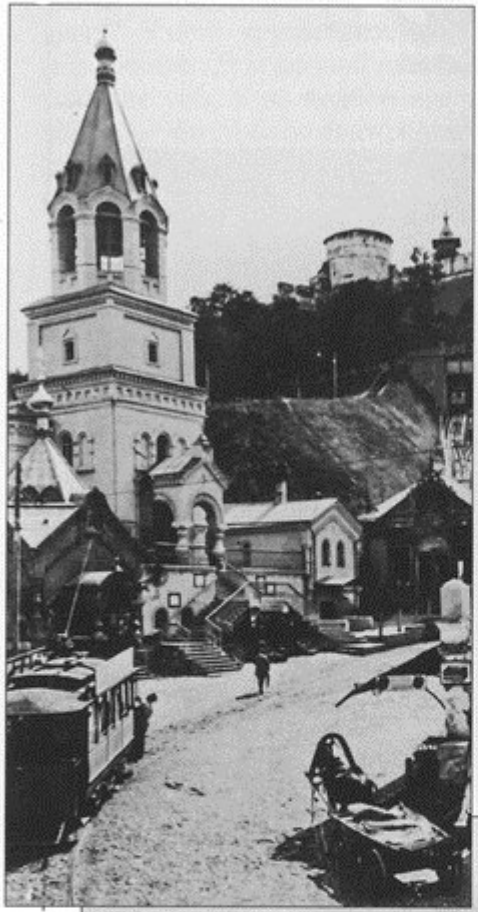
В настоящем издании напечатана полностью первая редакция очерка Горького о Ленине. Ее все же следует рассматривать не как текст, отражающий последнюю волю писателя, но как исторический документ.

Несвоевременные мысли

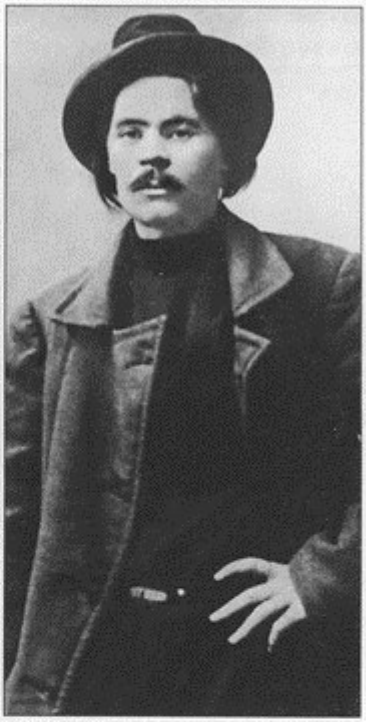
«Несвоевременные мысли» — цикл статей М. Горького, печатавшихся в 1917–1918 годах в газете «Новая жизнь». Статьи за 1917 год он затем перепечатал в книге «Революция и культура» (Берлин, 1918), часть из них вместе со статьями 1918 года вошла в книгу «Несвоевременные мысли» (Пг., 1918). Наконец Горький подготовил к печати новое, наиболее полное издание «Несвоевременных мыслей», специфическим образом организованное — без дат и с нарушением хронологической последовательности. При жизни писателя это издание не вышло, но именно его принято рассматривать как выражение последней авторской воли.

Печатается по изд.: М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре / Вступ. ст., публ., подгот. текста и коммент. И. Вайнберга. М.: Советский писатель, 1990.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

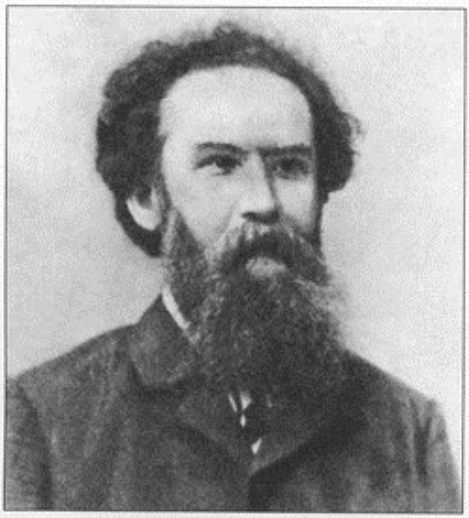


Максим Горький. 1898

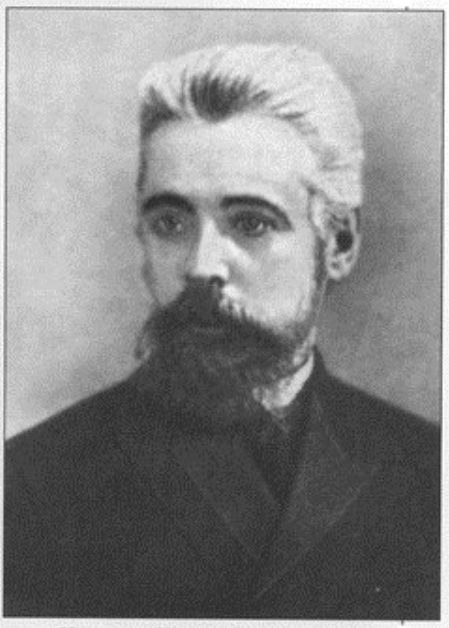


Нижний Новгород

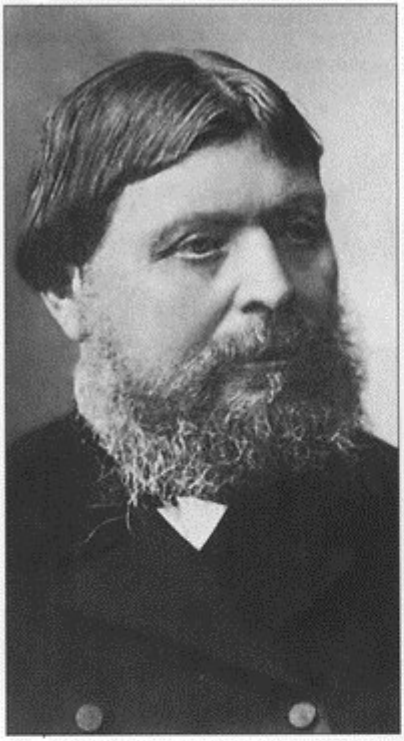
Владимир Короленко



Дмитрий Мамин-Сибиряк



Николай Гарин-Михайловский



Николай Бугров

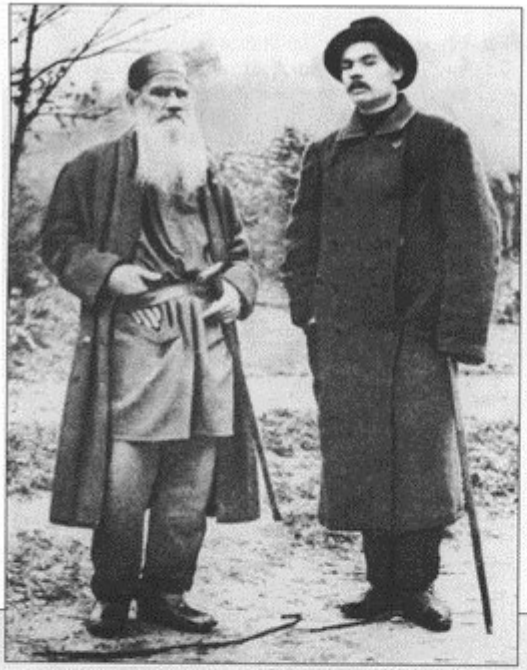
Савва Морозов

Хитров рынок

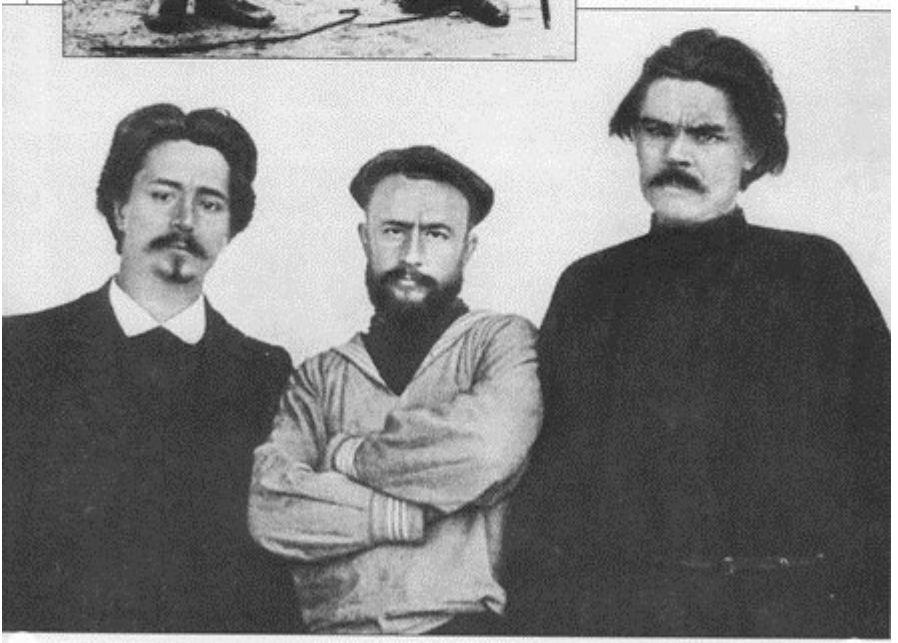
На паперти

Разгрузка баржи

С Чеховым. Ялта, 1900

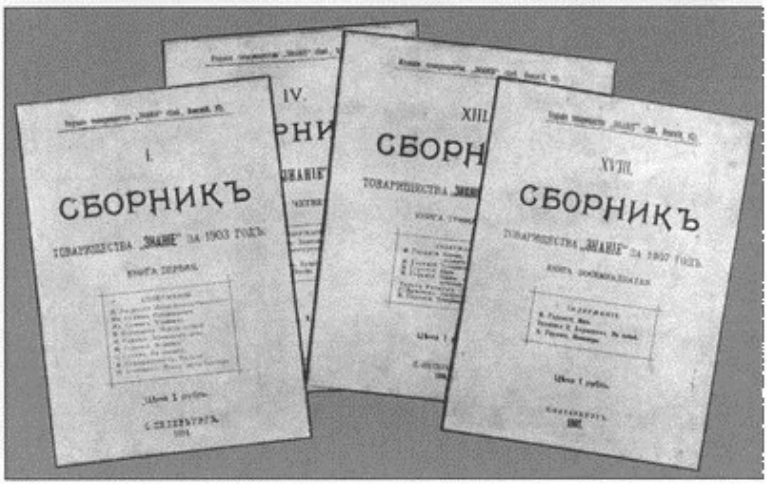


Со Львом Толстым.
Ясная Поляна, 1900

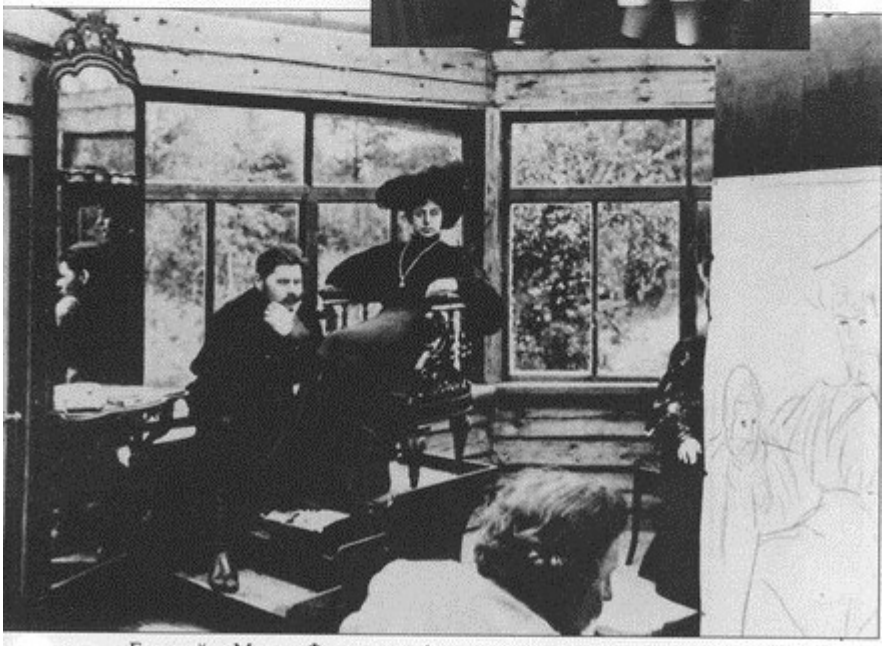


С Леонидом Андреевым и Леопольдом Сулержицким. Ялта, 1901

Товарищество «Знание». Слева направо: С.Скиталец, Л.Андреев, М.Горький, Н.Телешов, Ф.Шаляпин, И.Бунин, Е.Чириков. Москва, 1902



С Екатериной Павловной Пешковой и детьми Максимом и Катей. Н.Новгород, 1903

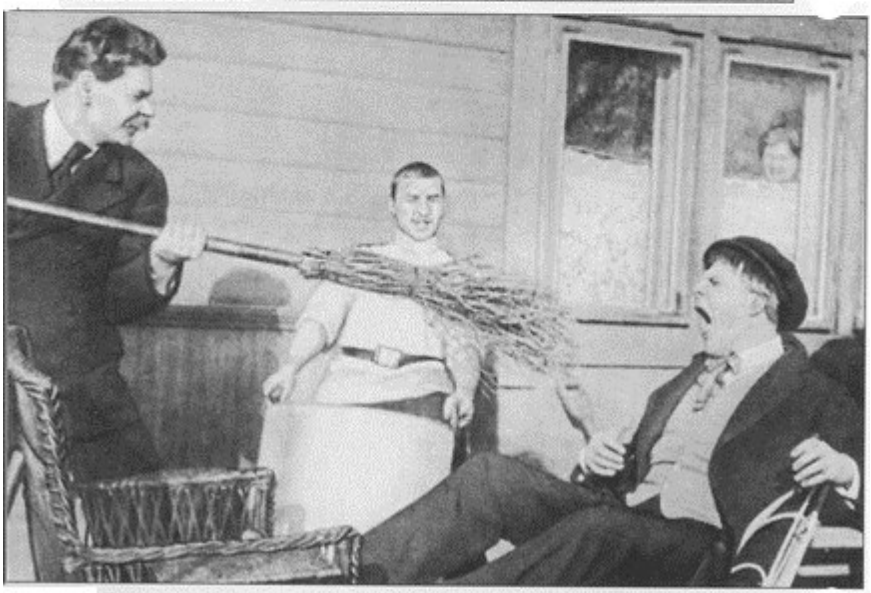


Горький и Мария Федоровна Андреева позируют художнику Репину. Куоккала, 1905

С Константином Станиславским и актрисой Московского Художественного театра Марией Лилиной. Ялта, 1900

М.Горький среди участников спектакля «Мещане» в Московском Художественном театре. 1902

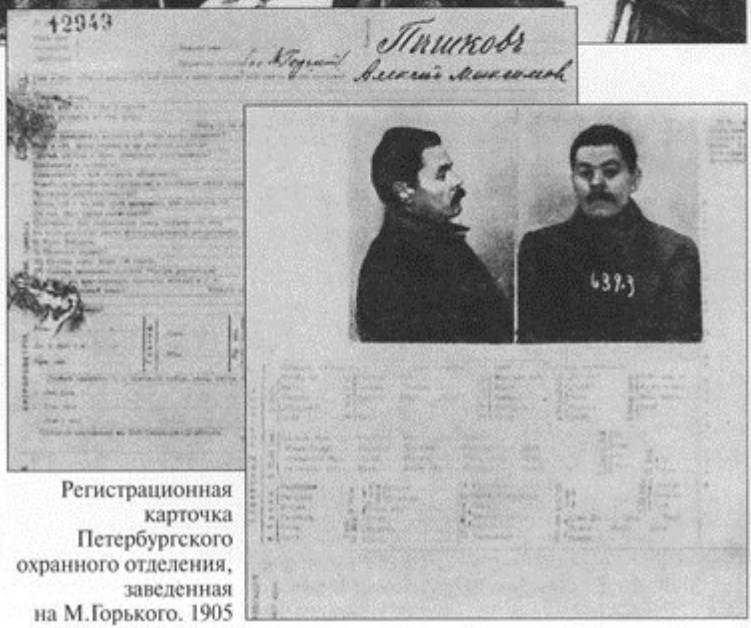
Чтение пьесы «Дети солнца». Слева направо: В.Стасов, О.Грузенберг, М.Горький, Н.Гарин-Михайловский, Ф.Батюшков. Рисунок И.Репина. 1905



Горький и Шаляпин. «Федя, тебе выступать. Пора прочистить горло». Шуточная фотография. Мустамяки, 1914

Священник Гапон

«Кровавое воскресенье»
глазами художника В.Серова

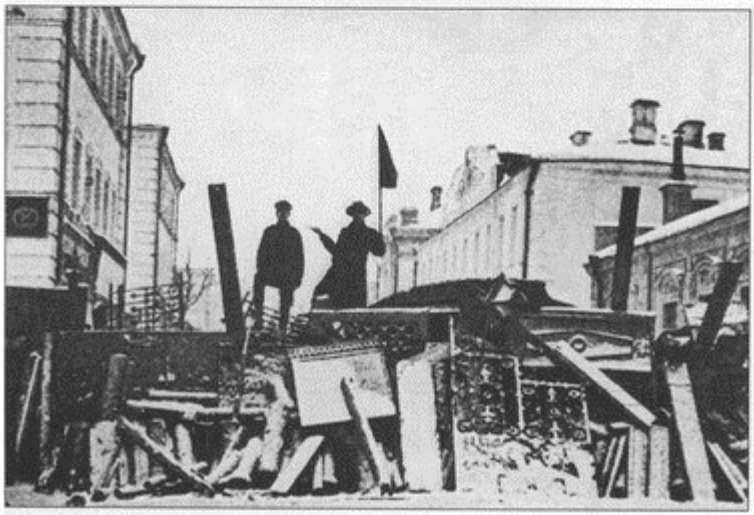


Регистрационная карточка Петербургского охранного отделения, заведенная на М.Горького. 1905

Рабочий Дмитрий Павлов

Стачка железнодорожников

Баррикада
на Малой Бронной.
Москва, 1905



М.Горький и М.Андреева
на пути в Америку. 1906

Статья «Буря энтузиазма...»
о приезде Горького в США
в газете «Нью-Йорк Таймс»

RIOT OF ENTHUSIASM GREETS MAXIM GORKY

Russian Writer Says Arms Must Force the Revolution.

FOR FEDERATION OF NATIONS

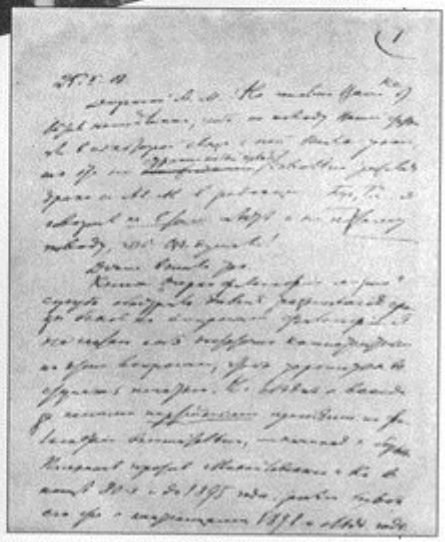
He's a Socialist, Not an Anarchist, and Will Raise Funds Here for Revolution—Calls Witte a Scoundrel.

Maxim Gorky, the Russian novelist and revolutionist, landed at Hoboken yesterday from the North German Lloyd steamship Kaiser Wilhelm der Grosse, with the cheers of thousands of his country-

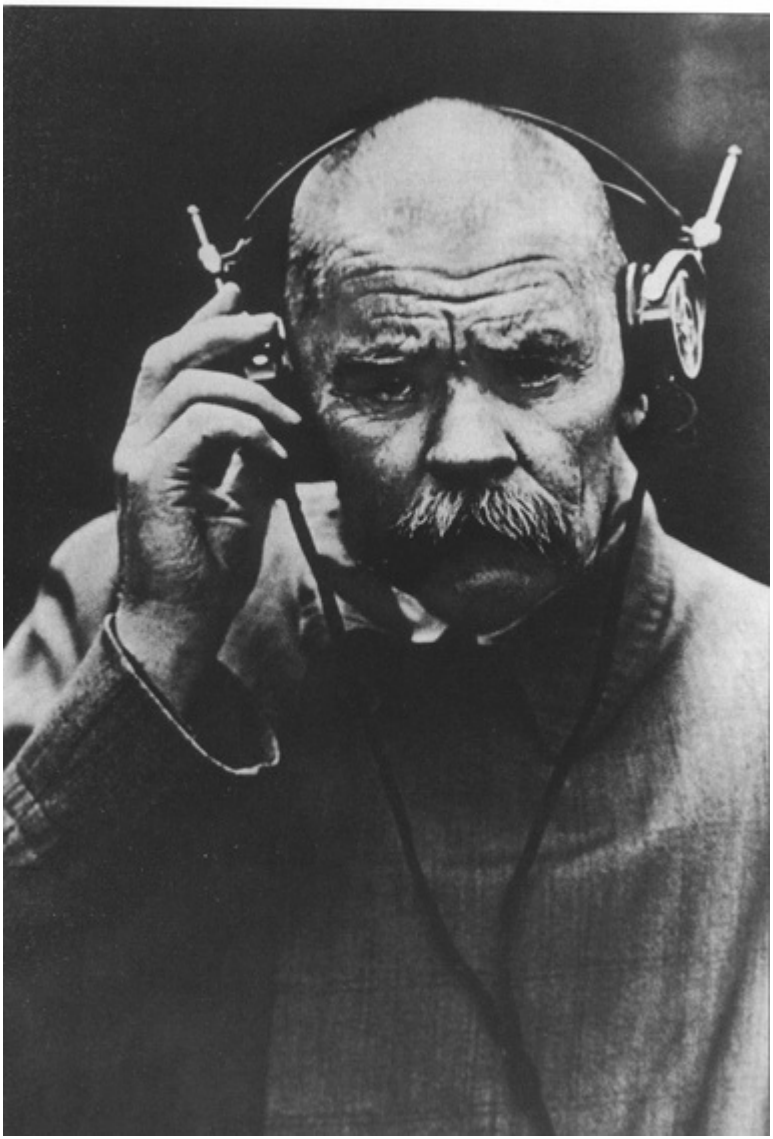
Максим Горький и Марк Твен в клубе писателей.
Нью-Йорк, 1906

Капри. Вилла «Spinola», на которой Горький жил в 1909—1911 годах

В.И.Ленин на Капри



Письмо Ленина Горькому
от 12 февраля 1908 года



Газета «Новая жизнь»,
где публиковались «Несвоевременные мысли» Горького

Пролетарии всѣхъ странъ, соединяйтесь!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СОЦІАЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№ 185 (179). Воскресенье, 19 ноября (2 декабря) 1917 года.

Перспективы мира.

Несвоевременныя мысли.

Москва после октябрьских событий.
3 ноября 1917

«От революционной стихии масс – к Революционному трибуналу»

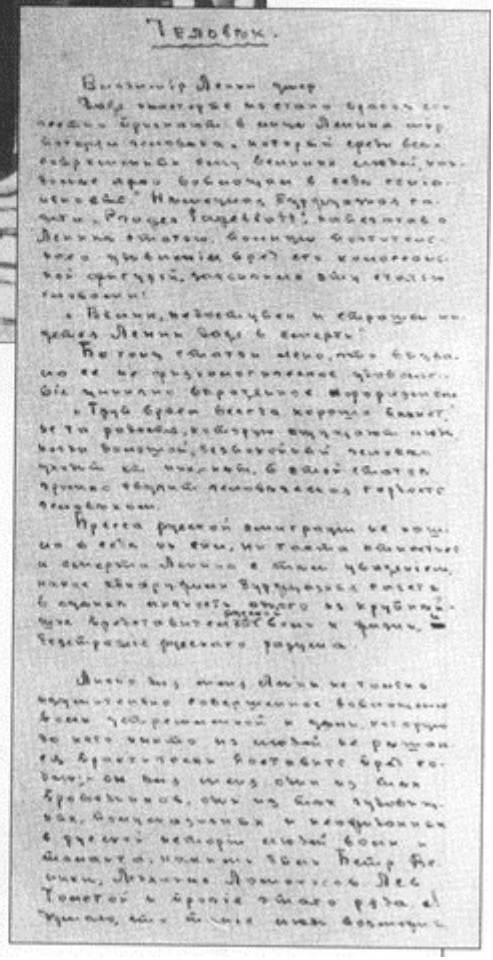
Лев Троцкий

В.Володарский

Лев Каменев

Григорий Зиновьев

Ленин и Горький
среди делегатов
II конгресса
Коминтерна.
Петроград, 1920

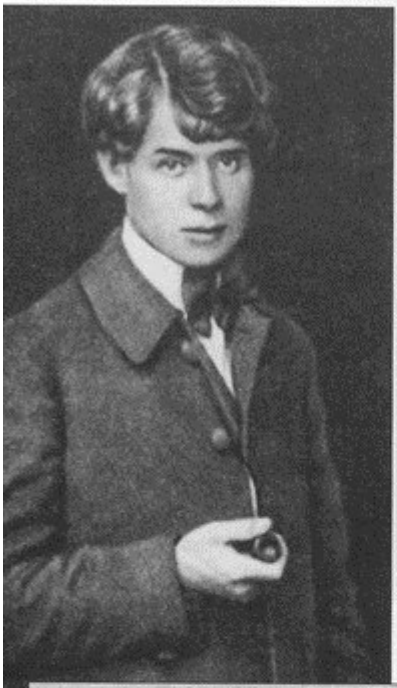


Человек.

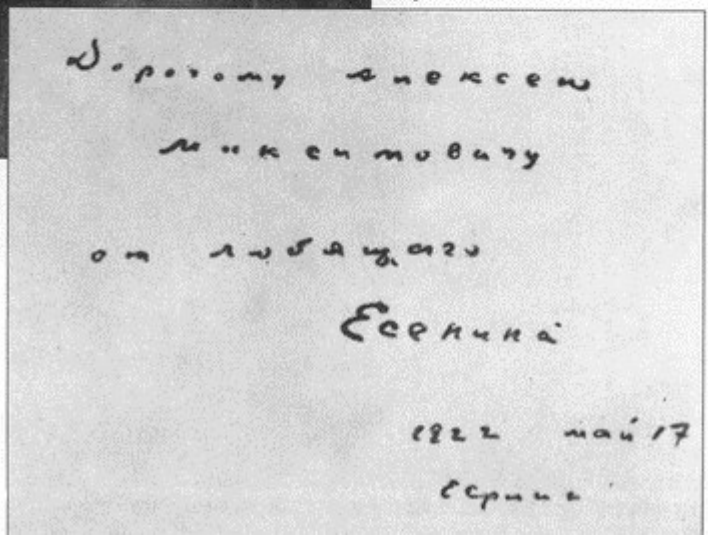
Рукопись очерка
«В.И.Ленин»,
первоначально
называвшегося
«Человек».
1924

Чествование Горького в издательстве «Всемирная литература» в связи с пятидесятилетием писателя. Петроград, 1919

Александр Блок.
Петроград, 1920



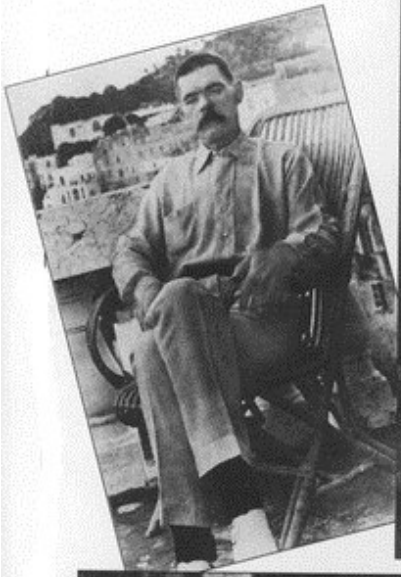
Сергей Есенин

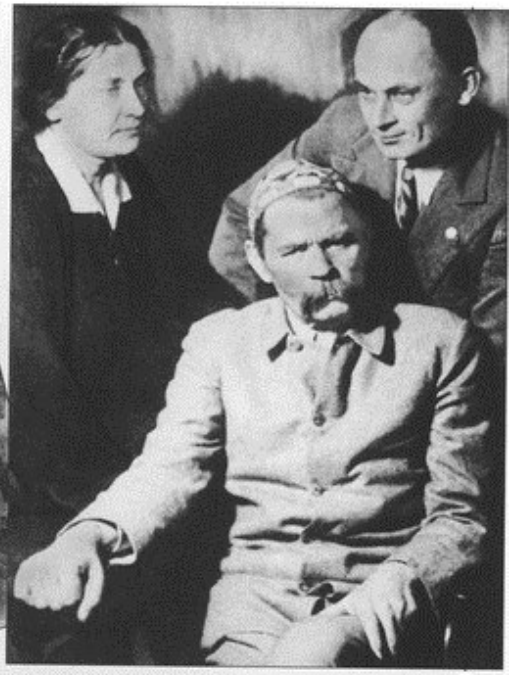


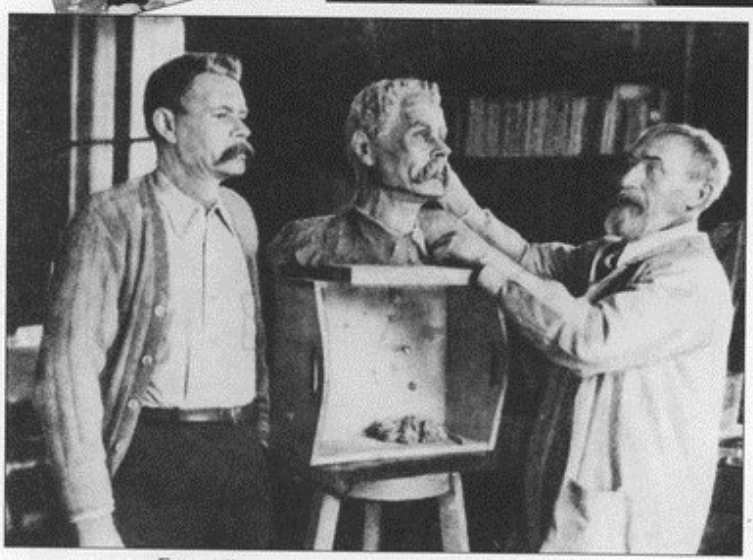
С Гербертом Уэллсом и Марией Закревской-Бенкендорф-Будберг. 1920

Слева направо: М.Горький, В.Ходасевич, Н.Берберова, М.Андреева. Сааров, 1922. *Рисунок Н.Андреева*

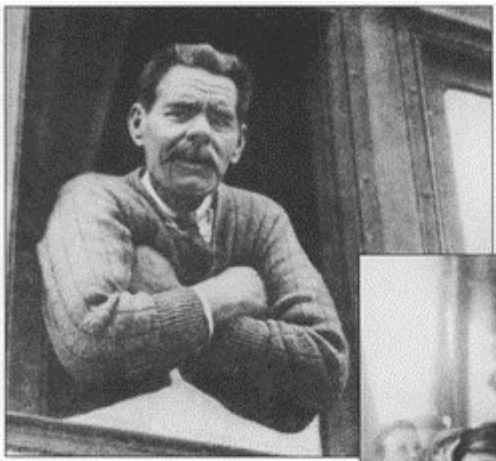
С Е.Пешковой
и сыном Максимом.
Сорренто, 1926







Горький позирует скульптору С.Коненкову. Сорренто, 1928

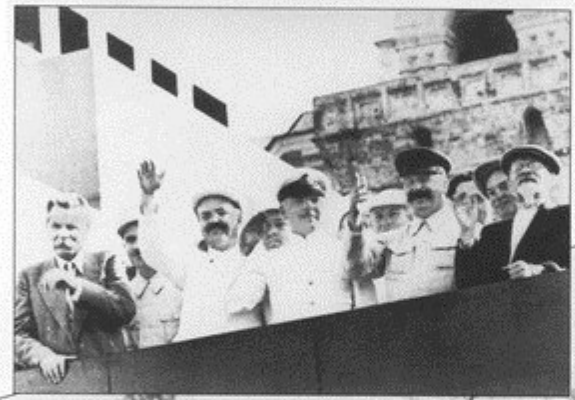


На пути в СССР

От самого вагона
Горького несут на руках.
Слева – Н.Бухарин

Встреча Горького в Москве на площади Белорусско-Балтийского вокзала
28 мая 1928 года

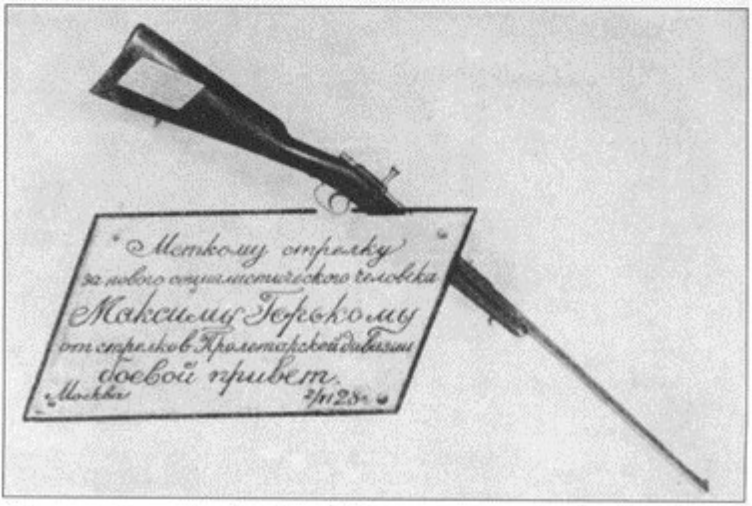
У работников фабрики «Трехгорная мануфактура»



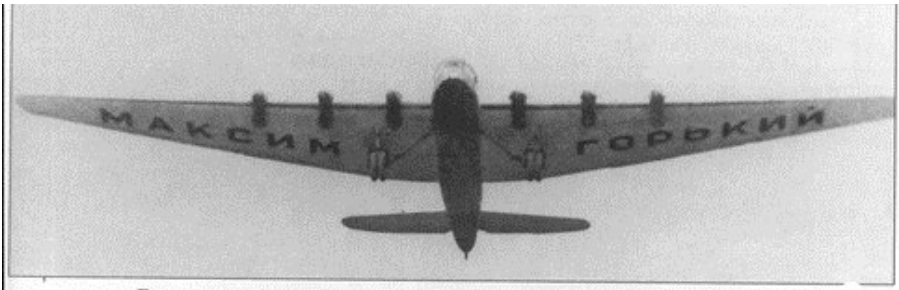
На трибуне Мавзолея с Л.Кагановичем, В.Молотовым, К.Ворошиловым, И.Сталиным, М.Калининым

Горький (второй слева) на Соловках

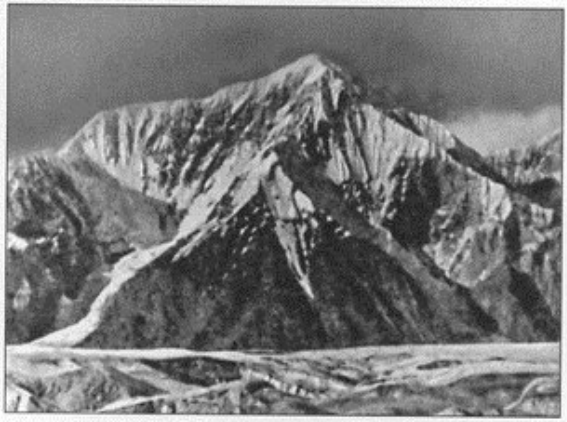
«Ворошиловский стрелок». Эскиз к картине В.Сварога. 1932

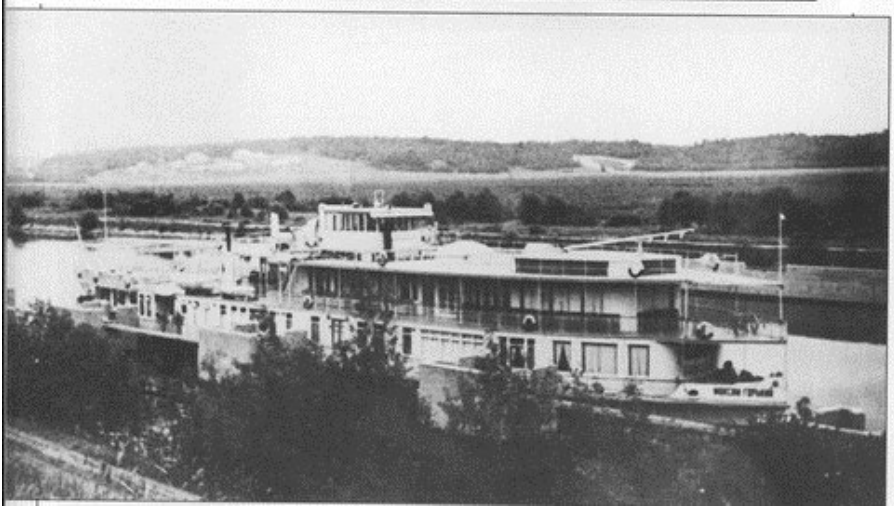


Винтовка, подаренная Горькому бойцами Московской Пролетарской стрелковой дивизии



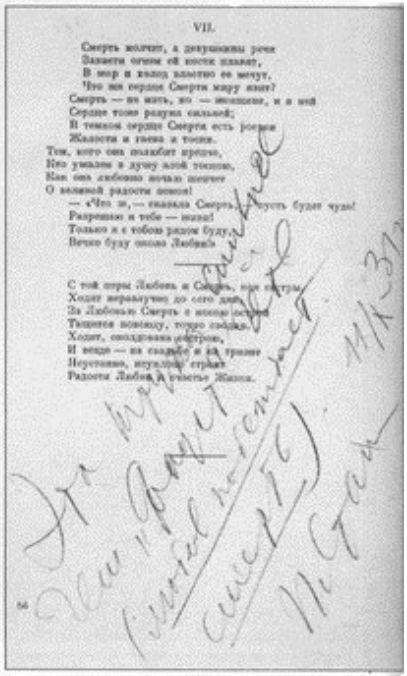
Его именем были названы самолет, корабли и даже пик в горах Тянь-Шаня





С И.В.Сталиным

Автограф Сталина
на поэме М.Горького
«Девушка и Смерть»



VII.

Смерть молчит, а девушкины речи
Зажигали огнем ей кости плавят,
В мир и холод властно ее мечут,
Что ни сердце Смерти жару дают?
Смерть — не жить, но — исчезать, и в ней
Сердце тоже разуму сильней;
И темном сердце Смерти есть ревнивая
Жалость и тоска и тоска.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужалив в душу злой тоской,
Как она любовно ночью шепчет
О вольной радости покоя!
— «Что ж, — сказала Смерть, — пусть будет чудо!
Разрешаю и тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня.
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, тощая сводня.
Ходит, сокрушенно оборотясь,
И везде — на свадьбе и на тризне
Неустанно, неуклонно стережет
Радости Любви и вместе Жизни.

В последний путь

Народ прощается с любимым писателем.
Москва, 20 июня 1936

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
№ 167 (5773)
19 июня 1936 г., пятница
Цена 10 коп.
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубокой скорбью извещают о смерти великого русского писателя, гениального художника слова, беззаветного друга трудящихся, борца за победу коммунизма — товарища АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО, последовавшей в Горках, близ Москвы, 18 июня 1936 года.
Центральный Комитет ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров
Союза ССР

ВЕЛИКОМУ
РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ
МАКСИМУ
ГОРЬКОМУ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

notes

Примечания

дамский *(искаж. франц.)*.

карболовая кислота (acidum carbolicum — *лат.*).

3

В 50-х годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи, — населяющей Нижегородскую губернию. — *Примеч. М. Горького.*

4

Не так ли *(франц.)*.

5

Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко как «аглицком королевиче» суть «интеллигентская легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в нижегородском краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника. — *Примеч. М. Горького.*

6

Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы. — *Примеч. М. Горького.*

по-своему *(франц.)*.

8

Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать. — *Примеч. М. Горького.*

А. Рославлева. — *Примеч. М. Горького.*

Слова С. Н. Сергеева-Ценского. — *Примеч. М. Горького.*

11

Публикуемые в газетах списки «секретных сотрудников Охранного отделения»… — После Февральской революции были открыты архивы царской охранки, и газеты стали печатать списки ее сотрудников — шпионов и провокаторов. Тема шпионства и провокаторства сильно интересовала Горького и отразилась в таких произведениях, как «Жизнь ненужного человека», «Карамора», «Жизнь Клима Самгина».

12

…день похорон на Марсовом поле. — 23 марта[13] 1917 г. в центре Марсова поля было похоронено 180 участников Февральской революции. Похороны вылились в массовую манифестацию.

13

До 1918 г. даты приводятся по старому стилю.

14

все вперед и выше… — Автоцитата из ранней поэмы в прозе Горького «Человек», в которой он пытался отразить величие человеческого духа в его вечном развитии и движении «вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба».

15

«Мир создан не словом, а деянием»… — Ставшая крылатой фраза, которая имеет первоисточник в трагедии Гёте «Фауст» и переосмысляет евангельское выражение «В начале было Слово».

16

Я не знаю, кто стрелял в людей третьего дня на Невском… — 21 апреля 1917 г. в Петрограде состоялась массовая демонстрация солдат и рабочих, протестовавших против военной политики Временного правительства, нацеленной на продолжение русско-германской войны. Демонстрация была организована большевиками и закончилась столкновением с контрдемонстрантами, шедшими под лозунгом «Доверие Временному правительству». В результате три человека были убиты и шесть — ранены.

17

Сморгонь — местечко в Западной Белоруссии, где в начале Первой мировой войны находился театр военных действий.

18

Галиция — историческое название части западноукраинских и польских земель.

19

…добродушный русский человек вколачивал гвозди в черепа евреев Киева, Кишинева… — Имеются в виду еврейские погромы в Киеве и Кишиневе 1903–1905 гг.

20

…кровавые бесстыдства 906—7—8-го годов. — Речь идет о так называемой столыпинской реакции (по имени премьер-министра П. А. Столыпина, 1862–1911). После поражения революции 1905–1907 гг. многие из ее участников были казнены и осуждены на каторгу. Горький, принимавший в революции активное участие, должен был покинуть Россию и находился в эмиграции до 1913 г.

21

Теруань де Мерикур — Анна Тервань (1762–1817) из деревни Маркур, куртизанка, деятельница Великой французской революции.

22

Сусанин — Иван Сусанин, костромской крестьянин, герой освободительной борьбы русского народа против польских завоевателей в начале XVII в., главный персонаж оперы Ф. И. Глинки «Жизнь за царя».

23

Купец Иголкин — герой пьесы Н. А. Полевого «Иголкин, купец новгородский» (1839).

24

Солдат — спаситель Петра Великого — герой лубочной народной книжки «Предание о том, как солдат спас Петра Великого» (1873), переизданной в апреле 1917 г. Кузьма Крючков — знаменитый казак, ставший первым полным Георгиевским кавалером в русско-германскую войну.

25

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — революционер-народник, один из создателей и руководителей партии «Народная воля», организатор покушения на Александра II.

26

Брешко-*Брешковская* Екатерина Ивановна (1844–1934) — знаменитая участница «хождения в народ», один из организаторов и лидер партии эсеров, иронически названная «бабушкой русской революции». С 1919 г. жила в эмиграции.

27

На днях я получил письмо… — Автор письма — Юлия Осиповна Серова (партийная кличка «Люси»), жена ссыльнопоселенца, депутата II Государственной думы от фракции социал-демократов. Тайно служила в царской охранке под псевдонимом «Ульянова».

28

…безумия, охватившего Петроград днем 4 июля… — 3–4 июля 1917 г. в Петрограде состоялись массовые выступления солдат, рабочих и балтийских моряков против Временного правительства, возглавляемые большевиками. В результате разгона демонстрации 56 человек были убиты, 650 — ранены. 7 июля Временным правительством был отдан приказ об аресте Ленина. Большевистские газеты были закрыты, партия ушла в подполье. Политический кризис привел к отставке премьер-министра Г. Е. Львова, министром-председателем стал А. Ф. Керенский.

29

Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753) — византийский богослов и поэт, яростный противник ереси иконоборчества, автор церковных песнопений.

30

Франциск Ассизский — Джованни Бернардоне (1182–1226), итальянский религиозный деятель и писатель, основатель католического монашеского ордена францисканцев, члены которого давали обет бедности.

31

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845–1929) — русский и польский языковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

32

«Щит» — литературный сборник, издававшийся в 1915–1916 гг. «Русским обществом для изучения еврейской жизни», основанным Горьким. В сборниках принимали участие крупнейшие писатели и общественные деятели.

33

Айзман Давид Яковлевич (1869–1922) — русский писатель, автор нашумевших повести «Кровавый разлив» и пьесы «Терновый куст» с кровавыми сценами народных расправ.

34

…толпы людей грабят винные погреба… — Речь идет о грабежах винных складов в Петрограде после Октябрьской революции, которые стали настоящей головной болью для новой власти, принявшей решение «расстреливать грабителей на месте, а винные погреба взрывать».

35

Карл Каутский (1854–1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала.

36

Панина Софья Владимировна (1871–1956) — графиня, член ЦК партии эсеров, товарищ министра народного просвещения Временного правительства. Была арестована в ноябре 1917 г. большевиками за отказ передать новой администрации находящиеся в кассе Министерства народного просвещения деньги — около 93 тысяч рублей. Впоследствии эмигрировала.

37

Болдырев Василий Георгиевич (1875–1936) — генерал-лейтенант, командующий 5-й армией Северного фронта. Был арестован в ноябре 1917 г. за неподчинение приказанию Верховного главнокомандующего Советского правительства Н. В. Крыленко. Приговорен к трем годам тюремного заключения, в мае 1918 г. освобожден по амнистии. Воевал против советской власти на Урале, в Сибире и на Дальнем Востоке, в 1922 г. был вновь арестован. В тюрьме заявил о желании служить советской власти, в 1926 г. был амнистирован. Автор книги воспоминаний «Директория. Колчак. Интервенты» (Николаевск, 1926).

38

Коновалов Александр Иванович (1875–1948) — крупный фабрикант, товарищ председателя Московского биржевого комитета, председатель совета «Российского взаимного страхового союза», товарищ председателя Комитета представителей торговли и промышленности, депутат IV Государственной думы от фракции «прогрессистов». После Февральской революции занимал пост министра торговли и промышленности Временного правительства, затем был заместителем А. Ф. Керенского. Арестован на следующий день после прихода к власти большевиков вместе с Бернацким, Карташевым и другими членами последнего коалиционного Временного правительства и заключен в Петропавловскую крепость. Впоследствии эмигрировал.

39

Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1944) — профессор политэкономии, министр финансов Временного правительства. Впоследствии начальник управления финансов в правительствах Деникина и Врангеля. После Гражданской войны эмигрировал.

40

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — кадет, профессор богословия, министр исповеданий Временного правительства. Впоследствии входил в правительство Юденича. В эмиграции создал несколько трудов по истории церкви.

41

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927) — князь, земский деятель, один из основателей «Союза освобождения», председатель ЦК партии кадетов в 1905–1911 гг., лидер фракции кадетов во II Государственной думе. Был арестован в ноябре 1917 г. на основании декрета Совнаркома, объявившего кадетов «врагами народа». С 1920 г. — эмигрант. В 1926 г. тайно прибыл в СССР, был арестован и в 1927 г. вместе с еще 19 монархистами приговорен к расстрелу. Автор воспоминаний «Великая разруха» (Мадрид, 1964).

42

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк и публицист, один из основателей партии кадетов, редактор ее центрального органа — газеты «Речь». Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. После Октябрьской революции эмигрировал и был редактором русской газеты «Последние новости», выходившей в Париже.

43

Шумахер Петр Васильевич (1817–1891) — поэт, сотрудник сатирического журнала «Искра».

Г-жа З.Г. — Автор письма не установлен.

45

В этих брошюрах речь идет о «самодержавной Алисе», о «Распутном Гришке», о Вырубовой… — Об императрице Александре Федоровне (до замужества немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская), о Григории Распутине и о фрейлине императрицы Анне Вырубовой.

46

…согласен с ионическими словами Вл. Каренина, автора превосходнейшей книги о Жорж Занд… — Вл. Каренин — псведоним Варвары Комаровой (1862–1942).

47

«Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждена 28 марта 1917 г. при участии Горького. В организационный комитет вошли крупнейшие ученые и общественные деятели И. П. Павлов, В. Г. Короленко, Л. Б. Красин, А. Е. Ферсман и др. Ассоциация ставила себе целью популяризацию научных и технических знаний и организацию научно-исследовательских институтов. После Октябрьской революции деятельность Ассоциации была прекращена.

48

Общество *«Дом-музей памяти борцов за свободу»* создано 22 мая 1917 г. с целью сбора материалов об освободительном движении в России.

49

«Лига социального воспитания» — создана 4 июня 1917 г. при активном участии Горького, разработала программу охраны здоровья детей, дошкольного и школьного воспитания.

50

«Народные дома» — клубы для народа, создававшиеся земствами, городскими думами и частными лицами с культурно-просветительскими целями.

51

«Две души» — статья Горького, напечатанная в журнале «Летопись» (1915. № 12) и вызвавшая резкую полемику в печати. В ней резко противопоставлялись два мировоззрения: западное (европейское) и восточное (азиатское). В русской «душе», по мнению Горького, преобладает восточное начало, «а рядом… живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая…» Статья вызвала возмущенные отклики (в частности, писателя Л. Н. Андреева).

52

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — экономист, историк, публицист, начинал свою деятельность в 1890-е гг. как «легальный марксист», затем был одним из авторов сборника статей о русской интеллигенции «Вехи». Член ЦК партии кадетов. После Октября эмигрировал.

53

«Единство» — газета правых меньшевиков под редакцией Г. В. Плеханова, выходила в 1917 — январе 1918 г.

54

«Довлеет дневи злоба его» — поучение Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Современный перевод: «Довольно для каждого дня своей заботы».

55

Совет депутатов трудовой интеллигенции — создан в Москве в начале мая 1917 г., объединял около 115 союзов: Всероссийский союз инженеров, Всероссийский учительский союз, Русское театральное общество и др. В него входили представители различных политических партий. Добивался расширения представительства интеллигенции в административных органах, большое значение придавал культурно-просветительской работе.

56

Иван *Вольный* — Иван Егорович Вольнов (1855–1931), прозаик, выходец из крестьян, пользовался поддержкой Горького.

57

Подъячев Семен Павлович (1866–1934) — прозаик, писавший на крестьянскую тему.

58

Родионов Иван Александрович (1866–1940) — русский писатель, выходец из донских казаков. Повесть «Наше преступление» была написана по следам революции 1905–1907 гг. и вызвала широкий резонанс.

59

«Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться»… — Автоцитата из ранней поэмы Горького «Песнь старого дуба».

60

«Культура и свобода» — просветительское общество в память 27 февраля 1917 г., возникло в конце марта 1918 г. Председателем оргкомитета был избран Горький, в него также вошли В. Н. Фигнер, Г. А. Лопатин, В. И. Засулич, Г. В. Плеханов и др. Ставило целью объединение старой русской интеллигенции с рабоче-крестьянской интеллигенцией. Основало одноименное издательство, в котором, в частности, и вышли отдельной брошюрой «Несвоевременные мысли» М. Горького.

61

…*«яко обри, их же несть ни племени, ни рода».* — Выражение восходит к древнерусской летописи «Повести временных лет». Одним из событий, описанных в летописи, является рассказ о том, как обры (авары) творили насилие над славянским племенем дулебов, за что были истреблены богом. Отсюда пословица: «погибоша, аки обри, их же несть племени ни наследка».

62

Лазарев Петр Петрович (1878–1942) — физиолог и биофизик, с 1938 г. директор биофизической лаборатории Академии наук СССР.

63

О «Свободной ассоциации…» — см. прим. 47.

64

«Мы ленивы и нелюбопытны»… — Цитата из «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина.

65

Христиания — название г. Осло (столица Норвегии) до 1924 г.

Финифть — художественная эмаль, наносимая на металл.

Клуазоннэ (клуазонне) — перегородчатая эмаль.

…*отвратительные сцены 3–5 июля.* — См. прим. 28.

69

Центральный Комитет с.-д. большевиков, очевидно, не принимает участия в предполагаемой авантюре… — Речь идет о заявлении членов ЦК Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева в газете «Новая жизнь» о преждевременности немедленного вооруженного выступления. Горький надеялся, что раскол в ЦК не позволит руководству партии форсировать события, и требовал с его стороны опровержения слухов о готовящемся перевороте.

Министры-социалисты — А. М. Никитин (внутренних дел), К. А. Гвоздев (труда), П. Н. Малянтович (юстиции), С. Н. Прокопович (продовольствия), С. Д. Маслов (земледелия).

71

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) — министр финансов во Временном правительстве, после отставки Милюкова был министром иностранных дел. Впоследствии эмигрировал.

72

Бойня под Петербургом — бои между казачьими частями П. Н. Краснова и революционной армией в районе Пулково и Царского Села 30 октября 1917 г.

73

Разгром Москвы — вооруженные столкновения во время московского восстания 28 октября — 3 ноября 1917 г., закончившиеся захватом Кремля и переходом власти в Москве к большевикам.

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — министр внутренних дел царского правительства с 1902 г.

75

…«на всех парах через болото»… «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно»… — Цитируется роман Ф. М. Достоевского «Бесы».

76

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — журналист и издатель, близкий к эсерам, прославился своей деятельностью по разоблачению провокаторов, за что получил прозвище «ассенизатора политических партий». Впоследствии эмигрировал и возглавлял газету «Общее дело».

77

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) — меньшевик, был задержан по распоряжению Ф. Э. Дзержинского вместе с членами «Союза защиты Учредительного собрания». Впоследствии эмигрировал.

78

Строев — Василий Алексеевич Десницкий (1878–1958), революционер, друг Горького. Впоследствии профессор Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде, автор статей и воспоминаний о Горьком.

79

Базаров — Владимир Александрович Руднев (1874–1939), экономист, философ, один из идеологов богостроительства, оказавшего влияния на Горького.

80

Гимер-Суханов — Николай Иванович Гиммер (1882–1940) — публицист и экономист, меньшевик. Автор «Записок о революции» (Берлин, 1922–1923).

81

Железняков Анатолий Григорьевич (1895–1919) — матрос Балтийского флота, принадлежал к анархистам, поддерживавшим большевиков. Прославился тем, что в январе 1918 г., будучи начальником караула Таврического дворца, по приказу наркома П. Е. Дыбенко закрыл Учредительное собрание.

82

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) — земский деятель, член ЦК партии кадетов, депутат II, III и IV Государственных дум, министр земледелия и финансов Временного правительства, депутат Учредительного собрания.

83

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) — публицист, приват-доцент Московского университета, член ЦК партии кадетов, занимал пост Государственного контролера Временного правительства, депутат Учредительного собрания. Был арестован вместе с Шингаревым. Из Петропавловской крепости обоих перевели в Мариинскую больницу, где в начале января 1918 г. они были убиты ворвавшимися туда матросами.

84

…возмущалась бессовестным делом Бейлиса… — Речь идет о процессе над приказчиком кирпичного завода в Киеве Менделем Бейлисом, обвиненным в убийстве с ритуальной целью мальчика Андрея Ющинского. Следствие велось два года, и несмотря на усилия антисемитской прессы, Бейлис был оправдан.

85

…подлым расстрелом ленских рабочих… — Расстрел мирного шествия рабочих на Ленских золотых приисках в Сибири в 1912 г.

Иоллос Григорий Борисович и *Герценштейн* Михаил Яковлевич — ученые-экономисты, члены кадетской партии, убиты черносотенцами.

87

…приняв порчу автомобильного кузова за покушение на жизнь Владимира Ильича… — Речь идет о покушении на Ленина вечером 1 января 1918 г., когда он возвращался с митинга в Михайловском манеже. По официальному сообщению, кузов ленинского автомобиля «был прострелен навылет и продырявлен в нескольких местах». В ответ в «Правде» появилась статья с названием «Берегитесь!», где говорилось: «…за каждую нашу голову — сотня ваших!»

88

…избиение ваших товарищей очаковцев… — Речь идет о моряках крейсера «Очаков», участвовавших в Севастопольском восстании 1905 г. под командой лейтенанта П. П. Шмидта.

89

Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934) — известный издатель-просветитель. Был арестован в апреле 1918 г. В день публикации статьи Горького Сытин был уже освобожден.

90

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, консервативный государственный деятель, с 1865 г. — обер-прокурор Синода, с 1866 по 1880 г. министр народного просвещения.

91

Рубакин Николай Александрович (1862–1946) — библиограф, писатель.

92

Вахтеров Василий Порфирьевич (1853–1924) — педагог, автор популярных учебников.

93

Клюжев Иван Семенович (1856—?) — писатель, инспектор народных училищ Самарского уезда

Калмыкова Александра Михайловна (1849–1926) — издательница, общественная деятельница.

95

Юнкер Василий Васильевич (1840–1892) — путешественник, исследователь Африки.

96

Никколо *Макиавелли* (1469–1527) — итальянский историк, политический деятель эпохи Возрождения, сторонник сильной государственной власти, автор книги «Государь». Для упрочения государства считал допустимыми любые средства.

97

Джироламо *Савонарола* (1452–1498) — итальянский поэт, религиозный деятель. Организовывал сожжение картин и книг. Стал диктатором Флоренции, превратив ее в теократическую республику.

Филипп II (1527–1598) — испанский король, сторонник инквизиции.

99

Екатерина Медичи (1519–1589) — французская королева, жена Генриха II, организовала во время правления ее сына Карла IX *«Варфоломеевскую ночь»* в Париже — массовую резню гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г.

100

Юлия Рекамье — Жюли Рекамье (1777–1849), жена французского банкира, известная своим политическим и литературным салоном, где собирались люди, оппозиционно настроенные по отношению к Наполеону I.

101

…рабочий класс создал свою интеллигенцию — маленьких Бебелей… — Август Бебель (1840–1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала.

102

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

103

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — писатель и журналист. Сотрудничал в консервативной печати. После Октябрьской революции перешел на сторону советской власти, вступил в Коммунистическую партию, принимал участие в работе Пролеткульта.

104

«Русское знамя» — газета, орган «Союза русского народа», выходила с 1905 по 1917 г.

105

«Речь» — см. прим. 42.

106

«Красная газета» — издание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

107

«Дело народа» — газета, орган ЦК партии эсеров, выходила в 1917–1918 гг.

108

Зиновьев — Григорий Елисеевич Радомысльский (1883–1936), член ЦК партии большевиков, председатель Петроградского Совета — был с Горьким в острой вражде.

109

…*семеро Сампсонов*… — Согласно Библии, Самсон разрушил храм, под которым погибли его враги.

110

Грозный еврейский Бог спасал целый город грешников… — Согласно Библии, Бог пощадил целый город, предназначенный к уничтожению за грехи, ради одного праведника Лота и его семьи.

111

Каморра — тайная преступная организация в Италии.